БЕСТСЕЛЛЕР THE NEW YORK TIMES

САЛМАН

РУШДИ

ЗОЛОТОЙ ДОМ



Золотой дом
Салман Рушди

Аннотация
Салман Рушди. Золотой дом
Часть I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Часть II
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Часть III
30
31
32
33
34
35
36

Аннотация

Нерон Голден прибывает в США при таинственных обстоятельствах, поселяется со своими тремя сыновьями в особняке на Манхэттене и вскоре входит в круг самых влиятельных людей Нью-Йорка. Историю Голденов рассказывает Рене, их сосед, молодой человек, мечтающий стать кинорежиссером. В жизни семьи множество сюжетных поворотов. Есть и ссоры между братьями, и появление прекрасной и коварной дамы, есть предательства и убийства. Но Рене – не только наблюдатель, он становится и участником множества бурных событий.

Салман Рушди
Золотой дом

Альбе и Франческо Клементе, чьи дружба и гостеприимство открыли для меня Сады

За медную монету расскажу вам золотую историю!

Выкрики уличных рассказчиков Древнего Рима, приводятся у Плиния

В столь горькое время выпало нам жить, что мы тщимся не замечать эту горечь. Приходит беда, рушит нашу жизнь, а мы сразу же прямо на руинах наново торим тропки к надежде. Тяжкий это труд. Впереди – рытвины да преграды. Мы их либо обходим, либо, с грехом пополам, берем приступом. Но какие бы невзгоды на нас ни обрушивались, жизнь идет своим чередом.[1]

Д. Г. Лоуренс "Любовник леди Чаттерли"

La vie a beaucoup plus d'imagination que nous.[2]

Франсуа Трюффо

© Salman Rushdie, 2017
© Л. Сумм, перевод, 2019

---

[1] Примечания: 1
Перевод И. Багрова.

[2] Примечания: 2
У жизни куда больше воображения, чем у нас (*франц.*).

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019
© ООО “Издательство Аст”, 2019
Издательство CORPUS ®

.

Часть I

1

В день инаугурации нового президента, когда мы опасались, как бы его не убили, пока он шел рука об руку со своей прекрасной супругой через ликующую толпу, а также когда столь многие из нас стояли на грани экономического краха из-за ипотечной пирамиды и когда Исида[3] все еще была египетской матерью богов, некоронованный король семидесяти с лишним лет прибыл в город Нью-Йорк с тремя сыновьями-полусиротами и поселился во дворце своего изгнания. Он держался так, словно все было в порядке и с этой страной, и с миром, и с его собственным прошлым. Он начал царствовать в наших окрестностях как снисходительный император, хотя при всей своей очаровательной улыбке и умении играть на скрипке (Гваданини 1745 года) он испускал тяжелый и дешевый аромат, безошибочно различаемую вонь примитивной деспотической угрозы, тот запах, что остерегает нас: не спускай глаз с этого парня, он способен

[3] Примечания: 3

По-английски ISIS — Исида и ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ).

в любой момент распорядиться тебя убить, если ему не приглянется твоя рубашка, например, или приглянется твоя жена. Следующие восемь лет, годы правления сорок четвертого президента, стали также годами все более сумасбродного и устрашающего владычества над нами человека, именовавшего себя Нерон Голден (на самом деле он не был королем), и это время завершилось большим, метафорически говоря, апокалиптическим пожаром.

Старик был невысок ростом, можно даже сказать, приземист, и гладко зачесывал волосы — по большей части все еще темные вопреки его преклонным годам — назад, подчеркивая треугольную челку, “чертов хохолок”. Глаза у него были черные, пронзительные, но первым делом ты замечал — он часто заворачивал рукава повыше, именно чтобы обратить внимание собеседника — предплечья толстые и сильные, как у борца. Крупные золотые перстни сверкали изумрудами. Мало кто слышал, чтобы он повысил тон, но мы не сомневались, что в нем таится великая мощь голоса, которую лучше не пробуждать. Одевался он дорого, но при этом в нем было нечто животное, шумное, отчего он казался Чудовищем из сказки, словно человеческие наряды

его сковывали. Мы все, жившие по соседству, изрядно его побаивались, хотя он предпринимал заметные и неуклюжие усилия, чтобы вести себя приятно, добрососедски, неистово размахивал тростью, приветствуя нас, и в самое неуместное время зазывал к себе на коктейль. На ходу и стоя он подавался вперед, словно борясь с сильным ветром, который только он и ощущал, верхняя часть туловища наклонялась слегка, не слишком сильно. Это был мощный человек — более того, человек, влюбленный в свою мощь. Его трость казалась скорее декоративной и экспрессивной, чем функциональной. Прогуливаясь в Саду, он всячески старался подружиться с нами. Часто он протягивал руку, чтобы погладить чью-то собаку или потрепать ребенка по волосам. Но дети и собаки съеживались от его прикосновения. Порой, наблюдая за ним, я вспоминал созданного Франкенштейном монстра, симулякр, который терпел провал при любой попытке выразить подлинно человеческие чувства. Его кожа была коричневой и словно дубленой, в улыбке блестели золотые пломбы. Громкий человек, не всегда соответствующий нашим нормам, но безмерно богатый, и потому, разумеется, с его присутствием мирились, хотя нельзя сказать, чтобы он

сделался особо популярен в нашем сообществе художников, музыкантов и писателей.

Можно было бы сразу сообразить, что человек, принявший имя последнего римского императора из династии Юлиев-Клавдиев и поселившийся в *domus aurea*[4], публично заявляет о собственном безумии, злодействе, мании величия и грядущем роке и к тому же смеется всему перечисленному в лицо; что такой человек бросает перчатку к ногам рока и щелкает пальцами под носом надвигающейся Смерти, восклицая: “Да! Можете сравнивать меня, коли охота, с чудовищем, которое поливало христиан оливковым маслом и превращало в факелы, освещавшие по ночам его сад! С тем, кто играл на лире, когда горел Рим (скрипок в ту пору на самом деле еще не было)! Да, я назвался Нероном из династии Цезарей, последним из этой кровавой семейки, и понимайте это как знаете. А мне просто имечко нравится”. Он совал нам под нос свою извращенность, наслаждался ею, дразнил нас, презирая наши умственные способности, уверенный, что сумеет без

[4] Примечания: 4

Золотой дом (*лат.*). Так назывался дворец римского императора Нерона, который “играл на скрипке, пока горел Рим”, уничтожал христиан, а когда подданные наконец взбунтовались, покончил с собой. *Golden House* — дом Голденов и буквально “Золотой дом”.

труда одолеть всякого, кто противостанет ему.

Он явился в этот город словно один из тех свергнутых европейских монархов, глав завершившихся династий, кто по-прежнему использует вместо фамилии торжественные титулы — *Греческий, Югославский, Итальянский* — и словно бы не замечает горестной приставки “экс”, будто ее и не существует. Он-то ни в чем не “экс”, говорила его манера держаться, король с ног до головы, от жесткого воротника рубашки, запонок в манжетах, шитой на заказ английской обуви до манеры неуклонно двигаться на закрытые двери, зная, что они перед ним распахнутся; королевской была и его подозрительность, он ежедневно проводил заседания с каждым из сыновей по отдельности, выспрашивая, что говорят о нем другие два брата; королевскими были его автомобили, пристрастие к азартным играм, неотбиваемая подача в пинг-понге, склонность к проституткам, виски, фаршированным яйцам и частенько повторяемая максима, ее уважали все абсолютные властители от Цезаря до Хайле Селассие: единственная ценная в его глазах добродетель — преданность. Он часто менял мобильные телефоны, почти никому не сообщал номер и не отвечал на звонки. Не впускал в дом

журналистов и фотографов, но там частенько бывали двое из его постоянных товарищей по игре в покер — седовласые донжуаны, обычно в кожаных куртках и ярко-полосатых галстуках, молва подозревала обоих в убийстве богатых жен, хотя в одном случае обвинения вовсе не выдвигались, а в другом остались недоказанными.

О своей отсутствующей жене он молчал. В его доме среди множества фотографий — на стенах и каминных досках расположились рок-звезды, нобелевские лауреаты, аристократы — не было снимка миссис Голден или как там она звалась. Тут явно таился какой-то позор, и мы, к стыду нашему, перешептывались, гадая, что же это могло быть, воображая размах и наглость ее измен, восстанавливая образ аристократической нимфоманки с сексуальной жизнью более скандальной, чем у любой кинозвезды, ее неверности были известны всем и каждому, за исключением мужа, чьи глаза, ослепленные любовью, с обожанием взирали на ту, которую он считал преданной и целомудренной женой своей мечты, и так до ужасного дня, когда друзья поведали ему правду, сошлись все вместе и сказали ему, и как он неистовствовал! Как проклинал их! Называл лжецами, предателями, семеро мужчин

с трудом удерживали его, не давая поранить тех, кто вынудил его увидеть реальность как она есть — и наконец он признал реальность, принял ее, изгнал эту женщину из своей жизни и запретил вовеки приближаться к рожденным ею сыновьям. Дурная женщина, говорили мы друг другу, восхищаясь собственной проницательностью, и эта сказка вполне удовлетворила нас, на том мы и остановились, нас больше волновали собственные проблемы, историей Н. Ю. Голдена мы интересовались лишь до известного предела. Мы повернулись спиной и занялись своими делами.

Это была страшная ошибка.

2

Что есть хорошая жизнь? И что — ее противоположность? На эти вопросы никакие два человека не дадут одинаковый ответ.

В наше трусливое время мы отрицаем величие общечеловеческого, утверждаем и прославляем местные предрассудки и мало в чем можем согласиться. В наше упадочное время человека не волнует ничто, кроме тщеславия и личной выгоды — пустые, претенциозные люди, которым все дозволено, лишь бы служило их жалким целям, стремятся стать великими вождями и благодетелями мира, они якобы служат общему благу, а все их противники — лжецы, завистники, ничтожества, глупцы, ископаемые, и, выворачивая правду наизнанку, они приписывают бесчестность и подлость своим оппонентам. Мы же так разделены, так враждебны друг другу, одержимы ханжеством и презрением, так погрязли в цинизме, что свою высокопарность считаем идеализмом, мы так разочарованы в правителях, так издеваемся над институтами своей страны, что само слово “добродетель” лишилось смысла и придется, видимо, от него до поры до времени

отказаться, как и от других ставших токсичными слов — от понятий “духовность”, например, “окончательное решение” и (по крайней мере в рекламе небоскребов и жареной картошки) от слова “свобода”.

Но в холодный январский день 2009 года, когда загадочный мужчина семидесяти с лишним лет, которого нам предстоит звать Нероном Юлием Голденом, явился в Гринич-Виллидж на лимузине “даймлер” с тремя сыновьями и без малейших признаков жены, он, по крайней мере, ясно дал понять, как ценится добродетель и каким образом правое дело отличается от неправого.

— В моем американском доме, — сообщил он трем внимательным сыновьям, пока лимузин вез их из аэропорта в новый дом, — мораль будет приравнена к золотому стандарту.

Подразумевал ли он высочайшую ценность морали или же хотел сказать, что мораль определяется богатством или что он, с его золоченым новым именем, станет единственным судьей правды и неправды — этого он не пояснил, и младшие Юлии, по давней сыновьей привычке, не просили уточнений. (Они все предпочитали на императорский лад зваться во множественном числе Юлиями, а не Голденами — скромностью

они тоже не страдали.) Младший из трех, томный двадцатидвухлетний юноша, чьи волосы красивым каскадом падали на плечи (а лицом он напоминал гневного ангела), все же задал один вопрос.

— Что нам отвечать, — спросил он отца, — когда станут интересоваться, откуда мы родом?

На старческом лице багрово вспыхнул гнев.

— Я уже говорил вам! — прикрикнул он. — Скажите им, к чертям идентичность. Скажите им, мы — змеи, которые сбросили старую кожу. Скажите, что мы переехали в центр из Карнеги-Хилл. Скажите, что мы только вчера появились на свет. Скажите им, что мы материализовались благодаря магии или прилетели из окрестностей Альфы Центавра, космический корабль скрывался в хвосте кометы. Скажите, что мы ниоткуда, или откуда угодно, или откуда-нибудь, мы притворщики, мошенники, реконструкторы, меняющие обличия, иными словами — американцы. Не называйте страну, которую мы покинули. Никогда ее не называйте. Ни улицу, ни город, ни страну. Я не желаю больше слышать их названия.

Они вышли из автомобиля в старинном сердце Виллидж, на улице Макдугал, чуть дальше Бликер, рядом со старинной итальянской кофейней,

которая как-то еще существовала с тех давних пор, и, не замечая гудков машин за спиной и умоляюще протянутой ладони по меньшей мере одного грязного попрошайки, оставили “даймлер” посреди дороги и неспешно принялись выгружать из багажника свои пожитки — даже старик настоял на том, чтобы нести чемодан самостоятельно — и перетаскивать их в величественное здание в стиле боз-ар на восточной стороне улицы, прежний особняк Мюррея, отныне — Голден-хаус. (Торопился с виду только старший сын, тот, кто не любил бывать вне дома, носил темные-претемные очки и на лице у него проступала тревога.)

Так они прибыли и так собирались жить — независимо, на чужие мнения отвечая равнодушным пожатием плеч.

Особняк Мюррея, самый большой дом в Саду, пустовал уже много лет, в нем обитали только знаменитая своим высокомерием итальяно-американская домоправительница пятидесяти с чем-то лет, ее столь же заносчивая, хотя и намного более молодая помощница и проживавший там же любовник. Мы часто гадали насчет владельца, но эти свирепые стражницы наотрез отказывались удовлетворять наше любопытство.

В ту пору многие из богатейших людей покупали недвижимость с единственной целью — стать ее обладателями, и по всей планете распространялись заброшенные, словно стоптанная обувь, дома, так что мы решили, наверное, какой-нибудь русский олигарх или нефтяной шейх имеет тут свой интерес, и, пожав плечами, привыкли словно бы и не замечать пустующий дом. К нему был приставлен еще один человек, приятного характера, мастер на все руки с испанским именем Гонзало, которому эти стражницы-драконши поручали присматривать за домом, а если у него оставалось свободное время, мы зазывали его к себе и просили исправить проводку или трубы, а посреди зимы почистить от снега крышу и крыльцо. Эти услуги он оказывал нам с улыбкой в обмен на небольшие суммы наличными, деликатно вкладываемые в его ладонь.

Исторический район Сад Макдугал-Салливан — давайте же назовем Сад его полным, благозвучным именем — был заколдованным, свободным от страха местом, где мы жили, растили детей, был счастливым прибежищем от разочарованного, запуганного внешнего мира, и мы не считали нужным извиняться за свою преданную любовь к нему. Оригинальные здания неогрек, возведен-

ные на улицах Макдугал и Салливан в 1850-х, в 1920-е были перестроены в неоколониальном стиле архитекторами, которых нанял некий мистер Уильям Слоан Коффин, торговавший мебелью и коврами; именно в этот момент задние дворы объединили в общий Сад, ограниченный с севера улицей Бликер, а с юга улицей Хаустон и предназначенный исключительно для частного использования жителей примыкавших к нему домов. Особняк Мюррея выделялся даже здесь, он был во многих отношениях чересчур величествен для Сада, изысканная местная достопримечательность: архитектурная компания “Хоппин энд Коэн”, строившая этот дом с 1901 по 1903 год для известного банкира Франклина Мюррея и его жены Гарриет Ланьер, снесла два прежних здания, стоявшие с 1844 года на земле купца Николаса Лоу. Новый дом строился в манере французского ренессанса, в котором фантазия сочеталась с фешенебельностью — в этом стиле партнеры “Хоппин энд Коэн” обладали значительным опытом, оба учились в парижской Эколь де Боз-Ар, а затем проходили практику в “Макким, Мид и Уайт”. Позднее выяснилось, что Нерон Голден владел этим зданием с начала восьмидесятых. В Саду издавна перешептыва-

лись, мол, владелец порой появляется, проводит в особняке день или два в год, но никто из нас не видел его воочию, хотя порой в доме вечером светилось больше окон, чем обычно, и — это уж совсем редко — мелькала за шторами тень. Местные дети решили, что в доме обитают призраки, и предпочитали держаться подальше.

Таким был этот дом, распахнувший просторные парадные двери в январский день, когда из лимузина “даймлер” вышли Голдены, отец и сыновья. На пороге их встречала приветственная делегация, обе драконши, подготовившие дом к приезду хозяев. Нерон и его сыновья проследовали внутрь и обрели тот мир лжи, в котором всем четверым предстояло жить: не с иголочки новенькую сверхсовременную резиденцию богатой иностранной семьи, где они могли бы осваиваться по мере того, как будет наполняться их новая жизнь, умножаться опыт — как будут укрепляться связи с городом — нет! — то место, где Время уже двадцать с лишним лет стояло на месте, безразлично созерцая потертые бидермейеровские кресла, постепенно выцветающие ковры, лавовые лампы в стиле шестидесятых, с кротким недоумением поглядывая на портреты всех правильных людей той эпохи, когда

Нерон Голден был много моложе — тут и Рене Рикард, и Уильям Берроуз, Дебора Харри, шишки с Уолл-стрит, старинные семейства из светского справочника, носители священных имен — Люс, Бикман, Очинклосс. До того как он обзавелся этим домом, Нерон владел огромным богемным лофтом с высокими потолками, триста квадратных метров на углу Бродвея и улицы Грейт-Джонс, и в своей далекой юности был допущен на Фабрику, сидел благодарным невидимкой в уголке для богатеньких мальчиков рядом с Саем Ньюхаусом и Карло де Бенедетти, но это было так давно. В доме оставались сувениры тех дней и позднейших визитов хозяина в восьмидесятые. Значительная часть мебели хранилась на складах, возвращение этих примет более ранней эпохи напоминало эксгумацию, симулируя преемственность, какой на самом деле в истории этого особняка не было. Вот почему дом всегда казался нам прекрасной фальшивкой. Мы повторяли друг другу слова Примо Леви: “Таков самый первый плод изгнания, разрыва с корнями: нереальное берет верх над реальным”.

Ничто в доме не давало ключа к прошлому хозяев, и эти четверо упорно отказывались сообщать нам о своем происхождении. Слухи

неизбежно просачивались, и мы постепенно выяснили всю их предысторию, но до той поры каждый обзаводился собственными гипотезами насчет их тайны, и вокруг их вымыслов сплетались наши. Хотя все они были достаточно светлокожими — оттенки от молочной бледности младшего сына до дубленой кожи старика Нерона, — они с очевидностью не считались “белыми” в традиционном смысле слова. Они говорили на безупречном, с британским акцентом, английском, намекавшим на оксбриджское образование, и поначалу мы в большинстве своем ошибочно сочли, что мультикультурная Англия и есть страна-которую-нельзя-называть, а город — мультикультурный Лондон. Это лондонцы ливанского, армянского или южноазиатского разлива, гадали мы, а может быть, и родом из европейского Средиземноморья, вот чем объясняется их пристрастие к римлянам. Что же такого ужасного с ними там произошло, каким нестерпимым оскорблениям они подверглись, если так далеко зашли в отречении от своих корней? Ну-ну, для большинства из нас то были чужие дела, и мы соглашались не вникать в это глубже — до тех пор, пока не оказалось невозможным держаться и далее в стороне. А когда это

время наступило, выяснилось, что мы задавались неверными вопросами.

Что их свежевыдуманные псевдонимы продержались ни много ни мало два президентских срока, что эти вымышленные американские псевдоличности, обитавшие во дворце иллюзий, были приняты нами, их новыми соседями и знакомцами, почти без сомнений, многое говорит нам о самой Америке, и еще больше — о решимости, с какой Голдены обживали свою хамелеонью кожу, становясь в глазах всех окружающих тем, чем им вздумалось назваться. Задним числом только дивишься обширности этого плана, сложной подгонке деталей, требовавших пристального внимания: паспорта, удостоверения личности, водительские права, страховки и номера налогоплательщика — столько подделок и тайных сделок и взяток, — дивишься преодоленным трудностям и ярости или же страху, что побудили осуществить такой сложный, такой величественный и абсурдный план. Потом выяснилось, что старик готовил метаморфозу чуть ли не полтора десятилетия, прежде чем привел шестеренки в движение. Если б мы знали это раньше, мы бы поняли, что он пытается скрыть нечто весьма существенное. Но мы не знали. Для нас они бы-

ли просто самопровозглашенный король и его *soi-disant*[5] принцы, живущие в архитектурной жемчужине нашего квартала.

По правде говоря, они такими уж странными не казались. Каких только имен не берут себе американцы! Стоило полистать телефонный справочник в те времена, когда еще существовали телефонные справочники — сплошная номенклатурная экзотика. Гекльберри! Димсдейл! Ихавод! Ахав! Фенимор! Портной! Драдж! И десятки, сотни, тысячи Голдов, Голдуотеров, Голдштейнов, Файнголдов, Голдберри. Американцы сами постоянно решали, как им зваться и кем быть, отказываясь от былых Гетцев и превращаясь в носящих рубашки Гэтсби и гоняясь за мечтой по имени Дейзи — или же по имени Америка. Сэмюэл Голдфиш (еще один золотой мальчик) сделался Сэмюэлем Голдвином, Аэртзоны стали Вандербильтами, Клеменс — Твеном. И многие из нас, иммигрантов, или же наших родителей или дедов, предпочли оставить прошлое позади, в точности как теперь это решили сделать Голдены, поощряли детей говорить по-английски, а не на старом языке старой страны — говорить, оде-

---

[5] Примечания: 5
Самозваные (*франц.*).

ваться, вести себя, *жить* по-американски. Старый хлам мы убрали в погреб, выбросили, потеряли. В своих фильмах и в комиксах — и в комиксах, в которые превратились наши фильмы — мы каждый день чтим и славим саму идею Тайной Идентичности. Кларк Кент, Брюс Уэйн, Чудо-Женщина Диана, Брюс Бэннер, Рейвен Даркхолм — мы любим вас. Тайная Личность была некогда французским изобретением — Фантомас, великий вор, а также Призрак Оперы, — но теперь она пустила глубокие корни в американской культуре. Если наши новые друзья желали быть Цезарями, нас это устраивало. У них отличный вкус, отличные наряды, отличный английский, и они казались эксцентриками не в большей мере, чем, скажем, Боб Дилан или кто-то из прежних соседей. Итак, Голденов приняли, ибо они были приемлемы. Они теперь тоже были американцами.

Но в конце концов все ими выстроенное рухнуло. Вот причины их падения: ссора между братьями, непредвиденная метаморфоза, вторжение в жизнь старика молодой женщины, красивой и решительной, убийство (несколько убийств). И наконец, в той далекой стране, которая не имеет имени, было проведено основательное расследование.

3

Вот их нерассказанная история, их взорвавшаяся планета Криптон[6] — душещипательная история, как многие из тех, которые превращают в тайну.

Огромный отель возле гавани любили все, даже те, кто по бедности не мог и надеяться войти в его двери. Все видели его интерьеры в фильмах, в киножурналах и в снах: знаменитая лестница, бассейн, окруженный томными красотками в купальниках, сверкающие коридоры с магазинами и портновскими мастерскими, где на заказ могли за полдня воспроизвести ваш любимый фасон, только решите, из шерсти пошить или из габардина. Все знали, как сказочно умел, бесконечно гостеприимен и глубоко предан своему делу персонал, для которого отель превратился в семью: он почитал начальство как патриарха, а каждого переступавшего порог чествовал словно короля или королеву. Здесь, разумеется, останавливались иностранцы, смотрели из окон отеля на гавань, на прекрасный залив, давший

---

[6] Примечания: 6
Планета Криптон — родина Супермена.

неименуемому городу его имя, дивились огромной армаде морских судов, качавшихся перед их глазами, парусным судам, и моторным, и круизным, всех мыслимых размеров, форм и окраски. Всем здесь была известна история рождения города: как англичане возжелали его именно из-за прекрасной гавани, как договаривались с португальцами, чтобы их принцесса Екатерина вышла замуж за короля Карла II, а поскольку бедняжка Екатерина вовсе не была красоткой, требовалось чертовски хорошее приданое, тем более что Карл II умел оценить женскую красоту, и таким образом город добавили к приданому, и Карл женился на Екатерине и до конца жизни ею пренебрегал, зато британцы поставили в гавани свой флот и принялись с большим размахом осваивать территорию: соединили Семь Островов, построили крепость, затем город, затем пришла Британская империя. Поскольку город был построен иностранцами, казалось вполне справедливым иностранцев же с почетом и принимать в великолепном дворце-отеле с видом на ту самую гавань, ради которой некогда и создавался город. Но отель предназначался не только для иностранцев, очень уж романтичное это было здание — каменные стены, красный купол,

бельгийские люстры над головой, а на стенах и на полах — предметы искусства, мебель, ковры со всех концов гигантской страны, страны-которую-нельзя-называть, так что будь вы молодым человеком, желающим произвести впечатление на свою возлюбленную, вы непременно добыли бы денег, чтобы привести ее в гостиную с видом на море, и там, под поцелуями морского бриза, вы пили бы лаймовый сок или чай и ели бы сэндвичи с огурцом и пирожные, и она бы полюбила вас за то, что вы привели ее в магическое сердце города. И, может быть, на втором свидании вы бы снова пришли сюда, угоститься китайской едой на первом этаже, и это все решило бы между вами.

После ухода британцев прекрасный старый отель заселяли великие люди города, и всей страны, и всего мира — принцы, политики, кинозвезды, пастыри; самые знаменитые и самые красивые лица города, страны, мира стремились затмить друг друга в коридорах отеля, и он сделался таким же символом города-которого-нельзя-называть, как Эйфелева башня, Колизей или та статуя в гавани Нью-Йорка, чье полное название — *Свобода просвещает мир*.

В некий миф об основании старого гранд-отеля

верили почти все жители города-который-нельзя-называть, хотя этот миф не был правдой: это был миф о свободе, о том, как отсюда изгнали британских империалистов, в точности как из Америки. Рассказывалось так: в начале XX века величественный старый господин в феске, богатейший, между прочим, человек в стране-которую-нельзя-называть, попытался однажды войти в другой, еще более древний гранд-отель в том же квартале, но из-за его цвета кожи ему отказали. Величественный старый господин спокойно кивнул, ушел, купил изрядный участок земли на той же улице и построил там самый великолепный, самый красивый отель в городе-который-нельзя-называть в стране-которую-нельзя-называть, и вскоре отбил клиентуру у того отеля, куда его не пустили. Итак, в глазах народа отель сделался символом мятежа, победы над колонистами в их собственной игре, да их попросту сбросили в море, и даже когда было убедительно доказано, что подобного в реальности не происходило, ничего из-за этого не изменилось, ведь символ свободы и торжества куда сильнее фактов.

Прошло сто пять лет. 23 ноября 2008 года десять боевиков, вооруженных автоматами и ручными гранатами, отплыли из вражеской соседней

страны к западному берегу страны-которую-нельзя-называть. В рюкзаках они везли амуницию и сильные наркотики — кокаин, стероиды, ЛСД плюс шприцы, По пути в город-который-нельзя-называть они захватили рыбацкий корабль, бросили свое судно, затащили две надувные лодки на борт рыбацкого корабля и указали капитану, куда держать путь. Поблизости от берега они прикончили капитана и сели в лодки. Задним числом многие удивлялись, как это береговая охрана их не заметила, не попыталась перехватить. Считалось, что берег тщательно охраняется, но в ту ночь случился какой-то сбой. Высадившись 26 ноября, боевики разделились на малые группы и направились к намеченным заранее целям: вокзал, больница, кинотеатр, еврейский центр, популярное кафе, два пятизвездочных отеля. Один из них — тот, что мы описали выше.

Атака на железнодорожный вокзал началась в 21.23 и продолжалась полтора часа. Двое боевиков стреляли во все, что движется, погибло пятьдесят восемь человек. Боевики ушли с вокзала и были в итоге окружены поблизости от городского пляжа, там один из них был застрелен, а второй сдался. Тем временем, в 21.30, другая команда убийц взо-

рвала бензоколонку и принялась расстреливать бросившихся к окнам посетителей еврейского центра. Затем убийцы ворвались в сам центр и оставили там семь трупов. Еще десять человек погибли в кафе. В следующие двое суток примерно тридцать человек было убито в другом отеле.

Отель, который все так любили, подвергся нападению около 21.45. Расстреляв тех, кто находился у бассейна, боевики двинулись в зону ресторанов. Молодая женщина, работавшая в Морском зале — том, куда юноши приводили девушек, чтобы произвести на них впечатление, — помогла многим бежать через служебный выход, но когда в этот зал ворвались боевики, она сама была убита. В ход пошли гранаты, оргия убийств продолжалась, осада длилась три дня. Снаружи находились телекамеры, собралась толпа, кто-то крикнул: “Отель горит!” Языки пламени вырывались из окон верхнего этажа, вспыхнула и знаменитая лестница. Среди оказавшихся в огненной ловушке и сгоревших заживо были жена и дети управляющего отелем. Боевики располагали поэтажными планами, более точными, чем те, что имелись у сил безопасности. Наркотики помогали убийцам обходиться без сна, а ЛСД, которая не является психостимулято-

ром, в сочетании с другими средствами, которые действуют как психостимуляторы, вызывала маниакальное неистовство с галлюцинациями, и боевики громко хохотали, убивая. Снаружи телекомментаторы сообщали о тех постояльцах, кому удалось выбраться, и убийцы смотрели телевизор, чтобы выяснить, какими путями выходят из отеля. К концу осады более тридцати человек было мертво, в том числе многие из персонала.

Голдены, тогда еще носившие старое, позднее отброшенное имя, жили в самом привилегированном районе, на самом привилегированном холме, в огороженном и охраняемом квартале, в большом современном доме с видом на особняки ар-деко, вытянувшиеся вдоль бухты Бэк-бей, куда каждую ночь стремглав ныряло красное солнце. Можно вообразить их там, старика, тогда еще не столь старого, и сыновей, тоже более молодых: первенца, крупнотелого, гениального, неуклюжего, страдающего агорафобией; среднего, склонного бродить по ночам и рисовавшего светские портреты; младшего, в ком бушевала тьма и растерянность; вероятно, в игру с классическими именами старик вовлек их много лет назад, как с малолетства приучал их к мысли, что они не простые люди, они Цезари, полубоги.

Римских императоров, а затем византийских, арабы и персы именовали Кайсар-е-Рум, то есть римскими цезарями. И если Рим был Рум, то они, цари нового восточного Рима — Руми. Это побудило их изучать мистика и мудреца Руми, Джалал-ад-Дина Балхи, его цитатами отец и сыновья перебрасывались, словно теннисными мячиками. *Чего ты ищешь, само тебя ищет; ты — вселенная в экстатическом движении; не бойся дурной славы; создай собственный миф; продай свой ум и купи безумие; подожги свою жизнь, ищи тех, кто раздует твой огонь;* или: *если желаешь исцелиться, позволь себе заболеть*, и так далее, пока им не надоели его афоризмы, и тогда они принялись, друг другу на потеху, сочинять собственные: *хочешь быть богатым, обедней; если кто-то тебя ищет, значит, ты ищешь его; хочешь стоять правильно, стой на голове.*

После чего они перестали быть Руми и сделались на латинский манер Юлиями, сыновьями Цезаря, которые и сами Цезари или станут таковыми. Они принадлежали к старинной семье, которая утверждала, что способна проследить свою генеалогию вплоть до Александра Великого (а тот, по Плутарху, был сыном самого Зевса), так что по меньшей мере могли считаться ровней

Юлиям-Клавдиям, происходившим якобы от Юла, сына благочестивого Энея, троянского принца, чьей матерью была богиня Венера. Что же до самого имени “Цезарь”, имеется как минимум четыре его этимологии. То ли первый Цезарь убил *caesai* — так мавры называли слона? То ли у него на голове густо росли волосы — *caesaries*? Или он отличался серыми глазами, *oculis caesiis*? Или его имя происходит от глагола *caedere*, резать, поскольку он был извлечен на свет кесаревым сечением?

— Глаза у меня не серые, мать родила меня обычным путем, — сказал старик, — и мои волосы, хотя пока и сохранились, поредели; слонов я также не убивал. К черту первого Цезаря — предпочту быть последним, Нероном.

— Кто же в таком случае мы? — спросил средний сын.

— Вы — мои сыновья, — пожал плечами патриарх. — Выбирайте себе имена сами.

Потом, когда настало время уезжать, они обнаружили, что он подготовил им паспорта на эти новые имена, и это их не удивило: их отец был человеком дела.

А вот, как на старой фотографии, жена старика, маленькая печальная женщина, седые волосы

уложены в растрепанный пучок, память нанесенных самой себе ран в глазах. Жена Цезаря: обязана быть вне подозрения и прикована к худшей в мире профессии.

Вечером 26 ноября что-то случилось в большом доме, какой-то спор между Цезарем и его женой, она потребовала “мерседес” с шофером и в горе покинула дом, искала утешения у подруг. Так она оказалась в Морском зале любимого всеми отеля, ела сэндвичи с огурцами и пила сильно подслащенный свежевыжатый лаймовый сок, когда галлюцинирующие боевики ворвались, хохоча от счастья, глаза навыкате, психоделические воображаемые птицы над головой, и открыли стрельбу на поражение.

И да, разумеется, страна была Индия, город, разумеется, Бомбей, дом — в том роскошном поселении Уолкшвар на Малабарском холме, и, разумеется, это была атака исламских террористов, отправленных из Пакистана Лашкаре-Тайба, “армией революции”. Сначала напали на вокзал, прежде именовавшийся Терминалом Виктории, VT, а теперь, как все в Бомбее-Мумбаи, переименованный в честь героя маратхи принца Шиваджи, — потом на кафе “Леопольд” в Колабе, на отель “Оберой Трайдент”, на кинотеатр “Мет-

ро”, на больницу “Кама и Алблесс”, на еврейский центр “Шабад” и отели “Тадж-Махал” и “Тауэр”. И да, после трех дней осады и боев мать двух старших мальчиков Голденов (о матери младшего мы еще поговорим) была найдена среди погибших.

Когда старик услышал, что его жена заперта в “Тадже”, колени у него подогнулись, и он бы покатился вниз по мраморным ступеням своего мраморного дома, из мраморной гостиной на нижнюю мраморную террасу, если бы слуга не стоял достаточно близко, чтобы его подхватить, но в ту пору слуги были повсюду. Старик остался стоять на коленях, уткнувшись лицом в ладони, его сотрясали рыдания столь громкие, судорожные, словно рвался наружу заточенный в нем зверь. Все время, пока продолжался бой, он оставался в этой молитвенной позе на верхней площадке мраморной лестницы, отказываясь от еды и сна, колотя себя в грудь кулаком, словно профессиональный плакальщик на похоронах, и обвиняя себя. Я не знал, что она поедет туда, восклицал он, как я не догадался, нельзя было ее отпускать. В те дни воздух в городе казался темным, как кровь, и даже в полдень темным, как зеркало, старик увидел в нем свое отражение, и оно ему не понравилось, и так велика была сила

его видения, что сыновья видели то же самое, и когда пришла дурная весть, отрезавшая их от прежней жизни, с воскресными прогулками вдоль ипподрома в компании членов старинных и славных семей Бомбея и нуворишей, со сквошем и бриджем, бассейном и бадминтоном и гольфом в клубе “Уиллингдон”, с киноактрисульками и джазом — когда все это ушло навеки, утонуло в океане смерти, — они согласились с тем, что пожелал сделать отец, то есть оставить этот дом из мрамора и разбитый, разодранный город, где стоял этот дом, и всю эту грязную, коррумпированную, больную страну, все, что у них было и что отец внезапно или не так уж внезапно возненавидел, они согласились забыть каждую подробность того, что этот город и дом для них значил и кем они здесь были и что утратили: женщину, чей муж накричал на нее и тем самым отправил навстречу року, женщину, чьи сыновья ее любили, а пасынок однажды так гнусно унизил, что она пыталась покончить с собой. Они начисто вытрут доску, обретут новые личности, переберутся на другой конец света и станут другими, не теми, кем были. Они ускользнут из исторического в личное, в Новом Свете им только личное и нужно, только этого они добиваются:

стать отдельными, индивидуальными, одинокими, чтобы каждый на свой лад заключал договор с повседневной, внешней историей и внешним миром — приватно. И ни одному из них в голову не пришло, что это решение родилось из чудовищной веры в свою привилегированность, из убеждения, что они могут вот так запросто выйти из вчерашнего дня и начать завтрашний, словно оба дня не принадлежат одной неделе, выйти за пределы памяти, корней, языка и расы в страну самодельного Я, иными словами — в Америку.

Как же мы оклеветали ее, покойницу, когда в своих пересудах объясняли ее отсутствие в Нью-Йорке супружеской изменой. Ее отсутствие, ее трагедия придавали смысл присутствию ее семьи среди нас. Она была моралью этой истории.

Когда умерла жена императора Нерона Поппея Сабина, он сжег на похоронах десятилетний запас аравийского ладана. Однако в случае Нерона Голдена все благовония мира не смогли бы заглушить скверный запах.

Юридический термин *бенами* выглядит почти что французским, *ben-ami*, сбивая с толку несведущих, наводя их на мысль, что это слово означает “добрый друг”, *bon-ami,* или же “любимый”, *bien-aimé*, что-то в таком роде. Но на самом деле это

слово персидского происхождения и корни в нем не *ben-ami,* а *bé-námi. Bé* — приставка “без”, а *nám* — “имя”, то есть *benami* — “безымянный”, “анонимный”. В Индии *benami* называются трансакции недвижимости, в которых покупатель, от имени которого совершается сделка, служит всего лишь прикрытием для реального владельца. На старом американском сленге в значении *benami* используется *beard* — “борода”.

В 1988 году правительство Индии приняло Закон о трансакциях бенами (об их запрете), который не только объявил такие сделки юридически недействительными, но и дал государству право конфисковать анонимную недвижимость. Впрочем, оставалось много лазеек, и одним из средств борьбы с этими лазейками предполагалось введение системы “Аадхаар”. Аадхаар — двенадцатизначный номер социального страхования, присваиваемый каждому гражданину Индии пожизненно. При любых сделках с недвижимостью и финансовых транзакциях вменяется указывать этот номер, и таким образом остается электронный след от любой деятельности граждан. Тем не менее тот человек, которого мы знали под именем Нерон Голден, к тому времени уже более двадцати лет как американский гражда-

нин и отец американских граждан, успел обойти новое законодательство. Когда произошло то, что произошло, и все вышло на свет, мы узнали, что дом Голденов принадлежал даме почтенного возраста, старшей из двух смотрительниц особняка, и никаких иных юридических документов не существовало. Но случилось то, что случилось, и даже стены, столь тщательно возводившиеся Нероном, обрушились, и чудовищный размах его преступности предстал перед нами, обнаженный в ясном свете дня. Это случилось в будущем. А пока он был просто Н. Ю. Голден, наш богатый и — как мы убедились — вульгарный сосед.

4

В укромном, заросшем травой квадрате Сада я ползал прежде, чем начал ходить, ходил прежде, чем начал бегать, бегал прежде, чем научился танцевать, танцевал прежде, чем пел, и я танцевал и пел, пока не научился тишине и молчанию и не замер неподвижно, прислушиваясь к сердцу Сада, где летними вечерами сияли светлячки, и не сделался, по крайней мере в собственных глазах, художником. Точнее говоря, будущим сочинителем фильмов. В моих мечтах — режиссером или даже, как некогда торжественно выражались, “автором-сценаристом”.

До сих пор я скрывался за формой первого лица множественного числа и, возможно, буду и впредь, но пора уже представиться. Вот я. Но в каком-то смысле я не особо отличаюсь от моих персонажей, ведь они тоже скрывались от семьи, чье прибытие в мой уголок мира снабдило меня великим проектом, который я до той поры с возрастающим отчаянием себе подыскивал. Если Голдены основательно вложились в истребление своего прошлого, то я, взявший на себя задачу быть их хронистом и, вероятно, их *имажина-*

тором — такой термин был выдуман для тех, кто изобретает аттракционы в тематических парках Диснея, — я по натуре склонен держаться в тени. Как говорит Ишервуд в зачине “Прощай, Берлин”? “Я — камера с открытым объективом, совершенно пассивная, не мыслящая — только фиксирующая”[7]. Но так было тогда, а ныне век смарт-камер, которые мыслят за нас. Может быть, я такая смарт-камера. Я записываю, но я не вовсе пассивен. Я мыслю. Я что-то меняю. Возможно, даже изобретаю. Быть имажинатором в конце концов совсем не то, что быть буквалистом. Звездная ночь на картине Ван Гога не похожа на фотографию звездной ночи, и тем не менее это великолепное отображение звездной ночи. Давайте сразу договоримся: я предпочитаю фотографии живопись. Я камера, которая рисует.

Зовите меня Рене. Мне всегда нравилось, как рассказчик в “Моби Дике” не открывает нам свое имя на самом деле. “Зовите-меня-Измаил” — в “реальности”, то есть в жалком Настоящем, что лежит за пределами великой Реальности романа, его могли звать — да как угодно. Он мог быть Брэд, Триг, Орнетт, Шуйлер, Зик. Он мог быть даже

---

[7] Примечания: 7
Перевод А. Курт.

Измаилом. Мы не знаем, и, подобно моему великому предшественнику, я предпочту не говорить прямо: “меня зовут Рене”. Зовите меня Рене — вот все, что я могу вам предложить.

Идем дальше. Оба мои родителя были университетские преподаватели (вы замечаете в их сыне наследственную профессорскую нотку?), они купили наш дом на углу Салливан и Хаустон еще в юрский период, когда все было дешево. Представляю вам родителей: Гейб и Дарси Унтерлинден, состоящие в долгом счастливом браке — не только почтенные ученые, но и любимые учителя и, подобно великому Пуаро (персонаж вымышленный, но, как говорит Миа Фэрроу в “Пурпурной розе Каира”, нельзя иметь все сразу)… бельгийцы. В прошлом, спешу уточнить, бельгийцы, давно уже и навсегда американцы. Гейб упорно сохранял своеобразный, утрированный и по большей части искусственный общеевропейский акцент, Дарси прекрасно чувствовала себя в шкуре янки. Профессора играли в пинг-понг (они бросили вызов Нерону Голдену, узнав о его любви к этому спорту, и он разбил их в пух и прах, хотя оба они играли прилично). Они все время обменивались поэтическими цитатами. Они разбирались в бейсболе и, хихикая, прилипали к экранам во

время реалити-шоу, любили оперу, вечно планировали общую, так и не написанную монографию об этом жанре под названием “Цыпочка должна умереть”.

Они любили свой город за несходство со всей страной.

— Рим не ессть Италия, — наставлял меня отец, — Лондон не ессть Англия, и Париж не ессть Франция, и сдесь, где мы сейчасс, сдесь не Соединенные Штаты Америки. Сдесь ессть Нью-Йорк.

— Между метрополией и периферией, — вставляла примечание мама, — вечное отчуждение, вечный ресентимент.

— После одиннадцатого сентября Америка притворяется, будто любит нас, — говорил папа. — Надолго ли такая любофф?

— Очень, на хрен, ненадолго, — подхватывала его мысль мама (она часто вставляла ругательства и уверяла, что сама того не замечает. Сами выскакивают).

— Это ессть пузырь, как все теперь говорят, — продолжал папа. — Это ессть как в фильме с Джимом Керри, только в масштабах большого города.

— “Шоу Трумана”, — спешила с пояснением мама. — И даже не весь город в пузыре, потому

что пузырь надувается деньгами, а деньги распределены неравномерно.

В этом их суждение отличалось от общепринятого, согласно которому наш пузырь состоял из прогрессивных программ, или же они, как добрые постмарксисты, верили, что либерализм обусловлен экономически.

— Бронксс, Квинсс, может быть, не совсем в пузыре, — рассуждал отец. — Стейтен-Айленд *безусловно* не в пузыре.

— Бруклин?

— Бруклин. Да, может быть в пузыре. Частями.

— Бруклин прекрасен, — начинал отец фразу, и они в унисон заканчивали свою любимую, сто раз повторенную штуку: — Но он ессть в Бруклине!

— Суть в том, что мы любим свой пузырь, и ты его любишь, — говорил мне отец. — Мы не хотим жить в красном штате[8] и ты — тебе конец пришел бы, скажем, в Канзассе, где не верят *в эволюцию.*

— По правде говоря, Канзас — доказательство против теории Дарвина, — мурлыкала мама. — Видимо, не всегда выживают самые приспособленные. Порой вместо них остаются

---

[8] Примечания: 8
“Красные” штаты голосуют за республиканцев.

самые никчемные.

— А еще сумасшедшие ковбои, — продолжал отец, и мама подхватывала:

— Мы бы не смогли жить *в Калифорнии.*

(В этот момент понятие пузыря усложнялось, к экономическому противопоставлению добавлялось культурное, правый берег и левый берег, Бигги-но-не-Тупак[9]. Но их вроде бы не смущали противоречия собственной позиции.)

— Вот кто ты ессть, — вменял мне отец. — Мальчик в пузыре[10].

— Настали дни чудес и дива, — цитировала мама. — И не плачь, малыш, не плачь, на хрен, не плачь.

У меня было счастливое детство с моими профессорами. В центре пузыря был Сад, Сад был сердцем пузыря. Я вырос в заколдованном мире, укрытом от зла, обмотанный шелковым коконом

---

[9] Примечания: 9

Кристофер Уоллес (B. I. G., Бигги, 1972–1992) — исполнитель хип-хопа, лидер Восточного побережья, противостоявший Тупак Шакуру (1971–1996), также исполнителю хип-хопа и лидеру Западного побережья. Оба рэпера погибли в перестрелках, после чего Война Побережий закончилась.

[10] Примечания: 10

“Мальчик в пузыре” (*“The Boy in the Bubble”*) — песня Пола Саймона (1986), припев которой цитирует в следующей реплике мать. Сама песня апокалиптична: “Дни чудес и дива” — это взрывчатка в детской коляске и т. п.

городского либерализма, отсюда моя отвага, отвага невинности, хотя я и знал, что за пределами этих чар черные ветряные мельницы ждут дурака-донкихота. (И все же “единственное оправдание привилегиям — обратить их на пользу”, учил меня отец.) Я ходил в школу Литтл-Ред[11], потом учился в университете на площади Вашингтона[12]. Вся жизнь в пределах дюжины кварталов. Мои родители все-таки знали больше приключений. Отец учился в Оксфорде на фулбрайтовскую стипендию, а по окончании вместе с британским приятелем проехал в “мини-тревеллере” Европу и Азию — Турцию, Иран, Афганистан, Пакистан, Индию — в тот вышеупомянутый юрский период, когда по Земле бегали динозавры и можно было, не лишившись головы, совершить подобное путешествие. Вернувшись, он счел, что на этом с него большого мира хватит, и сделался, вместе с Берроузом и Уоллесом[13], одним из трех главных

---

[11] Примечания: 11

Литтл-Ред (основана в 1921 г., переехала на Бликер-стрит в 1932 г.) считается первой прогрессистской школой Нью-Йорка, ориентированной на критическое мышление, сотрудничество и социальную ответственность.

[12] Примечания: 12

Т.е. в Нью-Йоркском университете.

[13] Примечания: 13

Эдвин Берроуз и Майк Уоллес, авторы книги “Готэм: история Нью-Йорка до 1898 года”.

историографов города Нью-Йорка, соавтором, наряду с этими двумя достойными джентльменами, многотомной классики, “Метрополиса”, полной и окончательной истории родного города Супермена, где мы все жили, и где каждое утро на порог дома падала “Дейли плэнет”, и где через много лет после старика Супера обосновался Спайдермен — поблизости, в Квинсе. Когда мы вместе гуляли по Виллидж, он указывал мне, где жил некогда Аарон Берр, а как-то раз, стоя перед мультиплексом на углу Второй авеню и Тридцать второй улицы, он рассказал мне полную версию высадки в бухте Кип[14] и как Мэри Линдли Мюррей спасла американских солдат Израэля Патнэма, попросив британского генерала Уильяма Хоува прекратить погоню за беглецами, а лучше зайти к ней на чай в ее великолепный дом Инкленберг на вершине холма, который потом будет назван ее именем.

Моя мама была на свой лад столь же бестрепетна. В молодости она работала в системе здравоохранения, возилась с наркоманами и кое-как выживающими фермерами Африки. После моего рождения ей пришлось сузить поле деятельности: сначала она сделалась экспертом

[14] Примечания: 14

Высадка в бухте Кип (15 сентября1776 года) — британская операция в ходе Американской войны за независимость.

по воспитанию малолетних, а со временем профессором психологии. Наш дом на Салливан в дальнем от особняка Голденов конце Сада был заполнен любимым хламом, накопившимся за их жизни — протертыми персидскими коврами, резными деревянными африканскими статуэтками, фотографиями, картами и гравюрами первых “Новых” городов на острове Манхэттен — и Нового Амстердама, и Нового Йорка. Имелся уголок, посвященный знаменитым бельгийцам, оригинальная иллюстрация к “Тинтину” висела рядом с Дианой фон Фюрстенберг (портрет работы Уорхола, трафаретная печать) и знаменитым голливудским снимком красавицы-актрисы из “Завтрака у Тиффани” с длинным мундштуком в руках — прежняя мисс Эдда ван Хеемстра, впоследствии обожаемая многими под именем Одри Хепберн. А под ними — первое издание “Воспоминаний Адриана” Маргерит Юрсенар на маленьком столике рядом с фотографиями моего тезки Магритта в его студии, велогонщика Эдди Меркса и Поющей Монахини[15] (Жан-Клод ван Дамм не был допущен в собрание).

---

[15] Примечания: 15

Жаннин Деккерс (1933–1985) постриглась под именем Люк-Габриэль… Благодаря песням и фильму “Поющая монахиня” (1965) обрела популярность, вернулась в мир и пела под псевдонимом Люк Доминик.

Несмотря на это маленькое святилище Бельгии, они без запинки критиковали страну своего исхода, если требовалось ответить на вопрос.

— Король Леопольд Второй и Свободное государство Конго, — могла сказать мама. — Худшие колонизаторы в истории, самая грабительская система в колониальной истории.

— А сегодня, — добавлял отец, — Моленбек[16]: европейский центр фанатичного ислама.

На почетном месте, на каминной полке гостиной, уже не первое десятилетие лежала никогда не использовавшаяся пачка гашиша, все еще в оригинальной обертке из дешевого целлофана с официальной печатью афганского правительства в форме луны, подтверждающей качество. В Афганистане при короле гашиш был разрешен и продавался в трех различавшихся по цене и качеству фасовках — афганское “золото”, “серебро” и “бронза”. Но то, что мой отец, никогда не баловавшийся даже травкой, держал на почетном месте в центре каминной доски, было редкостью, легендарной, почти оккультной.

— “Афганская Луна”, — пояснял отец. — Если

[16] Примечания: 16

Моленбек-Сен-Жан — район Брюсселя, где около 30 % составляют мигранты. Здесь прятались некоторые из наиболее опасных участников последних европейских терактов.

попробуешь, она откроет третий гласс, шишковидную железу посреди лба, и ты станешь ясновидящим, мало какой секрет утаится от тебя.

— Почему же ты никогда не пробовал? — спрашивал я.

— Потому что мир бесс тайны подобен картине бесс тени, — отвечал он. — Когда видишь слишком много, не видишь нитшево.

— Он имеет в виду, — растолковывала мама, — что а) мы верим в необходимость пользоваться разумом, а не взрывать его, б) этот гашиш, скорее всего, с добавками, он, как говорили хиппи, *разбодяжен* какими-нибудь ужасными галлюциногенами, и в) есть вероятность, что я была бы решительно против. Не знаю. Он никогда не подвергал меня такому испытанию.

“Хиппи”. Таким тоном, словно у нее собственных воспоминаний о семидесятых не было, словно она никогда не носила дубленку или бандану и не мечтала сделаться Грейс Слик[17].

Кстати, “Афганского Солнца” не существовало. Солнцем Афганистана был король, Захир Шах. А потом пришли русские, а потом пришли фанати-

---

[17] Примечания: 17

Грейс Слик (род. 1939) — американская рок-певица, звезда психоделики.

ки, и мир изменился…

Но “Афганская Луна”… Вот что светило мне в самые темные минуты жизни, и моя мама уже не могла ничего сказать против.

И были книги, разумеется, книги, словно чума, заражавшая каждый уголок нашего неряшливого счастливого дома. Я стал писателем — потому, разумеется, что жил со всеми этими предками в одном доме, и, может быть, выбрал кино, а не романы или биографии, потому что понимал, сколь безнадежно состязаться с этим старичьем. Но пока Голдены не переехали в большой дом на Макдугал, по диагонали от нашего в другом углу Сада, моя постстуденческая креативность прокисала в бездействии. С безграничной самонадеянностью юности я замышлял мощный фильм или даже секвенцию вроде “Декалога”[18], о миграции и трансформации, страхе, угрозе, рационализме, романтизме, трансгендерном переходе, о городе, об отваге и трусости, панорамный портрет моей эпохи, никак не меньше. При этом я предпочитал работать в стиле “оперативного реализма”, как сам с собой это

[18] Примечания: 18

“Декалог” (1988–1990) — цикл из десяти фильмов польского режиссера Кшиштофа Кесьлёвского.

называл, и сделать своим сюжетом конфликт между Я и Другим. Я пытался создать вымышленный портрет своего квартала, но в истории отсутствовала движущая сила. Мои родители не обладали обреченным героизмом, необходимым для ведущей роли в сюжетах оперативного реализма, не отличались им и соседи (Боб Дилан давно съехал). Мой знаменитый преподаватель кинорежиссуры (афро-американская-кинозвезда-в-красной-бейсбольной-кепке), прочитав первые наброски сценария, пренебрежительно заявил:

— Красиво пишешь, парень, но где же кровь? Все тихо-мирно. А где мотор? Может, пусть в твоем клятом Саду летающая тарелка приземлится. Может, дом надо взорвать. Пусть хоть что-то бухнет. И погромче.

А я не знал как. Но потом появились Голдены, моя летающая тарелка, мой мотор, моя бомба. Я ощутил волнение юного художника, чей сюжет прибыл сам собой, словно подарок в рождественской посылке. И я был благодарен.

Наставал век нон-фикшн, говорил мне отец.

— Может быть, не старайся больше нитшево выдумывать. Спроси в любом книжном магазине, — говорил он мне, — книги из разделов нон-фикшн продаются быстро, а выдуманные

истории лежжат и лежжат.

Но то в мире книг. В фильмах же царила эпоха супергероев. По части нон-фикшн у нас были полемические заявления Майкла Мура, “Резчик Штайнер” Вернера Херцога, “Пина” Вима Вендерса и некоторые еще фильмы, но большие бабки крутились в фантастике. Мой отец хвалил мне идеи и труды Дзиги Вертова, советского документалиста, презиравшего литературщину и драму. Его стиль съемок, его “Кино-глаз”, был нацелен честолюбиво на эволюцию человечества к более высокой, свободной от вымысла форме жизни, “от ковыряющегося гражданина через поэзию машины к совершенному электрическому человеку”. Уитмен его одобрил бы. Возможно, Ишервуд-я-камера тоже. Но я противился. Я предоставлял более высокие формы своим родителям и Майклу Муру. Я хотел выдумывать мир.

Пузырь хрупок, и часто по вечерам мои профессора с тревогой обсуждали, не лопнет ли он. Их беспокоила политкорректность, они видели, как во время телешоу двадцатилетняя студентка орет на их коллегу, утыкаясь ей лицом почти в лицо — понимаете ли, у них разные точки зрения на журналистику в пределах университета. Другого коллегу в другом телешоу уделали за то, что он

не запретил костюм Покахонтас на Хэллоуин, третий коллега вынужден был отказаться по меньшей мере от одного семинара, потому что не оберег “внутреннюю безопасность” студентки от вторжения идей, которые эта студентка сочла слишком “тревожными” для своего юного разума; еще один коллега отверг петицию студентов, требовавших убрать из кампуса статую президента Джефферсона, разоблаченного рабовладельца; коллегу освежевали студенты из семей традиционных евангелических христиан, когда он предложил им прочесть роман-комикс известной художницы-лесбиянки; еще один коллега вынужден был отменить постановку “Монологов вагины” Ив Энгслер, потому что, определяя женщин как людей с вагинами, эта пьеса дискриминировала тех, кто определял себя как женщины, но не обладал вагинами; их коллеги отбивались от попыток студентов “ниспровергать” отпавших от ислама, поскольку их мнения были оскорбительны для тех, кто оставался в исламе. Родителям казалось, что молодежь становится склонна к цензуре, пытается что-то запрещать, ограничивать и сдерживать. Как это случилось, спрашивали они меня, отчего разум молодого американца так сузился, моло-

дежь начинает нас пугать.

— Не ты, разумеется, дорогой, как можно бояться тебя, — уточняла мама.

А папа возражал:

— Но боимся за тебя. С этой бородкой а-ля Троцкий, на которой ты почему-то настаиваешь, мне кажется, ты готовая мишшень для ледоруба. Не езди в Мехико-Сити и уж во всяком случае избегай района Койоакан[19], вот мой совет.

По вечерам они сидели каждый в своем круге желтого света, с книгой на коленях, погруженные в слова. Словно фигуры с картины Рембрандта, “Два философа в глубоком размышлении”, они представляли собой большую ценность, чем любое полотно, — наверное, они были представителями последнего такого поколения, а мы, последыши, пожалеем, что не научились большему, пока они были живы.

Как я тоскую по ним — словами не выразить.

---

[19] Примечания: 19
Лев Троцкий был убит ледорубом в районе Койоакан (1940).

5

Шло время. Я обзавелся подружкой, потерял ее, приобрел другую, с ней тоже расстался. Мой тайный киносценарий, самая требовательная моя любовь, возмущался такими попытками обзавестись отношениями на стороне, угрюмился, прятал от меня свои секреты. Возраст “под тридцать” надвигался стремительно, а я, словно полуобморочный герой с канала “Никлодеон”, беспомощно валялся на путях. (Мои начитанные родители, конечно, предпочли бы, чтобы я вместо этого образа сослался на кульминационную сцену в “Бесконечном путешествии” Форстера.) Сад составлял мой микрокосм, и каждый день создания моего воображения глядели на меня из окон домов по Макдугал и Салливан, их запавшие глаза молили, чтобы я дал им жизнь. У меня имелись обрывки всех сюжетов, но общая форма этого труда от меня ускользала. В доме №XX по Салливан, на первом этаже с выходом в Сад я разместил бирманского — правильнее, мьянманского — дипломата, У Лну Фну, представителя при ООН, сердце профессионала разбито поражением в самой долгой за всю историю

битве претендентов на пост генерального секретаря, двадцать девять раундов голосования не выявили победителя, а в тридцатом он проиграл сопернику из Южной Кореи. Через этого персонажа я планировал исследовать геополитику, наглядно показать, как некоторые авторитарные режимы давят на ООН, добиваясь закона об оскорблении религиозных чувств, вникнуть в противоречивый вопрос об американском вето в защиту Израиля и обеспечить появление в Саду Аун Сан Су Чжи собственной персоной. Я также знал историю личной катастрофы У Лну Фну: его жена умерла от рака, и я подозревал, что двойной удар может заставить его сойти с праведного пути и в конце концов он будет уничтожен финансовым скандалом. Когда мне пришла в голову эта мысль, человек с запавшими глазами, смотревший на меня из окна дома №XX по Салливан, разочарованно покачал головой и отступил в тень. Никто не желает быть плохим парнем.

Мое воображаемое сообщество было национально пестрым. В № 00 по Макдугал жил другой одиночка, аргентино-американец, которому я дал временное рабочее имя “мистер Аррибиста”, то есть “парвеню”. О нем, каким бы ни было в итоге его имя, Марио Флорида или Карлос Херлингем, я

составил для себя такой краткий сценарий:

Аррибиста, недавно получив гражданство, плюхается в великую страну — “его страну”, ликует он — как человек, прошедший к обетованному океану долгий путь по пустыне, бросается в волны, даже не умея плавать. Он верит, что вода удержит его на плаву, и он прав. Он не тонет, во всяком случае не тонет сразу.

И тут опять-таки требовалось развить сюжет.

Всю свою жизнь Аррибиста был квадратным колышком, который, обливаясь потом, протискивался в круглое отверстие. Что же наконец — он отыскал квадратную дырку, в которую квадратно уместился, или же долгое путешествие скруглило его? (Если верно второе, то путешествие было бессмысленным или, во всяком случае, под конец он мог бы прижиться там, откуда ушел. Он лично предпочитал образ квадратного отверстия, и перпендикулярная система улиц вроде бы соответствовала такой реальности.)

Возможно, из-за моих собственных провальных романов Аррибиста, как и джентльмен из ООН, был покинут своей возлюбленной.

Его жена также была вымыслом. Или много лет назад она превратилась из факта в фантазию, покинула его ради другого, более молодого

и красивого и во всех отношениях более совершенного, чем бедняга Аррибиста, который, он сам хорошо это знает, лишь посредственно укомплектован всем тем, что нравится женщинам — внешностью, умением поддержать разговор, внимательностью, теплом, честностью. *L'homme moyen*[20], хватающийся за неточные изношенные выражения вроде этого в попытке себя описать. Человек, кутающийся в старые знакомые слова, будто в твид. Человек без свойств. Нет, не так, поправляет себя Аррибиста. У него есть свойства, напоминает он себе. Во-первых, он склонен, когда теряется в потоке сознания, принижать себя, в этом смысле он к себе несправедлив. Вообще-то он вполне выдающийся человек, выдающийся по меркам своей новой страны, которая поощряет всех быть выдающимися и не норовит подрубать всех, кто головой выше других. Аррибиста — выдающийся, ведь ему удалось выделиться. Жизнь его хорошо сложилась, даже отлично. Он богат. Его история — история успеха, история весьма значительного успеха. Это американская история.

И так далее. Воображаемые сицилийские

---

[20] Примечания: 20
Обыкновенный человек (*франц.*).

аристократы в доме точно напротив Голденов — временно Вито и Бланка Тальябуэ, барон и баронесса Селинунтские — все еще оставались для меня загадкой, но я был влюблен в их генеалогию. Воображая, как они выходят по вечерам, всегда одеты по последней моде, отправляются на бал в музей Метрополитен, на премьеру фильма в “Зигфелд” или на новую выставку нового молодого художника в новехонькую галерею Вест-Сайда, я думал об отце Вито Бьяджо, который

> в жаркий день где-то на южном побережье Сицилии обходит широкие просторы семейного имения, под названием Кастельбьяджо. Мужчина в расцвете лет, покрытый легким загаром, придерживает за ствол лучший свой обрез, приклад покоится на правом плече. Широкополая шляпа, защищающая от солнца, старая бордовая куртка, поношенные бриджи цвета хаки и прогулочные ботинки, начищенные до полуденного блеска. У него есть все причины верить, что жизнь удалась. Война в Европе закончилась, Муссолини и его девку Клару Петаччи вздернули на мясницкий крюк, возвра-

щается естественный порядок. Барон оглядывает стройные ряды тяжелых от урожая лоз, словно маршал, принимающий парад, и быстро шагает сквозь леса и ручьи, вверх в гору и вниз в долину и снова в гору, направляясь на любимое место, небольшой выступающий высоко над его землями мыс, где барон может усесться, скрестив ноги, словно тибетский лама, и медитировать о красоте жизни, озирая поверх мерцающего моря дальний горизонт. Последний день его свободы – ибо мгновением позже он заметит браконьера с полным ягдташем на плече, без колебаний поднимет обрез и пристрелит насмерть нарушителя своих границ.

После этого выяснится, что погибший юнец состоял в родстве с доном местной мафии, и дон мафии потребует, чтобы Бьяджо заплатил за свое преступление жизнью, начнутся подстрекательства и протесты, делегации от политических властей и от церковных станут убеждать дона мафии, что убийство местного синьора будет, так сказать, событием чрезвычайно заметным, чрезвычайно трудно будет закрыть на него глаза, это

причинит дону мафии чересчур много неудобств, так что ради собственного спокойствия не лучше ли ему отказаться от этого требования. И в итоге дон смягчится:

> Мне известно все об этом бароне Бьяджо, о его, хмм, о его номере люкс в гранд-отеле “Дес Пальмес” в Палермо – какой номер? 202 или 204 или оба вместе? – он ездит туда проветриться и с женщинами поразвлечься, хмм? Это хорошо, это наше место, мы туда ездим по тем же причинам, так что если он сегодня же туда переберется и останется до конца своей гребаной жизни, мы не станем убивать маленького засранца, но стоит ему хоть одной ногой ступить за порог отеля, пусть помнит, что все коридоры полны там наших ребят и шлюхи тоже работают на нас, не успеет его нога коснуться земли на площади перед отелем, он будет мертв, окровавленная башка с пулей во лбу грохнется оземь прежде, чем успеет опуститься нога. Хмм? Хмм? Передайте ему.

В сценариях и заявках на сценарии, которые

я носил в голове, как Петер Кин в “Ослеплении” Канетти носил в голове целые библиотеки, “барон в сьюте” оставался пленником “Дес Пальмес” в Палермо до своего смертного часа еще сорок четыре года. Он устраивал вечеринки и спал со шлюхами, ему каждый день доставляли еду с семейной кухни и вино из подвала, его сын Вито был зачат там в один из нечастых визитов многострадальной супруги барона (однако рожден, как предпочла многострадальная супруга, в ее спальне в Кастельбьяджо), а когда барон умер, его гроб вынесли из парадной двери ногами вперед, в окружении почетной стражи, состоявшей главным образом из персонала отеля и нескольких шлюх. Вито, разочаровавшись в Палермо, в мафии и в собственном отце, в итоге обзавелся домом в Нью-Йорке и намеревался стать полной противоположностью отцу: всю жизнь хранить верность своей жене Бланке, однако ни одного вечера не проводить дома наедине с ней и детьми.

Боюсь, я безо всякой нужды создал у читателя жалкое впечатление о себе. Я бы не хотел, чтобы вы представляли меня лентяем и неудачником, бременем на шее у родителей, человеком, который и на второй половине третьего десятка не сумел найти себе реальную работу. На самом

деле я тогда, как и теперь, почти не выходил в город по вечерам, я вставал и встаю рано утром, хотя пожизненно обречен на бессонницу. Я также состоял (состою и поныне) в группе молодых киношников — мы вместе учились в высшей школе, — которая под руководством энергичной американки индийского происхождения, продюсера-сценариста-режиссера по имени Сучитра Рой, уже создала целый ряд музыкальных видео, интернет-контент для *Condenaste* и *Wired*, документальные фильмы, которые прошли по некоммерческому и по кабельному телевидению, и три хорошо принятых постановочных фильма, снятых за счет независимого финансирования (все три попали на "Сандэнс" и SXSW[21], и два из них выиграли приз зрительских симпатий). Мы убедили актеров первого ряда принять в них участие для масштаба: Джессику Честейн, Киану Ривза, Джеймса Франко, Оливию Уайлд. Я помещаю здесь это краткое резюме, чтобы читатель поверил: он попал в хорошие руки, в руки надежного, а не лишенного опыта рассказчика. Это важно, ведь мое повествование становится все более зловещим. Также я представляю здесь

[21] Примечания: 21

SXSW — *South by Southwest*, "Юго-юго-восток" — фестиваль музыки, фильмов и СМИ в Остине (Техас).

своих коллег, поскольку их постоянная критика моего профессионального проекта была и остается ценной для меня.

Все то долгое жаркое лето мы собирались на ланч в любимом итальянском ресторане на Шестой авеню, чуть ниже Бликер, усаживались за уличный столик, хорошенько намазавшись кремом от загара и накрывшись широкими шляпами, и я рассказывал Сучитре, чем занят, а она задавала трудные вопросы.

— Я понимаю, что этот “Нерон Голден” должен быть человеком-загадкой, это хорошо, я согласна, что это правильно, — сказала она однажды. — Но какой вопрос задает этот персонаж, на какой вопрос должна в итоге ответить эта история?

И я сразу же увидел ответ, хотя до той минуты даже самому себе в этом не признавался.

— Вот какой вопрос, — сказал я ей, — вопрос о природе зла.

— В таком случае, — сказала она, — рано или поздно, и чем раньше, тем лучше, маска начнет соскальзывать.

Голдены были моим сюжетом, но его могли украсть. Любители раскапывать грязь могли увести у меня то, что принадлежало мне по божественному праву я-был-тут-первым, по

скваттерскому праву захваченной мной территории. Это я дольше всех раскапывал тут грязь, чувствуя себя почти что А. Дж. Веберманом наших дней (Веберман, *soi-disant* “мусоролог” Виллиджа 1970-х, копался в отбросах Боба Дилана, чтобы таким образом выяснить тайный смысл его стихов и подробности личной жизни, и хотя я никогда не заходил так далеко, признаюсь, я подумывал наброситься на мусор Голденов, уподобившись коту в поисках рыбьих голов).

В такие времена мы живем — люди прячут свою правду, возможно, даже от самих себя, и живут во лжи, пока ложь непредсказуемым образом не разоблачит правду. И теперь, когда столько скрывается, когда мы живем на поверхности, среди самопрезентаций и самофальсификаций, тот, кто взыскует истину, должен ухватить заступ, разбить корку поверхности и увидеть текущую внутри кровь. Однако шпионить не так-то просто. Как только Голдены заселились в этом роскошном доме, старика охватил навязчивый страх сделаться жертвой шпионов или искателей истины. Он обратился к специалистам по безопасности, весь его дом прочесали на предмет подслушивающих устройств, к тому же, обсуждая семейные дела с сыновьями, он

переходил на их “секретные языки”, наречия древнего мира. Он был уверен, что все мы суем нос в его дела, и мы, конечно, совали — на манер невинных деревенских сплетников, следуя естественному инстинкту обычных людей у приходского колодца или у современного кулера, мы пытались встроить новые фрагменты в мозаику нашей жизни. Я был из всех самым пытливым, но Нерон с типичной для одержимого слепотой как раз этого-то и не видел, считая меня — о, как ошибочно — бездельником, который не сумел составить себе состояния и с которым по этой причине считаться нет необходимости, можно отмахнуться, стереть его из своего поля зрения. Это идеально соответствовало моим задачам.

Оставалась одна возможность, которая, должен признаться, не приходила в голову ни мне, ни кому-либо другому из нас, даже в наш напряженный параноидальный век. Поскольку они откровенно и в больших количествах поглощали алкоголь, не смущались в присутствии женщин с непокрытыми волосами и не соблюдали обрядов какой-либо из мировых религий, нам и в голову не приходило, что они могут оказаться… ой-ой-ой… мусульманами. Или, по меньшей мере, мусульманских корней. Это мои родители

доискались.

— В век информации, дорогой мой, — с заслуженной гордостью заявила мама, когда они проделали свою работу за компьютерами, — мусор каждого лежит у всех на виду, и тебе нужно лишь знать, как организовать поиск.

В нашей семье отношения поколений с интернетом перевернуты: безграмотным был я, в то время как мои родители супертехнично шарили в сети. Я не регистрировался в соцсетях и каждое утро покупал в киоске на углу бумажные “Тайм” и “Пост”. А мои родители с головой нырнули в ноутбуки, обзавелись аватарами “Второй жизни” прямо в ту минуту, как онлайн появился параллельный мир, и могли отыскать “е-голку в е-стоге сена”, каламбурила моя мама.

Это они сумели приоткрыть для меня прошлое Голденов, ту бомбейскую трагедию, что погнала отца и сыновей на другой конец света.

— Это было несложно, — объяснил отец мне, простачку. — Это ведь довольно заметные люди. Когда человек хорошо известен, обычно срабатывает поиск в лоб, по базе фотографий.

— Нам только и требовалось войти с парадного крыльца, — ухмыльнулась мама и протянула мне папку.

— Вот самые сливки, сынок, — добавила она, отлично подражая герою крутого детектива. — Душераздирающие подробности. Воняет хуже, чем носовой платок водопроводчика. Неудивительно, что они предпочли оставить все позади. Их мир раскололся на куски, словно Шалтай-Болтай, и его уже не собрать, так что они сорвались с места и приехали сюда, где таких людей-обломков двенадцать на дюжину. Я все добыла. Грустная история. Мы направим вам счет с расходами и будем рады, если вы не затянете с уплатой.

В тот год некоторые люди утверждали, что избранный президент — мусульманин, полилось дерьмо насчет подделки свидетельства о рождении, и мы тщательно избегали грубой ловушки предрассудков. Мы помнили имена Мохаммеда Али и Карима Абдул-Джаббара[22], а в те дни, когда самолеты врезались в небоскребы, мы давали зарок, все мы в Саду, не возлагать вину преступников на других, непричастных. Мы помнили тот страх, что побуждал таксистов украшать приборную доску небольшими флажками и помещать наклейку “Боже, благослови

[22] Примечания: 22

Карим Абдул-Джаббар (Фердинанд Альсиндор, род. 1947) — знаменитый баскетболист, воспитанный в католической вере, но, как и Мохаммед Али, принявший ислам как “религию чернокожих”.

Америку” на перегородку, отделяющую водителя от пассажиров, и нападения на сикхов в тюрбанах вызывали в нас стыд еще и за невежество наших сограждан. Мы видели молодых людей в футболках “Не вините меня, я индус” и не винили их и чувствовали неловкость оттого, что они видели необходимость ради безопасности оповещать о своей религии. Когда город успокоился и жизнь вошла в привычную колею, мы стали гордиться согражданами-ньюйоркцами, их здравомыслием, так что нет, мы и в этот раз не собирались истерить из-за одного слова. Мы читали книги о пророке и Талибане и так далее и не пытались утверждать, будто все поняли, но я вменил себе в обязанность выяснить побольше о городе, из которого приехали Голдены и который они не желали называть по имени. В том городе жители многие годы гордились межобщинной гармонией, многие индусы там не соблюдали вегетарианскую диету, и многие мусульмане ели свинину, это был просвещенный город, его элита была секулярной, вовсе не религиозной, на самом деле там индуистские экстремисты угнетали мусульман, значит, это меньшинство следовало поддержать, а не бояться его. Глядя на Голденов, я видел перед собой космополитов, а не ханжей,

и то же самое видели мои родители, так что мы этим вполне удовлетворились и оставили выясненные нами факты при себе. Голдены бежали от трагической террористической атаки, от тяжкой потери. Их надо гостеприимно приветствовать, а не бояться.

Но я не могу отрицать те слова, что вырвались у меня в ответ на провоцирующий вопрос Сучитры: “Это вопрос о природе зла”.

Я сам не знал, откуда это пришло или что означали мои слова, но я знал, что буду искать ответ на мой тинтинов, пуарошный, постбельгийский лад, и когда найду, то заполучу сюжет, который, как я решил, я и только я вправе рассказать.

6

Жил-был жестокий король, который вынудил троих сыновей покинуть родной дом и запер их в золотом доме, запечатал окна золотыми ставнями, загородил все выходы американскими золотыми слитками, и мешками с испанскими дублонами, и стеллажами с французскими луидорами, и корзинами с венецианскими дукатами. Но в конце концов его дети превратились в птиц, похожих на крылатых змей, и вылетели в дымоход на свободу. Однако на открытом воздухе они тут же обнаружили, что не могут больше лететь, и рухнули горестно наземь, лежали в канаве израненные, ошеломленные. Собралась толпа, не ведавшая, поклоняться ли павшим змеептицам или устрашиться их. Но вот полетел первый камень, а следом град камней прикончил всех троих оборотней, и король, оставшийся один в золотом доме, увидел, как все золото в его карманах, и все стеллажи, и мешки, и корзины полыхают все ярче и ярче и наконец вспыхнули огнем. Пламя охватило его со всех сторон, взметнулось высоко: “Измена сыновей погубила меня”, — сказал он. Но это не единственная версия этой истории. В дру-

гой сыновья не ускользнули из дома, а погибли в пожаре вместе с королем. В третьей они поубивали друг друга. В четвертой они убили своего отца, одновременно сделавшись отцеубийцами и цареубийцами. Вероятно также, что король был не так уж окончательно плох, возможно, у него наряду со многими отвратительными чертами были и некоторые благородные качества. В наш век злобно конкурирующих реальностей не так-то легко прийти к общему мнению о том, что происходит на самом деле или произошло: о том, *как обстоит дело,* уж не говоря о морали или смысле того или иного рассказа.

Человек, именовавший себя Нероном Голденом, скрывался прежде всего за мертвыми языками. Он свободно владел древнегреческим и латынью и заставил сыновей их выучить. Порой они использовали в разговоре наречие Рима или Афин словно повседневные языки, еще парочку среди мириад диалектов Нью-Йорка. Ранее, в Бомбее, он предложил сыновьям: “Выберите себя классические имена”, и по их выбору мы видим, что сыновья имели более мифологические и литературные устремления, чем отец с его императорской спесью. Они не пожелали быть царями, хотя младший, следует заметить,

облек себя божественным достоинством. Итак, они стали Петронием, Луцием Апулеем и Дионисом. После того как они сделали свой выбор, отец всегда именовал их только так. Мрачный, душевно травмированный Петроний в устах Нерона превращался то в Петро, то в Петрина, что звучало похоже на сорт бензина или текилы, но в итоге и навсегда он сделался Петей, перенесясь из Древнего Рима в миры Достоевского и Чехова. Второй сын, живой, светский, художник, городской гуляка, пожелал сам себе назначить и прозвище. “Зовите меня Апу”, настаивал он, не прислушиваясь к возражениям отца (“Мы же не бенгальцы!”) — он не отвечал на другие формы обращения, пока эта не прижилась. А младший, которого ждала самая странная судьба, стал просто “Д”.

К этим трем сыновьям Нерона Голдена мы обратим теперь свое повествование, упомянув лишь заранее, что все четверо Голденов, каждый в свое время, решительно утверждали, что их переезд в Нью-Йорк не был ни изгнанием, ни бегством — это свободный выбор. Что вполне может быть правдой применительно к сыновьям, но, как мы увидим, у отца были и другие причины, кроме личной трагедии и собственных потребностей.

Вполне вероятно, что он желал убраться подальше и стать недосягаемым для неких людей. Но терпение: я не стану раскрывать сразу все свои секреты.

Петя, эдакий денди, одевавшийся консервативно, однако всегда со вкусом, повесил над входом в свою комнату медную пластинку со словами своего тезки Гая Петрония, кого Плиний Старший, Таций и Плутарх называют *arbiter elegantiarum* или *elegantiae arbiter*, судьей стиля при дворе Нерона: “Оставь свой дом, юноша, и стремись к иным берегам. Пусть дальняя Дануба узнает тебя, холодный северный ветер, бестревожное царство Канопа и те люди, что видят нового Феба при рождении или на закате”. Странный выбор цитаты, ведь окружающий мир страшил его. Но человек склонен мечтать и в мечтах быть не таким, каков он есть.

Я видел их в Саду несколько раз в неделю. С одними членами семьи я сблизился больше, чем с другими, но познакомиться с человеком — совсем не то же, что оживить персонаж. К тому времени я уж подумывал просто записывать все подряд, как пойдет. Закрой глаза и проигрывай кино у себя в голове, открой глаза и все запиши. Но для начала нужно было, чтобы они перестали

быть моими соседями, живущими в Актуальном, и стали персонажами, живущими в Реальном. Я решил начать с того, с чего начинали они сами, с их классических имен. Чтобы подобраться к Петронию Голдену, я прочел “Сатирикон”, изучил Мениппову сатиру. “Лучше критиковать умственный настрой, нежели высмеивать отдельных людей”, записал я для себя. Я прочел то немногое, что осталось от сатировой драмы — “Циклопов” Еврипида, фрагменты “Тянущих невод” Эсхила и “Следопытов” Софокла, а также современную перелицовку Софокла Тони Харрисона, “Искатели Оксиринха”. Помог ли мне этот материал из античного мира? Да, постольку, поскольку направил мое внимание к бурлеску и балагану, прочь от высоколобой трагедии. Мне понравились танцующие в грубых башмаках сатиры Харрисона, и я сделал себе пометку: “Петя — плохой танцор, настолько нескоординированный, что людям он кажется забавным”. Тут тоже намечался вероятный сюжетный ход, поскольку и в “Тянущих невод”, и в “Следопытах” сатиры натыкаются на волшебных младенцев — в первой пьесе это Персей, во второй Гермес. “Оставить возможность ввести в сюжет сверхъестественно одаренных детей”, записал я в блокноте, а рядом: «??? Или

— НЕТ”. То есть пока я не пришел к ясности не только насчет сюжета и тайны, составлявшей его средоточие, но даже и насчет формы. Сыграет ли свою роль нечто сверхреальное, фантастическое? В тот момент я не был уверен. И классические источники не только помогали, но и сбивали с толку. Сатировы драмы, как общеизвестно, принадлежали к культу Диониса, они, по всей вероятности, начинались как сельские приношения этому божеству: пьянка, секс, музыка, танцы. Так на кого же в моей истории проливали свет сатировы драмы? Петя “был” Петронием, но Дионисом был его брат… в чьей истории вопрос пола, или, вернее, гендера (лучше обойтись без слова, которое так ненавидела его возлюбленная, удивительная Рийя), был ключевым. Я сделал себе пометку: “Персонажи братьев до некоторой степени пересекаются”.

Чтобы понять Апу, я перечитал “Золотого осла”, но в моей истории метаморфоза будет уделом другого брата (опять-таки персонажи братьев пересекаются). Но и тут у меня осталась ценная пометка: “Во времена Луция Апулея “золотым” называли рассказ, полный вымысла, безудержную фантазию, нечто с очевидностью далекое от истины. Волшебную сказку. Ложь”.

А что касается волшебного ребенка: вместо первоначальной “??? Или — НЕТ”, должен сказать, что ответ, без помощи Эсхила или Софокла, превратился в ДА. В истории будет младенец — волшебный или про́клятый? Читатель, решай сам.

Блистательная и прискорбная странность человека, именовавшегося Петей Голденом, стала очевидна для всех с первого же дня, когда в угасающем свете зимнего вечера он одиноко нахохлился на скамейке в Саду: крупный мужчина, увеличенная копия своего отца, большой и тяжеловесный, с отцовскими темными и внимательными глазами, словно вопрошавшими о чем-то горизонт. Он был в кремовом костюме, а сверху тяжелое твидовое пальто в елочку, перчатки и оранжевый шарф; рядом на скамье стояли изрядных размеров миксер для коктейля и банка оливок, в правой руке он держал стакан с мартини, и пока сидел так в монологическом уединении и его дыхание призрачно повисало в январском воздухе, он вдруг заговорил вслух, излагая всем и никому теорию, которую он приписывал кинорежиссеру-сюрреалисту Луису Бунюэлю: почему сухой мартини подобен непорочному зачатию Христа. Ему было примерно

сорок два года, и я, на семнадцать лет его младше, осторожно подбирался к нему по газону, готовый слушать, сразу же влюбленный — так железные опилки притягиваются к магниту, так мотылек летит на роковой огонь. Приближаясь, я видел в сумерках, как трое из местных детишек прервали игру, забросили качели и лазалки, чтобы внимательнее рассмотреть этого странного огромного человека, общающегося с самим собой. Они понятия не имели, о чем болтает свихнувшийся незнакомец, и все-таки наслаждались представлением. “Чтобы приготовить идеальный сухой мартини, — рассуждал он, — нужно взять стакан для мартини, бросить в него оливку и наполнить до краев джином или, по новой моде, водкой”. Дети захихикали от такой извращенной пьяной болтовни. “А затем, — продолжал он, протыкая воздух указательным пальцем левой руки, — нужно поставить бутылку с вермутом вплотную к стакану, так, чтобы единственный солнечный луч проходил сквозь бутылку и попадал в стакан с мартини. И — выпить мартини”. Он щедро отхлебнул из стакана. “Этот я приготовил заранее”, — пояснил он для просвещения детей, которые уже разбегались, восторженно и виновато смеясь.

Для детей из здешних домов Сад был укрытым и безопасным местом игр, они носились тут без присмотра. После этой лекции о мартини кто-то из мам по соседству обеспокоился насчет Пети, но причин для тревог не было: его порочная страсть была направлена не на детей, исключительно на выпивку. А его душевное состояние не представляло опасности ни для кого, кроме самого Пети, хотя он легко мог обидеть легкоранимых. При первой встрече с моей матерью он заявил: “Вы, наверное, были когда-то красивой молодой женщиной, но теперь вы старая и сморщенная”. Мы, Унтерлиндены, гуляли в утреннем Саду, когда Петя в своем твидовом пальто, шарфе и перчатках подошел познакомиться с моими родителями, и вот что он сказал. Первые же его слова после “здравствуйте”. Я ощетинился и открыл было рот, чтобы дать ему отпор, но мама коснулась ладонью моей руки и ласково покачала головой. “Да, — ответила она, — вижу, вы человек правдивый”.

“Аутистический спектр”. Я прежде не слыхал этого термина. Думаю, во многих отношениях я был чистым листом и все мои знания об аутизме сводились к “Человеку дождя” и другим подобным персонажу Дастина Хоффмана *idiots savants*,

как жестоко называли тех, кто наизусть знал простые числа вплоть до многозначных или рисовал по памяти неправдоподобно подробные карты Манхэттена. Петя, по словам моей мамы, занимал одну из верхних “полочек” в аутистическом спектре — либо это высокофункциональный аутизм, либо синдром Аспергера, что именно, она не знала. Ныне синдром Аспергера уже не рассматривается как отдельный диагноз, он включен в спектр по “шкале тяжести”. А тогда, всего несколько лет назад, большинство людей знало так же мало, как я, и людей с синдромом Аспергера зачастую попросту помещали в рубрику “сумасшедших”. Петя Голден, по всей видимости, и терзался, и сбивался, но ни в малейшей мере не был сумасшедшим, даже близок к этому состоянию не был. Это был замечательный, хрупкий, одаренный, неадекватный человек.

Он и физически был неуклюж, а волнуясь, становился неуклюж и в речи, запинался, заикался, ярился от собственной слабости. Он также обладал самой вместительной памятью, какую мне доводилось видеть. Стоило произнести имя поэта — Байрон, например, — и он двадцать минут подряд с закрытыми глазами декламировал “Дон-Жуана”:

Ищу героя! Нынче что ни год
Являются герои, как ни странно.
Им пресса щедро славу воздает,
Но эта лесть, увы, непостоянна,
Сезон прошел – герой уже не тот[23].

В поисках героизма, рассказывал Петя, он попытался сделаться коммунистом-революционером в университете (в Кембридже, откуда он, по своей болезни, ушел без степени бакалавра архитектуры), но, признавался он, не приложил достаточных усилий, чтобы стать настоящим, да и богатство помешало. К тому же синдром едва ли способствовал организованности и дисциплине, так что Петю не признали ценным кадром, и в целом ему нравилось не бунтовать, а спорить. Ничто не доставляло ему большего удовольствия, чем возражать любому, кто высказывал свое мнение, раскатывать оппонента, пустив в ход неисчерпаемые запасы тайных и подробнейших знаний. Он бы и с королем спорил за корону, и с воробьем за крошку хлеба. И пил он чересчур много. Когда я как-то утром присел рядом с ним в Саду, чтобы выпить на пару — он накачивался

---

[23] Примечания: 23
Перевод Т. Гнедич.

с самого завтрака, — мне пришлось выливать спиртное под куст, когда Петя на миг отвлекался. Невозможно было держаться с ним наравне. Но хотя он поглощал водку в промышленных масштабах, это вроде бы никак не сказывалось на его неправильно подключенных и все же изумительных мозгах. В своей комнате на верхнем этаже дома Голденов Петя купался в синем свете, окруженный компьютерами, и только эти электронные мозги казались ему равными, его настоящими друзьями, словно мир игр, куда он входил сквозь мониторы, и был реальным его миром, а наш мир — виртуальной реальностью.

Люди — создания, с которыми ему приходилось как-то мириться, но Петя никогда не чувствовал себя уютно рядом с ними.

Труднее всего ему было — в те первые месяцы, пока мы сами не нашли ответы, и тогда я ему сказал об этом, думая этим успокоить, но вовсе не успокоил — удержаться и не разболтать семейные тайны, подлинные имена, происхождение, историю смерти его матери. Стоило задать прямой вопрос, и он отвечал как есть, потому что устройство мозга не позволяло ему солгать. Но из лояльности отцовским пожеланиям он ухитрился отыскать лазейку, научился уклончивым

оборотам. “Я не стану отвечать на этот вопрос” или “может быть, вам следовало бы спросить кого-то другого” — эти фразы его натура допускала как истинные, и потому он мог себе позволить их произнести. Но порой он скатывался опасно к самому краю предательства. “Что до моей семьи, — сказал он однажды, ни с того ни с сего, по своему обыкновению (его речь состояла из потока случайных бомб, падавших с неведомых небес его мыслей), — вспомните то непрерывное безумие, что творилось во дворце во времена двенадцати Цезарей: инцесты, матереубийства, отравления, эпилепсия, мертвые младенцы, мерзость зла, и, разумеется, коня Калигулы не забудем. Сумасшедший дом, друг мой, но когда обычный римлянин поднимал глаза на дворец, что он видел? — усиленная драматическая пауза и затем: — Он видел дворец, дорогой мой мальчик. Он видел чертов дворец, неподвижный, неизменный — вот он. Внутри власть имущие трахали своих теть и отрезали друг другу пенисы. Снаружи было очевидно, что структура управления остается неизменной. Мы такие, папа Нерон и мои братья. Внутри, в семье, творится

ад, я это сам признаю. Помните Эдмунда Лича[24], его Ритовскую лекцию на Би-би-си: «Семья с ее тесной приватностью и мишурными секретами — источник любого нашего недовольства». До чертиков верно в нашем случае, старина. Но перед римлянином с улицы мы смыкаем ряды. Мы строим чертову черепаху, и вперед марш".

Что бы ни пришлось нам узнать о Нероне Голдене — а пока я закончу, узнать придется многое, и по большей части устрашающее, — не было никакого сомнения в его преданности первенцу. Очевидно, в некотором смысле Петя навсегда оставался отчасти ребенком, непредсказуемо проваливающимся в нелепые несчастья. Как будто мало было синдрома Аспергера, к тому времени, как он появился среди нас, агорафобия тоже достигла серьезной стадии. Общий Сад, как ни странно, его нисколько не пугал. Закрытый со всех четырех сторон от города, Сад каким-то образом в треснувшем зеркале его разума представал как "внутреннее пространство". Однако на улицы Петя редко отваживался выходить. Потом однажды он вздумал дать бой собственным ментальным ветряным мельницам. Бросил

---

[24] Примечания: 24

Эдмунд Лич (1910–1989) — английский социальный антрополог, уточнил терминологию родства.

вызов страху перед неогороженным миром, пожелал одолеть своих демонов и без всякой цели спустился в подземку. Домашние запаниковали, обнаружив его отсутствие, а спустя несколько часов им позвонили из полицейского участка Кони-Айленда: испугавшись, как только поезд вошел в туннель, Петя устроил в вагоне шум и беспорядок, а когда на ближайшей станции вошел полицейский, Петя обругал его, назвал большевистским аппаратчиком, политкомиссаром, агентом тайного государства — и в итоге Петю заковали в наручники. Лишь появление Нерона в длинном и суровом лимузине спасло ситуацию. Он объяснил, какие у сына проблемы, и, как ни странно, его выслушали уважительно и отпустили задержанного под опеку отца. Позднее случалось и многое другое, похуже. Однако Нерон Голден ни разу не дрогнул, он постоянно искал новейшие медицинские средства, все самое лучшее для первородного сына. Когда будут подводиться итоги, на чаше весов это будет существенной его заслугой.

Что такое героизм в наше время? И что есть злодейство? Как много мы забыли, если утратили ответ на такие вопросы. Облако неведения нас окутало, и в тумане странный, сломанный дух

Пети вспыхивал судорожно, как вышедший из строя маяк. Какое влияние он мог бы оказать на мир! Ведь он рожден был гением, но программа дала сбой. Блистательный оратор, что есть, то есть, но его можно сравнить с кабельной приставкой, где сами собой то и дело без предупреждения переключаются каналы ток-шоу. Порой он бывал весел до исступления, однако недуг причинял ему глубокое страдание, он стыдился неспособности правильно функционировать, неумения излечиться, стыдился того, что нуждается в помощи отца и плеяды специалистов, которые удерживали его на плаву и восстанавливали после очередной поломки.

Огромное страдание, и он благородно терпел. Мне вспоминался Раскольников: “Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть”.

Однажды летним вечером в первый год Голденов среди нас они устроили блистательный праздник, выплеснувшийся из их особняка на общие лужайки. Были задействованы лучшие пиарщики и специалисты по планированию вечеринок, так что явилась изрядная пропорция

“всего города”, всякой твари по паре от наглолицего зверинца, а также позвали нас, соседей, и в ту ночь Петя разошелся вовсю, глаза его сияли, он журчал неутомимо, как ручей. Я следил, как он кружит в своем костюме с Сэвил-роу среди и вокруг старлеток и певиц, драматургесс и шлюх и денежных мешков, обсуждавших азиатский финансовый кризис — на них он произвел впечатление умелым использованием таких выражений, как “том ям гун”, тайский термин, означающий кризис, способностью обсуждать участь экзотических валют, падение бата, девальвацию юаня, и наличием особого мнения о том, повлиял ли финансист Джордж Сорос на коллапс малазийской экономики короткой продажей рингтита. Вероятно, лишь я один — или только его отец и я — разглядели за этим спектаклем отчаяние: отчаяние ума, неспособного к самообузданию и оттого нисходящего в карнавальность. Ума, запертого в самом себе, отбывающего пожизненный срок.

В ту ночь он безостановочно болтал и пил, и все мы, кто собрался там, навеки сохраним в памяти обрывки его речи. Какая безумная, какая невероятная речь! Неисчерпаемы были сюжеты, которые он затрагивал и выбивал, как боксерскую грушу: британское королевское семейство,

в особенности сексуальная жизнь принцессы Маргарет, превратившей некий карибский остров в свой будуар, и принца Чарльза, мечтавшего стать тампоном своей любовницы; философия Спинозы (ее он одобрял); лирика Боба Дилана (он целиком отхватил наизусть “Грустноглазую леди” так почтительно, словно это было продолжение *La Belle Dame sans Merci*[25]); матч Спасский — Фишер (Фишер умер годом ранее); исламский радикализм (он был его противником) и розовый либерализм (который идет на компромисс с исламом, сказал Петя, а потому он был его противником); Папа Римский (он титуловал его экс-Бенедиктом); романы Честертона (любимый — “Человек, который был Четвергом”); отвратительность волосатой мужской груди; “несправедливость”, учиненная по отношению к Плутону, только что низведенному до статуса карликовой планеты, после того как в поясе Койпера обнаружилось более крупное небесное тело — Эрида; изъяны теории черных дыр у Хокинга; слабость устаревшей американской коллегии выборщиков; глупость студентов колледжей (не путать с коллегией выборщиков); сексуальная

[25] Примечания: 25

Прекрасной безжалостной дамы (*франц*). *С*тихотворение Джона Китса (1819).

привлекательность Маргарет Тэтчер; и “двадцать пять процентов американцев” — склоняющихся к крайне правым — которые “диагностически сумасшедшие”.

Но было и другое: он обожал “Летающий цирк Монти Пайтона”. И растерялся, споткнулся, не мог подобрать слов, потому что один из гостей вечера, представитель известного бродвейского семейства театровладельцев, привел с собой в качестве пары Эрика Айдла из “Пайтона”, который в ту пору вновь стал знаменитостью благодаря успеху “Спамалота” на Бродвее, и явился как раз в тот момент, когда Петя обрушил на безмятежно элегантную скульпторшу Убу Туур (о ней нам вот-вот предстоит рассказать намного подробнее) подробный отчет о своей ненависти к мюзиклам как к жанру: исключение допускалось лишь для “Оклахомы!” и “Вестсайдской истории”, и он пустился изображать перед нами излюбленные отрывки из “Не могу ответить отказом” и “Ах, сержант Крапке”, приговаривая, что “все прочие мюзиклы дерьмо”. Тут он увидел поблизости внимательно слушающего пайтона, отчаянно покраснел и в последний момент спас положение, включив в число благословенных мюзикл мистера Айдла и заставив всю компанию жизне-

радостно исполнить “Всегда смотри на светлую сторону жизни”.

Однако он оказался опасно близок к провалу, и это испортило ему настроение. Петя смахнул пот со лба, ринулся в дом и там пропал. Он не вернулся к гостям, и далеко за полночь, когда почти все разошлись и лишь немногие из местных еще наслаждались теплым ночным воздухом, окно Петиной комнаты на верхнем этаже Золотого дома распахнулось, огромная мужская фигура выбралась на подоконник, пьяно покачиваясь — в длинном черном пальто он смахивал на русского студента-революционера. В этом возбужденном состоянии он уселся на карниз, свесив ноги наружу, и принялся вопиять к небесам: “Я здесь один! Я здесь по своей вине! Никто не виноват, что я здесь! Я здесь совсем один!”

Все замерло. Мы, в Саду, стояли, словно парализованные, глядя вверх. Его братья, бывшие с нами в Саду, так же не могли пошевелиться, как и мы. Но отец, Нерон Голден, тихо вошел в дом, подобрался к сыну сзади и, обхватив его руками, рухнул спиной вперед в комнату вместе с ним. А потом Нерон подошел к окну и прежде, чем его закрыть, махнул нам всем рукой, яростно разгоняя зевак:

— Нечего тут глазеть! Леди и джентльмены, вы тут ничего интересного не увидите. Доброй ночи.

Некоторое время после этой почти попытки самоубийства Петя Голден не находил в себе сил выйти из зашторенной комнаты, подсвеченной дюжиной мониторов и множеством лампочек бледно-синего цвета — он пребывал там сутки напролет, почти не спал, с головой уйдя в свои электронные мистерии, в том числе играя в шахматы с анонимными противниками из Кореи и Японии и, как мы впоследствии обнаружили, впихивая в себя экспресс-курс по истории и развитию видеоигр: он разобрался с программами военных игрищ сороковых годов, использовавшимися в ранних цифровых компьютерах, “Колоссе” и “ЭНИАКе”, пренебрежительно перебрал “Теннис для двоих”, “Войны в космосе” и первые версии аркад, прожил век “Охоты на вампуса” и “Подземелий и драконов”, пронесся мимо пошлости “Пакмана” и “Донки Конга”, “Стритфайтеров” и “Мортал комбат” — далее сквозь “СимСити”, “Воркрафт” и более изощренные субъективности “Кредо ассасина” и “Ред Дед Редемпшен” и добрался до таких уровней сложности, о которых никто из нас и догадываться

не мог. Он следил за вульгарными фрикциями телевизионных реалити-шоу, питался гренками с сыром “Дабл Глостер”, которые сам жарил на маленькой электроплитке, и все это время погибал от глубочайшего отвращения к себе, от непосильной ноши на плечах. Постепенно его внутренний климат изменился, и ненависть к себе обратилась в ненависть ко всему миру, в особенности к отцу, самому наглядному воплощению авторитета и власти. Однажды ночью в то лето бессонница, мой постоянный спутник, выгнала меня из постели примерно в три часа ночи. Я накинул кое-какую одежду и побрел в общий Сад подышать теплым ночным воздухом. Все дома спали — все, за исключением одного: в резиденции Голденов светилось одинокое окно на втором этаже, в той комнате, что Нерон Голден использовал под кабинет. Старика я снизу не видел, но сразу распознал силуэт Пети, широкие плечи, плоскую прическу. Поразила меня крайняя возбужденность этой обозначенной силуэтом фигуры — руки машут, вес перемещается с ноги на ногу. Петя слегка повернулся, и теперь, увидев его почти в профиль, я понял, что он яростно орет.

Слышать я ничего не слышал. Окна кабинета

были звуконепроницаемы. Некоторые из нас подозревали, что они сделаны из пуленепробиваемого стекла толщиной в дюйм, и зрелище беззвучно орущего Пети подкрепляло такую гипотезу. Почему Нерону требовались пуленепробиваемые окна? Ответ очевиден: богатые жители Нью-Йорка прибегали к причудливым способам самозащиты. В моей университетской семье было принято реагировать любознательно и чуть насмешливо, когда мы сталкивались с эксцентричностью соседей: то художник регулярно выходит на люди в шелковой пижаме, то владелица журнала не снимает темных очков даже вечером. Так что пуленепробиваемое стекло — ничего особенного. И эта немая пантомима лишь подчеркивала накал истерического исступления Пети Голдена. Я восхищаюсь немецким экспрессионистским кино, и в особенности творчеством Фрица Ланга, и слова “доктор Мабузе” сами собой всплыли в моем мозгу. В тот момент я отмахнулся от этой подсказки, потому что меня больше интересовала другая мысль: может быть, Петя и вправду сходит с ума, не метафорически, буквально. Может быть, за аутизмом и агорафобией скрывается более серьезный диагноз, безумие. Я решил повнимательнее к нему присмотреться.

Из-за чего вспыхнул конфликт? Этого я узнать не мог, но мне казалось, так выплескивается неистовая жалоба Пети на саму жизнь, которая столь несправедливо с ним обошлась. На следующий день я видел старика, сидевшего в раздумье на скамье Сада, он был неподвижен словно камень, неприступен, лицо омрачено. Много лет спустя, когда все уже стало известно, я вспомнил, как в ту летнюю ночь в Саду под освещенным и немым окном Нерона Голдена мне пришел на ум великий фильм Ланга “Доктор Мабузе, игрок”. Фильм, разумеется, о жизни великого преступника.

Ни намека на драматические события, случившиеся во время вечеринки Голденов, не просочилось в газеты (или на сайты сплетен или в какие иные цифровые распространители слухов, порожденные новыми технологиями). Несмотря на высокий процент знаменитостей в списке приглашенных, несмотря на большое количество обслуги, среди которой кто-то мог бы соблазниться легкими деньгами за телефонный звонок, обет молчания, который соблюдали Голдены, словно бы распространялся и на тех, кто к ним приближался, так что даже шепоток о скандале не вырвался за пределы этого мощного, чуть

ли не сицилийского магнитного поля омерты. Нерон нанял самых могущественных из городского племени пиарщиков, и главной их задачей было не усилить, но подавить публичность — в итоге все, что происходило в доме Голденов, как правило, в доме Голденов и оставалось.

Ныне я думаю, что в глубине души Нерон Голден понимал, что его образ ньюйоркца без прошлого недолговечен. Думаю, Нерон знал, что в конце концов прошлое не удастся отменить, что оно явится за ним и возьмет свое. Думаю, он пустил в ход свою огромную способность к блефу, чтобы отсрочить неизбежное. “Я рациональный человек, — известил он своих гостей в тот вечер, когда Петю постиг кризис. (Он питал склонность к самохвальным речам.) — Деловой человек. Если позволено будет сказать, в бизнесе я великий человек. Уж не сомневайтесь. Никто не разбирается в бизнесе лучше меня, смею вас уверить. И на мой вкус Америка чересчур озабочена Богом, чересчур окутана суевериями, но сам я не таков. Все такие штучки препятствуют коммерции. А для меня — дважды два четыре. Все прочее — абракадабра и фокус-покус. Дважды четыре — восемь. Если Америка хочет быть тем, чем Америка способна быть, чем она мечтает

быть, пусть отвернется от Бога — к доллару. Бизнес Америки — заниматься бизнесом. Вот во что я верю". Таково было его дерзновенное и многократно провозглашаемое кредо прагматического капиталиста, и это, кстати, убедило меня в том, что мы, Унтерлиндены, правильно угадали его нерелигиозность, но при этом старик и все они оставались под властью великой иллюзии: будто бы стоит человеку принять решение и стать другим, и его не станут судить за то, кем он был прежде, и за то, что он делал раньше. Они хотели избавиться от исторической ответственности и быть свободными. Но история — тот суд, перед которым в итоге предстанут все люди, даже императоры и принцы. Мне вспомнилась фраза Лонгфелло, позаимствованная у римлянина Секста Эмпирика: "Мельницы Господни мелют медленно, зато очень мелко".

7

Луций Апулей Голден, он же Апу, второй из псевдонимных мальчиков Голденов — хотя ему был сорок один год, почему-то слово “мальчик” казалось уместнее для него, чем “мужчина”, — был всего на год младше Пети, их дни рождения отстояли меньше чем на двенадцать месяцев, и знак гороскопа (Близнецы) совпадал. Он был красив, ребячлив, с нахальной козлиной усмешкой, торжествующий смешок неотразимо сочетался с маской постоянной меланхолии и разнообразным жалобным монологом, в котором он перечислял все свои неудачи с молодыми женщинами, зажатыми возле туалета в том или ином горячем местечке, далеко за полночь (так он маскировал куда более внушительный список успехов подобного рода). Волосы он брил налысо — уступка разрастающейся плеши — и заворачивался в объемистые шали из пашмины, а со старшим братом давно уже не ладил. Оба они заявляли мне (каждый в отдельном разговоре), что в детстве были близки, но с возрастом отдалились друг от друга, ибо их характеры оказались несовместимы. Апу, любитель бродить по городу,

исследовать все, что город мог ему предложить, к “проблемам” Пети относился без сочувствия. “Мой братец — идиот, — говаривал он мне, когда мы порой отправлялись выпить вместе. — Он всего боится, трусишка”. К этому Апу добавил однажды: “Пусть остережется. Наш отец презирает слабаков и не подпускает их к себе. Стоит ему определить тебя в слабаки, и с тобой покончено. Ты на хрен труп”. И тут, словно услышав со стороны, что он произнес, услышав, как треснула броня, он откинулся на спинку стула и поспешил исправить сказанное: “Не обращай внимания. Я слишком много выпил, и вообще, у нас просто манера такая выражаться. Мы часто всякую чушь несем. Это ничего не значит”.

Мне казалось, в нем говорит ревность. Нерон Голден, как все мы видели, заботливо пекся о своем душевно поврежденном первенце. Вероятно, Апу не получал от патриарха того внимания, о каком вполне откровенно мечтал. (Я часто удивлялся, зачем все четверо Голденов остаются жить под одной крышей, особенно когда стало ясно, что они плоховато уживаются, но когда я собирался с духом и задавал этот вопрос Апу, я получал загадочные аллегорические ответы, больше похожие на сюжет “Тысячи и одной но-

чи” или “Алмаза величиной с отель «Риц»”, чем на то, что можно было бы принять за правду. “Наш отец, — отвечал он, к примеру, — знает, где скрыта пещера с сокровищами, та, что откликается на приказ «Сезам, откройся». Вот мы и живем с ним, пытаемся найти карту”. Или: “Наш дом буквально стоит на фундаменте из чистого золота. Всякий раз, когда нам нужно за что-то платить, мы попросту спускаемся в погреб и отскабливаем себе немножко”. И в самом деле, дом словно обладал над ними всеми какой-то властью — дом в генеалогическом смысле или в буквальном, трудно разделить. Из-за чего-то, что гуще воды, Голдены цеплялись друг за друга, даже если отношения со временем ухудшались и превращались в откровенную враждебность. Цезари в своем дворце, вся их жизнь великая игра, они исполняли свой танец смерти).

Любовь Апу к Америке была всеядной. Я напоминал себе, что он и Петя, конечно же, бывали здесь раньше, совсем юными, жили с родителями в бродвейском лофте во время университетских каникул и, скорее всего, слыхом не слыхали про дом бенами в нескольких кварталах оттуда, который их отец готовил для отдаленного в ту пору будущего. Вот уж, должно быть, Апу преуспевал

сексуально в тогдашнем более молодом, яром городе! Неудивительно, что он счастлив был вернуться.

Вскоре после приезда он попросил меня рассказать о той ночи, когда Барак Обама был избран президентом. Ту ночь я проводил в мидтауновском спортбаре, где известный дуайен Верхнего Ист-Сайдского сообщества, республиканец, вел вечеринку вместе с явно даунтауновским демократом, кинорежиссером. В 11 вечера, когда подсчитали результаты голосования в Калифорнии, протолкнувшие Обаму за финишную черту, зал взорвался эмоциями, и я почувствовал: я, как и все тут, не мог прежде поверить, что то, что здесь происходило, действительно произойдет, хотя уже за два часа до того цифры явно предвещали победу Обамы. Опасения, как бы вновь не подтасовали выборы, вот что было у нас на уме, и когда большинство сделалось столь определенным, к восторгу примешивалось облегчение: теперь уж не украдут победу, заверял я себя, а по лицу текли слезы. Завершив рассказ, я посмотрел на Апу и увидел, что он тоже плачет.

После этого великого момента в спортбаре, продолжал я рассказывать, я полночи шлялся по улицам, вплоть до Рокфеллеровского центра и

Юнион-сквер, наблюдал толпы молодых людей, таких же, как я, сиявших в уверенности, что — вероятно, впервые в истории — они собственным прямым действием изменили путь своей страны. Я упивался оптимизмом, изливавшимся на нас со всех сторон, и, как подобает желчному многознайке, уже сказал себе: “Разумеется, теперь он нас разочарует”. Тут нечем гордиться, признал я, но именно эти слова пришли на ум.

— Ты смолоду такой разочарованный, а я до сих пор мечтатель, — откликнулся Апу, все еще плача. — А ведь с моей семьей произошли ужасные вещи. А с тобой и твоими ничего страшного не было.

Благодаря моим родителям я к тому времени знал кое-что об “ужасных вещах”, на которые намекал Апу, но меня удивили его слезы. Неужели этот человек, недавно перебравшийся в Америку, успел так вложиться в новую свою страну, что плачет из-за результатов выборов? Или связь с этой страной установилась у него еще в юности и теперь он переживал возрождение давно утраченной любви? Сентиментальные слезы или крокодильи? Я отмахнулся от этого вопроса и подумал: когда сблизишься с ним и узнаешь получше, тогда и получишь ответ. Итак,

я сделал еще один шаг к тому, чтобы превратиться в шпиона-любителя: к тому времени мне стало совершенно ясно, что за этими людьми стоит пошпионить. А про меня он высказался не совсем точно на тот момент, ведь я, в целом, тоже был захвачен первоначальным энтузиазмом обамовского президентства, но слова Апу оказались вещими, поскольку с годами отчуждение от системы нарастало во мне, и восемь лет спустя, когда люди моложе меня (по большей части юные, белые, с университетским образованием) выразили желание порвать эту систему в клочья и выбросить на помойку, я не примкнул к ним, потому что такого рода мощные жесты казались выражением той же дурной роскоши, которую провозвестники этой идеи якобы ненавидели, и когда эти жесты были воплощены в жизнь, они с неизбежностью привели к чему-то худшему, чем то, что удалось ниспровергнуть. Но я понимал этих людей, разделял их отчуждение и гнев, потому что во многом и сам то же чувствовал, только из меня эти чувства сформировали иной тип, более осторожного градуалиста — в глазах нового, следующего за моим поколения это была довольно-таки презренная точка (политического) спектра.

У Апу имелась мистическая жилка, любые духовные явления притягивали его, но, как я уже говорил, по большей части он скрывал от нас эту свою страсть, хотя никаких причин для скрытности не было, поскольку ньюйоркцы точно так же увлекались самыми причудливыми системами веры. Он отыскал в Гринпойнте ведьму, *mae-de-santo*[26], и на ее захламленной *terreiro*[27] поклонялся, следуя ее указаниям, ее любимцу Орише (одному из низших божеств) и, конечно же, Верховному творцу Олудумаре. Но он и ей изменял, хотя она наставляла его в колдовстве, — он с равным энтузиазмом ходил к каббалисту с Канал-стрит — к Иделю, адепту запретной Практической Каббалы, которая средствами белой магии стремится воздействовать на сферу божественного и внести в нее изменения, а также преобразить мир. Со страстью он входил — приглашенный друзьями, которых его страсть заражала — в мир буддистского иудаизма и медитировал вместе с растущим сообществом “бувреев”, классических композиторов, кино-

[26] Примечания: 26

Буквально “Мать святого” (*португал.*), жрица афро-бразильской религии.

[27] Примечания: 27

Веранда, задний двор (*португал*).

звезд, йогов. Он практиковал майсорскую йогу, сделался мастером таро, изучал нумерологию и старинные книги, исследовавшие черные искусства и дававшие наставления, как строить пентакли и магические круги, внутри которых колдун-дилетант оставался в безопасности, пока твердил свои заклинания.

Скоро выяснилось также, что он — исключительно одаренный художник, чье техническое совершенство не уступало Дали (а использовалось лучше). Портретист эпохи концептуализма, он рисовал вокруг мужских и женских фигур, чаще всего обнаженных, или помещал внутрь них, или использовал как раму символы своих тайных штудий: цветы, глаза, мечи, чаши, солнца, звезды, пентаграммы, мужские и женские половые органы. Очень быстро он обзавелся студией поблизости от Юнион-сквер и выполнял яркие портреты “всего” Нью-Йорка, светских дам (по большей части дам, но и некоторых выдающихся молодых людей также), которые были счастливы раздеться для него и быть вписанными в изобильный мир высокодуховных смыслов, оказаться среди тюльпанов или плыть по райским и адским рекам, а затем вернуться в храм Мамоны, где они обитали. Великолепная

техника помогла ему приобрести легкий и стремительный стиль, то есть обычно он начинал и завершал портрет в один и тот же день, чем еще более радовал торопливую толпу клиентов. Первая его самостоятельная выставка прошла в 2010 году под покровительством Фонда Брюса Хай Кволити во временно организованной галерее в Челси. Название он позаимствовал у Ницше: “Привилегия владеть собой”. Он становился знаменитым или, как сам говорил со своего рода комико-цинической скромностью, “знаменитым на двадцать кварталов”.

Америка изменила обоих, и Петю, и Апу — Америка, это раздвоенное существо, поляризовала их, как сама она поляризована, войны Америки, и внешние, и внутренние, сделались их войнами, но вначале, если Петя прибыл в Нью-Йорк сильно пьющим эрудитом, который боялся мира и ощущал жизнь как постоянное преодоление, то Апу явился трезвым романтическим художником и активно-сексуальным жителем столицы, флиртовавшим со всякими иллюзиями, но сохранявшим ясность зрения, и она позволяла ему, как свидетельствовали его портреты, видеть людей в их реальности: паника в глазах увядающей вдовы, невежество и уязвимость в позе чемпиона по

боксу, оставшегося без перчаток, отвага балерины, чьи балетки заливает кровь, словно она, как сводная сестра Золушки, отрубила себе пальцы, пытаясь втиснуть стопу в стеклянную туфельку. Его портреты чуждались лести, они бывали очень жестокими. И все равно клиенты спешили к нему с крупными чеками в руках. Быть нарисованным Апу Голденом, быть прибитым к его холсту — это стало желанным и ценным. Вошло в моду. И в то же время за пределами своей студии он жадно носился по городу, обнимал его весь, словно юный Уитмен, и метро, и клубы, и электростанции, и тюрьмы, субкультуры, катастрофы, пылающие кометы, игроков, умирающие заводы, танцовщиц. Он был антиподом своего брата, ненасытный агорафил, его стали воспринимать как волшебное существо, проникшее в реальный мир из сказки, только никто не мог в точности решить, благие на нем чары или губительные.

Одевался он гораздо ярче старшего брата и часто менял свой облик. Он пользовался контактными линзами многих оттенков, иногда вставлял одновременно две разные, и до самого конца я не знал, каков естественный цвет его глаз. В одежде он сочетал моды всей нашей планеты. Повинуясь капризу, он отказывался от шали из

пашмины и надевал арабскую дишдашу, африканский дашики, южноиндийскую вешти, яркие рубашки латиноамериканцев, а порой, впадая в Петину угрюмость, застегивался в шитый на заказ твидовый английский костюм с жилетом. Его видали на Шестой авеню в юбке-макси или в килте. Переменчивость Апу побуждала многих из нас задаваться вопросом о его ориентации, но, насколько мне известно, он оставался традиционно гетеросексуален, хотя, по правде говоря, он был своего рода гением компартментализации, он ухитрялся держать различные группы друзей в запечатанных отсеках, и люди из одного отсека даже не догадывались о существовании других, а потому он вполне мог вести еще одну тайную жизнь за ширмой гетеросексуальности, мог даже распутствовать втайне, однако мне это представляется маловероятным. Как мы убедимся, гендерная идентичность терзала вовсе не этого из братьев Голден. Конечно, в своих мистических изысканиях он свел немало странных, оккультных знакомств, которые не желал обсуждать. Но теперь, когда все известно, я начинаю реконструировать и ту жизнь, что он хранил в тайне.

Нас объединяло пристрастие к одним и тем же фильмам, вторую половину выходного дня мы

охотно проводили вместе в “Центре IFC” или в “Фильм-форуме”, смотрели “Токийскую повесть”, или “Черного Орфея”, или “Скромное обаяние буржуазии”. Из-за любви к кино он и сократил свое имя в честь бессмертного Апу, сыгранного Сатьяджитом Раем. Отец, как он признавался мне, возражал: “Он говорил, что мы римляне, а не бенгальцы. Но пусть это его волнует, а не меня”.

Нерон Голден посмеивался над нашими походами в кино. Когда я приходил за Апу, Нерон частенько дожидался в маленьком дворике, выходившим в общий Сад, и тогда, обернувшись лицом к дому, он орал:

— Апулей! Пришла твоя подружка!

И напоследок замечание о его имени: он с восхищением отзывался об авторе, написавшем во II веке “Золотого осла”: “Этот парень унаследовал миллион сестерциев от отца, разбогатевшего в Алжире, и все-таки написал шедевр”. А также об имени своего старшего брата и о своем: “Если Петя — сатир из “Сатирикона”, то я уж точно осел, черт побери!” За этим следовало пренебрежительное пожатие плеч. Но по ночам, основательно выпив, он переворачивал эту мысль, что казалось более уместным, поскольку из этой пары, по правде говоря, он был сатиричен и приапичен, а бедняга

Петя зачастую представал длинноухим ослом.

В ночь, когда Голдены устроили вечеринку в Саду, Апу и Петя познакомились с женщиной из Сомали, и узы, удерживавшие этот клан, начали распадаться.

Ее привел на вечеринку хозяин галереи, который к тому времени стал также агентом Апу, хотя не эксклюзивным: склонный подмигивать повеса с серебряными волосами, звавшийся Фрэнки Соттовоче, который в юности приобрел скандальную известность, написав краской из баллончика три буквы NLF[28], каждая в 12 дюймов высотой, на одном из монументальных полотен Клода Моне с кувшинками в Музее современного искусства, таким образом выразив протест против войны во Вьетнаме и вторя акции неведомого вандала, который в том же 1974 году выцарапал двухфутовые буквы IRA[29] в правом нижнем углу “Поклонения волхвов” Петера Пауля Рубенса в Королевском колледже Кембриджа; ответственность за ту акцию Соттовоче, когда ему было охота похвастаться своим

[28] Примечания: 28

National Liberation Front (Национальный фронт освобождения Вьетнама), более известный как Вьетконг.

[29] Примечания: 29

Аббревиатура IRA обозначает Ирландскую республиканскую армию.

лучшим и более молодым леворадикальным Я, тоже пытался приписать себе. Картины без особого труда отреставрировали, ИРА проиграла свою войну, Вьетконг свою выиграл, а галерист сделал выдающуюся карьеру, обнаружил и успешно раскрутил, в числе прочих, скульптора Убу Туур, работавшую резаком по металлу.

“Уба” значит на сомали “цветок” или “бутон”, это имя часто пишут *Ubax*, причем *x* означает гуттуральный звук, с которым понапрасну борется англофонная глотка, это фрикативный согласный, рождающийся в гортани, без участия голоса. Вариант “Уба” — упрощенный, уступка не-сомалийской глоточной некомпетентности. Она была прекрасна, как женщины, живущие возле мыса Горн — такая же длинношеяя, с изящными руками. В долгий летний вечер она показалась Пете цветущим деревом, под сенью которого он мог бы обрести покой, излеченный до конца жизни ее прохладой. В какой-то момент того вечера она согласилась спеть, и из этого щедрого рта вырвалась не завывающая сомалийская песнь, как он ожидал, а знаменитая ода Патти Смит самой любви, полная страсти и тьмы, с утешительными и предательскими повторами — “не могу обидеть тебя сегодня, не могу обидеть”… К той минуте, как

пение стихло, Петя уже пропал. Он ринулся к Убе и застыл перед ней — растерянный, погибающий. На него нахлынула невыносимая, невыразимая любовь, и он пустился лепетать своей только что обнаруженной мечте о том и о сем, о поэзии и ядерной физике и о частной жизни кинозвезд, и она слушала серьезно и внимательно, принимая все его алогизмы — он срезал путь между одной мыслью и другой, — как будто они были вполне естественны, и Петя впервые в жизни почувствовал, что его понимают. Потом заговорила она, и он слушал, как под гипнозом, как мангуста перед коброй. Впоследствии он мог дословно повторить каждое слово, произнесенное ее идеальными устами.

Ее ранние работы, говорила она, вдохновлены примитивными художниками, с которыми она познакомилась на Гаити: они режут пополам канистры из-под бензина, расплющивают обе половинки и с помощью самых простых инструментов, молотков и отверток, режут и колотят металл, пока не получат изощренное кружево из веток, листьев и птиц. Она долго обсуждала с Петей, как использует паяльную лампу, чтобы получить такое кружево из железа и стали, и показала ему на экране мобильника снимки своих

скульптур: останки разбитых (разбомбленных?) машин и цистерн, превратившиеся в тончайшую филигрань; металл, просквоженный воздухом сложных форм, сам приобрел воздушность. Она говорила на языке мира искусств: *война символов, желанные противопоставления,* этот высокоабстрактный язык посвященного описывал ее поиск *эмпатических образов, создающих баланс, а также столкновение контрастирующих идей и материалов,* а еще она исследовала *абсурдность противопоставляемых экстремальных позиций, например, "борец в балетной пачке".* Она блистательно держала речь, харизматично и торопливо, почти до неразборчивости, то и дело проводила рукой по волосам и даже хваталась за голову, но под конец у Пети вырвалось (аутизм вынуждал говорить правду):

— Простите, но я ничего не понимаю. О чем вы говорите?

Тут же он возненавидел себя. Что за идиот: у него в глотке застряло "Я вас люблю", а он вместо поклонения обрушил на великолепную возлюбленную презрение! Теперь она возненавидит его, и поделом, вся его жизнь станет бессмысленной и про́клятой.

Она долго пристально смотрела на него, а по-

том разразилась целительным смехом.

— Это защитный механизм, — сказала она. — Боишься, что тебя не примут всерьез, если у тебя не будет мощной теории, особенно когда ты женщина. Вообще-то мои работы вполне внятно говорят сами за себя. Я умею втиснуть красоту в ужас, застаю людей врасплох и заставляю думать. Приезжайте ко мне в Райнбек и посмотрите сами.

Теперь я знаю наверное — теперь, когда складываю воедино паззл Золотого дома и стараюсь восстановить в памяти точную последовательность событий той важной ночи, записывая их по мере того, как они вновь предстают передо мной, — что именно в тот час вечер начал оборачиваться для Пети катастрофой, ибо страстное желание принять приглашение Убы вступило в борьбу с демонами, внушавшими страх перед внешним миром. Петя сделал странный жест обеими руками, полубеспомощный, полугневный, и тут же разразился монологом, торопливым нагромождением бессвязных высказываний обо всем, что приходило в его измученную голову. Настроение его становилось все мрачнее, пока он распространялся на самые разные темы, добравшись уже и до бродвейских мюзиклов и

своей нелюбви к большинству из них. Далее тот неловкий эпизод с пайтоном, исчезновение Пети в доме и его страдания на подоконнике. Любовь у Пети всегда граничила с отчаянием.

Все лето он печалился, запираясь в своей омытой синим светом комнате, играл в компьютерные игры и (как мы обнаружили впоследствии) создавал компьютерные игры немыслимой сложности и красоты и мечтал об этом дразнящем лике, скрытом защитной маской, о режущем металл пламени в ее руках, которым она создает из грубого железа изысканные фантазии. Она виделась ему супергероем, богиней с факелом, более всего на свете он хотел быть с ней, но страшился путешествия: Принц, слишком терзаемый тревогами, чтобы пуститься на поиски своей Золушки. Он не мог даже позвонить ей и признаться в своих чувствах. Он превратился в континент бесполезной болтовни, где таилась неприступная зона речевого паралича. Наконец Апу сжалился над ним и предложил помощь.

— Я возьму автомобиль с тонированными стеклами, — заявил он. — Мы обеспечим тебе *доступ.*

Впоследствии Апу клялся, что других целей у него не было, только перевести Петю через гра-

ницы, поставленные страхом, и дать ему шанс с этой девушкой. Но, может быть, он говорил не всю правду.

Итак, Петя собрался с духом и позвонил, и Уба Туур пригласила братьев к себе на выходные и проявила достаточно сочувствия, сказав Пете: “Весь мой участок огорожен хорошим прочным забором, так что ты, наверное, мог бы счесть его внутренним пространством вроде своего Сада. Если тебе удастся договориться с самим собой, я смогу показать тебе скульптуры не только в мастерской, но и те, что стоят у меня во дворе”.

В свете догорающего дня, в грязном рабочем комбинезоне с лямками, волосы кое-как запиханы под бейсбольную кепку “Янки” (козырьком назад), защитная маска, только что снятая, болтается на локте — такой, не прилагая ни малейших усилий, Уба действовала сногсшибательно.

— Пойдем, хочу тебе показать, — сказала она Пете и взяла его за руку, и повела по сумеречной стране, где повсюду были рассыпаны созданные ею гигантские сложные формы, словно кружевная броня богов и гигантов, словно обломки на поле битвы, перекованные легкими пальцами эльфов, и он следовал за ней, не жалуясь, веруя в существование изгороди, которую не мог разгля-

деть в угасающем свете и даже в лучах полной и яркой луны. Уба обошла кругом длинный приземистый фермерский дом, где она жила, провела Петю между домом и хлевом, где работала, и сказала:

— Смотри!

Там, на краю ее владений, где земля исчезала внезапно, катилась река, широкий серебристый Гудзон. У Пети перехватило дыхание. На долгий миг он даже забыл об ограде, не спрашивал, надежно ли он тут укрыт или же выставлен напоказ всему пугающему миру, а когда все же начал вопрос — “Если ли тут…” — и его рука задрожала, Уба крепче сжала его ладонь и ответила:

— Река — это стена. Здесь надежное убежище для нас всех.

И он принял ее слова и не боялся, стоял там и смотрел на воду, пока хозяйка не позвала обоих братьев в дом ужинать.

В теплом желтом свете ее кухни Петя снова сделался собой — болтуном, — он уплетал курицу с карри и манго, и сладость боролась на его нёбе с берберскими пряностями. Но пока он без умолку разливался о своем увлечении миром видеоигр, перемежая повествование о новинках с отрывками стихов о реке — это уж под влиянием

мерцающей границы, — внимание Убы рассеивалось. Ночь затянулась, первоначальный план визита был позабыт, Уба Туур почувствовала, как нарастает в ней внезапность — измена.

— Как это ты до сих пор не женат? — спросила она Петю. — Такой мужчина — желанная добыча.

Но пока она это говорила, взгляд ее скользнул к Апу. Он сидел совершенно тихо, заверял меня впоследствии сам Апу, ничего не делал, но потом Петя обвинял его: *ты бормотал, ты что-то бормотал, ублюдок, ты напустил на нее черную магию,* а сам Петя пытался ответить Убе, спотыкаясь на словах: *давным-давно, да, кто-то, но с тех пор ждал, ждал эмоционального императива*, а она, говоря с ним, но глядя на его брата:

— Значит, теперь ты обрел эмоциональный императив? — спросила она, заигрывая, но глаз не отводя от Апу, а тот, как утверждал Петя, что-то бормотал, хотя сам Апу в разговорах со мной наотрез отрицал бормотание.

— Я знаю, что ты сделал, крысеныш, — кричал ему потом Петя. — Наверное, ты и в еду ей что-то подмешал, специи это скрыли, какой-нибудь скверный порошок из куриных потрохов, который тебе приготовила гринпойнтская ведьма,

и ты бормотал, что ты там шептал — приворот, приворот!

И Апу, с неподвижным лицом, каждым словом усугубляя зло:

— Куда ж это подевался любимый папочкин сыночек? У которого дважды два всегда четыре? Четыре плюс четыре всегда восемь? Я ничего не делал. Ничего.

— Ты спал с ней! — выл Петя.

— Ну да. Это да. Извини.

Может быть, как-то иначе у них это прошло, меня же там не было. Вполне может быть, что Петя, прежде болтливый, за весь вечер не смог развязать свой язык, любовь сделала его немым, а живой и светский Апу завладел разговором и женщиной. Могло быть и так: Уба, которую все считали женщиной великодушной и любезной, обычно вовсе не склонной к безрассудству, на этот раз саму себя изумила, поддавшись внезапной похоти — к другому брату, своему собрату-художнику, восходящей звезде, женолюбу, чаровнику. Истоки желания скрыты от самих желающих, вожделеющих и вожделенных. “Мой дух лукаво соблазняет тело/ И плоть победу празднует свою”

(Бард Эйвона, сонет 151)[30]. Так, не обладая полным знанием о почему и зачем, мы причиняем душевные раны тем, кого любим.

Темный дом. Скрип половиц. Движение. Нет надобности заново ставить банальную мелодраму собственно акта. Утром вина проступает на лицах обоих виновных, бросается в глаза, как заголовок передовицы. Массивный, тяжеловесный Петя, легкий бритоголовый Апу, женщина между ними — грозовой тучей. Нечего объяснять, говорит она. Так случилось. Лучше вам обоим уехать.

И Петя, запертый своим страхом перед миром в арендованной братом машине с тонированными стеклами, дрожит на заднем сиденье от унизительной, лишающей мужества ярости, три часа молчаливого ужаса, пока они едут обратно в город. В такие минуты мысли человека вполне могут обратиться к убийству.

---

[30] Примечания: 30
Перевод С. Маршака.

8

Через 18 лет после рождения Апу старик позволил себе внебрачную связь и не соблюдал меры предосторожности, и дело закончилось беременностью, которую он решил не прерывать, поскольку с его точки зрения право решать всегда принадлежало только ему. Мать была бедная женщина, чье имя осталось неизвестным (секретарша? проститутка?), в обмен на оговоренную финансовую поддержку она отдала ребенка отцу, покинула город и на том исчезла из рассказа об этом мальчике. Итак, подобно богу Дионису, младший был дважды рожденным, сначала от матери, а потом вторично, в мир своего отца. Бог Дионис всегда был парией, богом воскресения и прибытия, “тем, кому предстоит прийти”. Он также был андрогином, “мужчиной-отчасти-женщиной”, и если младший отпрыск Нерона Голдена, когда началась игра в классические псевдонимы, выбрал себе такое имя, значит, он что-то подозревал о себе еще до того, как узнал это, скажем так. В ту пору он бы обосновал свой образ, во-первых, тем, что Дионис прошелся с приключениями по всей Индии, да и мифиче-

ская гора Ниса, место рождения бога, с большой вероятностью находилась на субконтиненте, а во-вторых, это ведь божество чувственных наслаждений, не только сам Дионис, но и римский его двойник Вакх, бог вина, буйства, экстаза — все это, по словам Диониса Голдена, звучало весьма заманчиво. Тем не менее вскоре он объявил, что предпочитает не зваться божественным именем полностью, а обходиться скромным, почти анонимным прозвищем из одной буквы Д.

Не так-то легко было ему интегрироваться в семью. С полубратьями отношения сразу же не задались. Все детство он чувствовал себя парией. Они прозвали его “Маугли” и дразнили, воя на луну. Его мать-волчица, говорили они, — шлюха из джунглей, а их мать-волчица — та самая, капитолийская (в ту пору они, видимо, считали себя Ромулом и Ремом, хотя впоследствии Апу в разговоре со мной это отрицал, вернее, намекал, что это образ в голове Д, а не в его собственной). Старшие уже освоили латынь и древнегреческий, пока Д только учился лепетать, и они прибегали к этим тайным языкам, чтобы не допустить младшего в свои разговоры. Впоследствии они и это отрицали, хотя признавали, что способ, каким он проник в семью, а также большая раз-

ница в возрасте, породили серьезные проблемы и недостаток взаимной верности и естественной привязанности. Теперь юноша, Д Голден в обществе братьев то лебезил, то впадал в ярость. Было очевидно, как ему необходимо любить и быть любимым, в нем приливной волной бились чувства, которые требовалось выплеснуть на кого-то, и он с надеждой ждал, когда такая волна омоет и его, если же подобной страстной взаимности не случалось, он рвал и метал и уходил в себя. Ему исполнилось двадцать два, когда его семья переселилась в Золотой дом. Порой он вел себя не по годам разумно, а порой опускался до уровня четырехлетки.

Когда еще в детстве он собирался с духом и задавал отцу и мачехе вопрос о той женщине, что дала ему жизнь, отец просто вскидывал руки вверх и выходил из комнаты. Мачеха сердилась. “Оставь это! — крикнула она мальчику в некий роковой день. — Никому не интересна эта женщина. Она уехала, заболела и умерла”.

Каково это — быть Маугли, сыном женщины, которая никому не интересна, которая была столь хладнокровно выброшена его отцом и где-то во тьме внешней погибла одной из тех тысяч и мириад смертей, что постигают забытых всеми

бедняков? Впоследствии, когда клятва молчания была нарушена, я услышал от Апу шокирующую историю. Настал момент, когда у старика что-то разладилось в отношениях с их матерью. Он гневался, она кричала в ответ. Тут я выпрямился и стал вслушиваться, потому что впервые в моих разговорах с Голденами женщина без имени и лица — супруга Нерона (с древности это звание не сулило счастья) выступила на авансцену и открыла рот, а также потому, что, согласно этому рассказу, Нерон орал и вопил, и она вопила и орала в ответ. Это не было похоже на того Нерона, какого я знал — того, кто держал свой гнев под контролем и позволял прорываться только самохвальным монологам.

Так или иначе, после взрыва семья разделилась надвое. Старшие мальчики встали на сторону матери, а Дионис Голден принципиально держался отца и убедил патриарха в том, что его жена, мать Пети и Апу, не в состоянии вести хозяйство. Нерон призвал супругу и забрал у нее ключи. На короткое время Д стал тем, кто всеми командует, заказывает продукты и решает, какую еду готовить на главной кухне и в подсобной. Публичное унижение, лишение чести: понятие этой женщины о чести было неразрывно связа-

но с тем железным кольцом, величественным О диаметром в три дюйма, с которого свисало примерно двадцать ключей, больших и малых, ключ от кладовой, ключи от подвальных сейфов, где хранились золотые слитки и другие секреты богачей, от разных потайных уголков по всему дому, где она скрывала то, о чем ведала только она: старые любовные письма, свадебные украшения, старинные шали. Это был символ ее домашней власти, ее гордость и самоуважение были подвешены к кольцу вместе с ключами. Она была госпожой ключей и без этой роли превращалась в ничто. Через две недели после того, как муж велел ей сдать кольцо, низложенная хозяйка дома попыталась лишить себя жизни. Таблетки были проглочены; Апу и Петя нашли ее, упавшую у подножья мраморной лестницы; примчалась скорая. Она вцепилась в руку сына, и люди из скорой сказали Апу: вы поедете с нами, это важно, что она держится за вас, это она держится за жизнь.

В скорой парамедики разыгрывали доброго и злого копа.

— Сука придурочная, всех родных перепугала, делать нам больше нечего, нас вызывают на серьезные дела, настоящие травмы, неотложные

случаи, а не самоувечья, надо было бросить тебя умирать.

— Нет-нет, не ругай ее, бедняжку, она, конечно же, была в таком горе, все будет хорошо, милочка, мы о тебе позаботимся, все наладится, тучи рассеются.

— Какие к черту тучи, ты на дом посмотри, экие деньжищи, эти люди считают нас за прислугу.

— Не слушай его, милочка, он всегда такой, мы о тебе позаботимся, ты в надежных руках.

Она что-то бормотала с трудом, Апу не мог разобрать слова. Он понимал, для чего парамедики так себя ведут: чтобы не позволить ей соскользнуть в кому, и потом, после промывания желудка (это ему тоже пришлось наблюдать во всех подробностях, потому что ее рука-лапа так и сжимала его запястье), когда мать очнулась на больничной койке, она сказала ему: “Единственное, что я пыталась сказать в скорой: дитя мое, пожалуйста, разбей этому грубияну лицо”.

Она вернулась домой триумфально, ведь, разумеется, ее положение в семье было восстановлено, и то изменническое чадо, которое не было ее чадом, молило о прощении. И она сказала ему, что прощает, но на самом деле так никогда и не простила и до конца жизни почти не раз-

говаривала с ним. Да и он не так уж мечтал о прощении. Она позволила себе назвать его мать женщиной, которая никому не интересна, она заслужила все, что он ей причинил. После этого братья метафорически захлопнули дверь у него перед носом и сказали: его счастье, что они-то к насилию не склонны. Он проглотил свою гордыню и у них тоже просил прощения. Получил он его не скоро. Но по мере того, как шли года, между ними постепенно восстановилось сдержанное доброжелательство, обрывистое общение, которое посторонние принимали за выражение бессловесной братской любви, а на самом деле они всего лишь притерпелись друг к другу.

Незаданные вопросы висели в воздухе, неразгаданные тайны: почему тот юный мальчик, который станет Д Голденом, так истово мечтал вести домашнее хозяйство, что решился унизить ради этого мачеху? Лишь для того, чтобы доказать свою принадлежность к семье? Или — ведь так вполне могло быть — чтобы отомстить за покойницу, которая дала ему жизнь?

— Не знаю, — отмахнулся Апу, когда я спросил его. — Он редкостным засранцем порой бывает, когда ему в голову стукнет.

Из острого ощущения своей особенности, обу-

словленной незаконным рождением, Д Голден сконструировал версию ницшеанского элитизма для оправдания своего одиночества. (Всякий раз, как подумаешь о Голденах, мелькает эта тень *Ubermensch*[31].)

— Откуда возьмется “общее благо”? — цитировал он философа в Саду. — Термин внутренне противоречив: общее малоценно. В конечном счете все должно оставаться как есть и как всегда было: великое для великих, бездны для глубоких, нюансы и дрожь для утонченных и, словом, все редкостное для немногих.

Мне это показалось юношеской позой, не более того — я был всего на несколько месяцев старше и распознавал в нем собственную слабость, склонность философствовать. Д и в самом деле манерничал и принимал позы, эдакий Дориан Грей, худощавый, гибкий, что-то в нем чувствовалось женственное. Его образ — будто бы он единственный из своего клана обладал задатками величия, только ему хватало глубины характера, чтобы с головой погрузиться в скорбь, только он принадлежит к “немногим”, — казалось мне, вполне объяснялся потребностью в самозащите.

---

[31] Примечания: 31
Сверхчеловек (*нем.*).

Но я ему сочувствовал: ему выпали не лучшие карты, а строить вокруг себя стены стараемся мы все, ведь так, и, может быть, даже не знаем, от чего именно стараемся отгородиться, какая сила в итоге сокрушит стену и уничтожит нашу маленькую мечту.

Я ходил с ним иногда послушать музыку. Была такая рыжеволосая певица, которой он симпатизировал, Айви Мануэль, она раз в неделю выступала поздно ночью в одном местечке на Орчард-стрит, иногда в тиаре на голове, точно королева. Она пела каверы “Дикого ветра”, и “Знаменитого синего плаща”, и “Под мостом”, а потом переходила к немногочисленным собственным сочинениям, а Д сидел перед ней за маленьким круглым столом из черного металла, закрывал глаза, покачивался под Боуи и Коэна и шепотом подменял слова “Чили Пепперс”: “Иногда я чувствую, что еще не родился, иногда я чувствую, что не хочу рождаться”. Айви Мануэль была его другом, потому что, говорил он (не в шутку), все встречавшиеся ему девушки традиционной ориентации тут же пытались на него запрыгнуть, но Айви лесбиянка, и с ней можно просто дружить. Он был самым красивым из Голденов, это с готовностью подтвердило бы любое волшебное

зеркальце, и он умел быть самым из них обворожительным. Мы все в домах, примыкавших к Саду, стали жертвами его откровенности подранка, и за пределами Сада он тоже вскоре сделался известен. Он уверял, будто чужое внимание его смущает. Куда бы я ни пошел, люди смотрят на меня, говорил он, всегда смотрят, словно я кто-то, словно от меня чего-то ждут. Успокойся, отвечала ему Айви, никому от тебя ничего не надо. Он ухмылялся и склонял голову, якобы извиняясь. Шарм был его маской, точно так же, как у Апу: под этой поверхностью он бывал мрачен и часто печалился. С самого начала именно он был тот из братьев, в ком обитала самая темная тьма, хотя он и явился в мир подобный солнечному зайчику, с густыми, почти белыми волосами на голове. Волосы постепенно потемнели, стали каштановыми, и небеса его души тоже заволокло, частенько он впадал в депрессию, в уныние.

Айви не слишком подчеркивала свою сексуальную ориентацию, считала, что певице не подобает обклеиваться ярлыками. “Я ничего не скрываю, нет проблем, но думаю, что это не имеет никакого отношения к моей музыке, — говорила она. — Люблю, когда люблю. Не хочу, чтобы люди из-за этого не слушали мои песни, также

не хочу, чтобы они слушали мои песни из-за этого". Тем не менее ее аудитория почти целиком состояла из женщин — множества женщин плюс очаровательный молодой человек, которому не нравилось, чтобы на него смотрели, да я.

Все Голдены рассказывали о себе какие-то истории, в которых существенная информация об их корнях либо выпускалась, либо подменялась. Я выслушивал эти повести не как "правду", но как слепок с характера. Вымысел, который человек о себе рассказывает, помогает понять его так, как не помогла бы документальная запись. Я воспринимал эти анекдоты, как "тики" игроков в карты: те невольные жесты, которые выдают, что у противника на руках — кто-то потирает нос, набрав козырей, или дергает себя за мочку уха, если не повезло. Умелый игрок следит за всеми, кто сидит за столом, подмечая их тики. Вот каким образом я старался наблюдать и слушать Голденов. Но однажды, когда я пошел с Д в то местечко на Орчард-стрит послушать, как Айви Мануэль поет Боуи — ч-ч-ч-ч, — и Митчелл "Не кажется ли, что всегда проходит", и собственную забавную песенку на тему научной фантастики, "Терминатор", о путешествующих во времени потенциальных спасителях человеческого рода, а потом я пил с

ними обоими пиво в опустевшем ресторанчике, я упустил самый красноречивый тик. Кажется, это Айви затронула все более усложнявшуюся тему гендера, и Д в ответ рассказал греческий миф. Гермафродит был сыном Гермеса и Афродиты; нимфа Салмакида влюбилась в него так сильно, что молила Зевса навеки соединить их, и они слились, двое в одном теле, сохранив явные признаки обоих полов. В ту пору я думал, он в такой форме объясняет свою близость к Айви Мануэль, их вечное единство в дружбе. А на самом деле он рассказывал более странные вещи, но я не сумел вслушаться: он говорил о самом себе.

Суть метаморфозы в том, что она не случайна. Филомела, подвергшаяся нападению своего зятя Тирея, изнасилованная, с вырезанным языком, упорхнула от него в образе соловья, свободная, со сладчайшими песнями. Как и в мифе о Салмакиде и Гермафродите, боги допускают, чтобы тела превращались в другие тела под давлением отчаянной потребности — любви, страха, страсти к свободе — или же когда сосуществование в одном теле есть тайная истина, которую раскроет лишь такое преображение.

Д всегда носил при себе три серебряных доллара, чтобы гадать с помощью старинных ки-

тайских гексаграмм. В ту ночь на Орчард-стрит он бросил монеты, и вышло пять неизменных прерывистых линий и одна неизменная непрерывная сверху.

— Двадцать три, — сказал он. — Сходится.

И убрал монеты.

В ту пору я ничего не знал о Книге перемен, но позднее в ту ночь поискал гексаграммы в интернете. В наш век поисковых машин любое знание — в одном клике от тебя. Гексаграмма 23 называется “Разрушение” и описывается как знак распада. Ее внутренняя триграмма означает “дрожь” и “гром”.

— Пора домой, — сказал он и вышел, не оглянувшись на нас.

Я отпустил его. Я не бегаю за людьми, которые дают понять, что моего общества с них довольно. Может быть, щепетильность в данном случае помешала мне лучше разобраться, и прошло немало времени, прежде чем я подумал: возможно, под его страхом перед чужими взглядами кроется не тщеславие, нарциссизм или застенчивость, а нечто иное.

В начале всегда — какая-то боль, которую надо смягчить, рана, ждущая исцеления, незаполненная лакуна. А в итоге всегда провал — боль

неисцелима, рана не зарастает, бесконечная печальная пустота.

На вопрос о природе добра, который я задавал в самом начале этого повествования, я могу дать по крайней мере частичный ответ: жизнь молодой женщины, которая влюбилась в Диониса Голдена в некий день на тротуаре Бауэри и оставалась с ним рядом, во всем, что дальше произошло, неизменно окутывая его любовью, — это для меня один из лучших примеров хорошей жизни, какой я могу найти в своем сравнительно коротком, ограниченном не таким уж большим пространством существовании. *“Le bonheur écrit à l’encre blanche sur des pages blanches”*, говорит нам Монтерлан[32]. Счастье пишет белыми чернилами по белой бумаге. А доброта, добавлю я, так же ускользает от определения, как радость. И все же я должен попытаться, потому что двое нашли и крепко держали нечто, бывшее как раз этим, не меньшим — счастьем, порожденным добротой, — и оно в свою очередь их поддерживало против самых невероятных бед. Пока несчастье не смело его.

---

[32] Примечания: 32

Анри де Монтерлан (1895–1972) — французский писатель, аристократ, скрывавший гомосексуальные наклонности.

С того дня, как он с ней познакомился — она была в белой рубашке, в черной узкой юбке и курила французскую сигарету без фильтра на тротуаре возле Музея идентичности, — он понял, что нет никакого смысла скрывать от нее какие-то секреты: она умела читать его мысли так точно, словно подсвеченные известия сменяли друг друга у него на лбу.

— Айви сказала, нам надо познакомиться, — заговорил он. — Я подумал, это дурацкая идея.

— В таком случае зачем же вы пришли? — спросила она и со скучающим видом отвернулась.

— Хотел увидеть вас, чтобы понять, хочу ли я вас видеть, — пояснил он.

Это ее заинтересовало, но, казалось, лишь слегка.

— Айви сказала мне, ваша семья рассталась с родиной и вы не желаете обсуждать, как и почему это произошло, — заговорила она. Глаза ее были шире океана. — Однако сейчас, когда вы стоите передо мной, я вижу, что вы сами в изгнании — в разлуке с собой — возможно, с того самого дня, как появились на свет.

Он нахмурился, явно рассерженный.

— Откуда вы это узнали? — резко спросил он. — Вы кто, музейный куратор или шаман?

— Существует особого рода печаль, — ответила она, затягиваясь “Голуазом”, похожая на Анну Карину в “Безумном Пьеро”[33], — которая выдает отлученность человека от собственной идентичности.

— Мне противно современное помешательство на идентичности, — возразил он, пожалуй, с излишним нажимом. — Нас обрубают и сужают, пока мы не превращаемся в инопланетян друг для друга. Вы читали Артура Шлезингера? Он выступает против закрепления маргинализации путем утверждения различий.

Одет он в тот день был в тренчкот и шляпу с узкими полями, потому что лето близилось, но еще не пришло, словно женщина, обольщающая посулами любви.

— Но это так и есть, мы все инопланетяне. — Легкое пожатие плеч, намек на гримаску. — Суть в том, чтобы максимально точно выяснить, каким типом инопланетянина предпочитаешь быть. И да, я прочла всех этих старых мертвых белых гетеросексуальных мужчин. Вам следует

[33] Примечания: 33

Фильм Жана-Люка Годара (1965). Анна Карина играет роль девушки из мафии, которая совершает ряд убийств, обольщает богатого женатого мужчину, обманывает его и погибает от его руки.

почитать Спивак[34] о стратегическом эссенциализме.

— Пойдем куда-нибудь выпить виски? — предложил он, все еще с раздраженной интонацией, а она продолжала взирать на него как на простачка, нуждающегося в помощи специалиста. Чулки у нее были с черными швами, взбегающими сзади под коленки.

— Не сейчас, — сказала она. — Сейчас вы войдете в музей и познакомитесь с новым миром.

— А после этого?

— И после этого тоже нет.

Ночь они провели вместе в ее квартире на Второй авеню. Им столько всего нужно было обсудить, что они обошлись без секса, которому придают слишком много значения, сказал он. Она спорить не стала, но взяла на заметку. Утром он вышел за круассанами для нее, кофе, виски, сигаретами и воскресными газетами. Ключи лежали в холле на маленьком столе цвета красного дерева, что-то вроде ящика на ножках, не

---

[34] Примечания: 34

Гаятри Спивак (род. 1942) — американский философ, родоначальница постколониальных исследований. Стратегический эссенциализм мобилизует различные меньшинства (гендерные, культурные, политические), предлагая им временно “эссенциализироваться”, то есть сгладить различия и выдвинуть на первый план групповую идентичность в борьбе за свои права.

антиквариат, но добротная реплика. Он приподнял крышку и обнаружил револьвер на красной бархатной подушечке, кольт с перламутровой рукоятью, тоже добротная реплика, скорее всего. Он взял его в руки, покрутил барабан, прижал дуло к виску. Потом он говорил, что не нажимал на курок, но она смотрела на него в открытую дверь спальни и слышала, как щелкнул боек, камора оказалась пуста.

— Нашел ключи, — сказал он. — Добуду завтрак.

— Аккуратнее, — крикнула она вслед. — Не запачкай мне ковер в холле.

Рийя, так ее звали. Замечательная девушка. Всего на три-четыре года его старше, но уже на ответственной должности в музее, а кроме того она иногда по вечерам мурлыкала любовные песенки на Орчард-стрит, а еще отшивала собственный инди-лейбл из старого кружева и черного шелка, часто с добавлением парчи с цветочным узором, ориентальные темы, китайский или индийский стиль. Наполовину индианка, наполовину американка шведских корней, длинная скандинавская фамилия Захариассен не помещалась у американцев во рту, и она стала Рийя З., как он — Д Голден.

Все наши тайны зарождаются в алфавите.

“Вы войдете в музей и познакомитесь с новым миром”. Был Музей коренных американцев на Боулинг-Грин, и был Музей американцев итальянского происхождения на Малберри-стрит, и Музей американцев польского происхождения в Порт-Вашингтоне, и два еврейских музея, в центре города и на окраине, и все это, безусловно, тоже были музеи идентичности, но MoI — Музей идентичности — ставил себе более амбициозные цели, его харизматический куратор Орландо Вулф искал идентичность как таковую, новую великую силу, уже столь же могущественную, как любое богословие или идеология; культурная идентичность и религиозная идентичность, народ и племя, секта и семья, стремительно растущее междисциплинарное поле: в средоточии Музея идентичности был вопрос об идентичности любого Я, начиная с биологического Я и выходя за его пределы очень далеко. Гендерная идентичность, расщеплявшаяся как никогда прежде в человеческой истории, нарождавшиеся совершенно новые словари, возникавшие в попытке охватить новую изменчивость.

— Бог умер, и пустоту заполняет идентичность, — сказала она ему в дверях гендерной

зоны, глаза ее мерцали ярким энтузиазмом истинно верующего. — Но, как выяснилось, наши боги с самого начала играли с гендером.

Ее черные волосы были коротко пострижены, повторяя форму черепа.

— Отличная прическа, — он ей сказал.

Они остановились посреди горшков, печатей и каменных статуэток Аккада, Ассирии и Вавилона.

— Великая Мать богов, пишет Плутарх, была двупола — оба пола присутствовали в ней, еще нераздельно.

Может быть, если бы он взял напрокат старый кабриолет, красно-белый, с “плавниками”, они бы отправились в далекое путешествие, может быть, через всю Америку.

— Ты видела когда-нибудь Тихий океан? — спросил он. — Наверное, разочаровывает, как и все прочее.

Они пошли дальше. Темноту музея нарушали ярко подсвеченные предметы, словно возгласы в монастыре.

— Эти артефакты каменного века могли быть трансгендерными жрицами, — рассуждала она. — Тебе следует смотреть как можно внимательнее. Это важно для цис-людей, как и для

членов МЖ-сообщества.

Это слово внезапно вернуло его в детство: он снова сидит над учебником латыни, впивается свирепо, чтобы покончить с манерой братьев исключать его из разговоров на тайном языке Рима.

— Предлоги с аккузативом, — заговорил он. — *Ante, apud, ad, adversus / circum, circa, citra, cis. / Contra, erga, extra, infra*[35]. Неважно. Галлия Цизальпинская и Трансальпийская. Понял. Теперь Альпы отделяют друг от друга два пола.

— Я это слово не одобряю, — сказала она.

— Какое?

— Пол.

Ох!

— Так или иначе, бог не мертв, — сказал он. — Уж в Америке точно.

М-Ж означало переход из мужчины в женщину. Ж-М — наоборот. Она обрушила на него поток слов, *гендерная флюидность, бигендер, агендер, транс со звездочкой — транс**, разница между *женственностью* и *феминностью, гендерная неконформность, гендер-квир, небинарность* и заимствованное из культуры коренных аме-

[35] Примечания: 35

Перед, раньше, к, против/вокруг, рядом, около, по эту сторону/против, в отношении, вне, под (*лат.*).

риканцев понятие о *двух душах.* Фригийскую богиню Кибелу сопровождали слуги М-Ж, именуемые галлами. В африканском зале — М-Ж окуле и Ж-М агуле племени лугбара, транссексуальные амазонки Абомея, фараонша Хатшепсут в мужском наряде с фальшивой бородой. В азиатском отделе Д остановился перед каменной фигурой Ардханаришвары, бога-полуженщины.

— С острова Элефанта[36], — сказал он и рукой закрыл себе рот.

— Ты этого не слышала! — с искренней яростью предупредил он ее.

— Я собиралась показать тебе фанчуанские[37] костюмы китайской оперы, для трансвеститов, — сказала она. — Однако с тебя вроде бы на сегодня довольно.

— Мне пора, — сказал он.

— Сейчас я готова тот виски выпить, — ответила она.

На следующее утро за завтраком, сидя в белоснежной постели и поедая круассан, куря

---

[36] Примечания: 36

Остров Элефанта находится в заливе Мумбаи, поблизости от города-который-нельзя-называть.

[37] Примечания: 37

Фанчуан — термин, обозначавший кросс-дрессинг в традиционной китайской опере, где мужчины исполняли женские роли; недавно стал использоваться также для обозначения трансвестизма.

сигарету и держа в руке очередной стаканчик виски, она тихонько пробормотала:

— Я знаю имя страны, которую ты не хочешь называть. И тот город, о котором ты не хочешь говорить, тоже знаю, — шептала она ему в ухо.

— Мне кажется, я в тебя влюбился, — сказал он. — Но я хочу знать, зачем ты держишь револьвер в маленьком столике в холле.

— Чтобы убивать мужчин, которым кажется, что они в меня влюблены, — сказала она. — А может быть, чтобы убить себя, но насчет этого я пока не решила.

— Не говори моему отцу, что ты знаешь, — предупредил он, — иначе тебе, пожалуй, и не придется принимать решение.

Я закрываю глаза и проигрываю в голове сцену из фильма. Открываю глаза и записываю. И снова закрываю глаза.

9

Появляется Василиса, девушка из России. Потрясающая. Можно даже сказать, ошеломляющая. Длинные черные волосы. И тело длинное, великолепное: она бегала на марафонские дистанции, отличная гимнастка, особенно ей давалось выступление с лентой. Говорит, в юности ей чуть-чуть не хватило до российской олимпийской команды. Ей двадцать восемь лет. Юностью она считает пятнадцать. Ее полное имя — Василиса Арсеньева. Родом она из Сибири и утверждает, будто происходит от знаменитого путешественника Владимира Арсеньева, который написал много книг о том регионе, в том числе ту, что легла в основу фильма Куросавы “Дерсу Узала”, но эта родословная сомнительна, поскольку Василиса, как мы убедимся, блистательная лгунья, изощрившаяся в искусстве обмана. Говорила, что выросла в лесах, в бескрайней тайге, покрывающей большую часть Сибири. Что ее семья из племени нанайцев, мужчины которого были охотниками, трапперами и проводниками. Она родилась в год Московской летней олимпиады, и героиней Василисы, пока она росла, была великая

гимнастка Нелли Ким, полукореянка-полутатарка. Шестьдесят пять стран, в том числе США, бойкотировали Московские игры, но девочка в глубине лесов была далека от политики — правда, она слышала о падении Берлинской стены, когда ей было девять. Она обрадовалась, потому что к тому времени уже полистала немногочисленные журналы и мечтала отправиться в Америку и чтобы ее там обожали, а она будет посылать доллары США домой, своей семье.

И так она и сделала. Выпорхнула из гнезда. Вот она в Америке, в городе Нью-Йорке, а время от времени во Флориде, и ею многие восхищаются, и она зарабатывает деньги тем, чем обычно зарабатывают красавицы. Мужчины желают ее, но она ищет не просто мужчину. Ей нужен покровитель. Царь.

Вот она, Василиса. У нее есть волшебная кукла. Когда-то еще маленькая, прежняя Василиса была послана злой мачехой в дом Бабы-Яги, ведьмы, которая ест детей и живет в самой чаще леса, и тогда волшебная кукла помогла ей спастись, и она смогла начать поиски своего царя. Так сказка сказывается. Но другие рассказывали ее иначе, говорили, что Баба-Яга съела Василису, проглотила, как всех прочих, и таким образом

уродливая старая ведьма присвоила себе красоту юной девушки, стала внешне точной копией Василисы Прекрасной, а внутри осталась острозубой Бабой-Ягой.

Вот она, Василиса, в Майами. Теперь она блондинка и скоро встретится со своим царем.

Зимой 2010 года, за несколько дней до Рождества, когда прогноз сулит дурную погоду, четверо Голденов в сопровождении Сумятицы и Суматохи, двух верных помощниц Нерона, прихватив также и меня, вылетели на юг из аэропорта Тетерборо на том, что, как мне пояснил Апу, регулярные пользователи таких воздушных судов именуют Пи-Джи, и таким образом мы спаслись от великой метели. В городе, который мы оставили за спиной, все скоро начнут жаловаться на медлительность снегоуборочников, будут намекать на умышленный саботаж в знак протеста против бюджетных сокращений при мэре Блумберге. Двадцать дюймов снега в Центральном парке, до 36 дюймов толщина снежного покрова в некоторых районах Нью-Джерси и даже в Майами самый холодный декабрь в анналах, иными словами, 16 градусов, вполне умеренная погода, не так уж зябко. Старик снял несколько апартаментов большого особняка на частном

острове поблизости от Майами-Бич, и нам там по большей части было вполне тепло. Петя любил остров: с материком его соединял только паром, и ни один чужак не допускался на священную территорию без рекомендации резидентов. Павлины птичьего рода и человеческого распускали тут перья, не боясь попасться на глаза чужакам. Богачи выставляли напоказ свои коленки и свои тайны, и никто лишнего не болтал, так что Петя мог себя уговорить, будто остров — огороженное место, и его страх перед открытыми пространствами разве что негромко урчал в тени.

— А, ты не знаешь, что такое Пи-Джи? Приватный джет, частный самолет, дорогой. Лети с нами.

Апу — общительный Апу, а не мой омраченный сверстник Д — пригласил меня лететь с ними, и “да, отправляйся”, сказала мне мама, хотя это означало, что на праздники меня не будет дома, “получи побольше удовольствия, ну конечно”. Тогда я не мог знать, что мне больше никогда не представится случай приветствовать вместе с родителями вымышленного младенца Иисуса или невымышленный Новый год. Никак я не мог бы это предвидеть, но теперь об этом горько сожалею.

Апу был в своей стихии, замешался в густой салат из русских миллиардеров, соблазнял их жен — не захочет ли какая свой портрет, желательно почти без одежки. Я всюду таскался за ним, словно преданный пес. Меня жены миллиардеров не замечали. Вот и прекрасно: я привык быть невидимкой и по большей части предпочитал им оставаться.

Д Голден привез с собой Рийю, они были полностью поглощены друг другом и держались на отшибе вдвоем. Слуги прислуживали, окружение окружало, миссис Суматоха суматошилась, а ее сравнительно молодая помощница мисс Сумятица мельтешилась, и все у Голденов шло достаточно гладко. Я, их ручной Тинтин, тоже был вполне доволен. В канун Нового года на острове устроили богатую вечеринку для богатых резидентов, как обычно щедрый фейерверк, лучшего качества лобстеры, отлично организованные танцы, и Нерон Голден выразил желание выйти на танцпол.

Оказалось, старик отличный плясун.

— Ты бы видел его несколько лет назад, когда мы праздновали его семидесятилетие, — сказал мне Апу. — Все красотки в очередь выстроились, чтобы с ним пройтись, он вальсировал, кружился

в танго и польке, свинговал с ними, кружил их и вертел. Настоящие парные танцы, не дерганье в диско, дрыг-дрыг, вверх-вниз, как в наши упадочные времена.

Теперь, когда я знаю семейные тайны, я могу мысленно представить старика на огромной террасе на море, в их семейном особняке посреди поселения Валкешвар, вообразить, как элитные красотки Бомбея счастливо замирают в его руках, а его пренебрегаемая, подпирающая стену жена — я и впредь буду именовать ее “Поппея Сабина”, в соответствии с юлиано-клавдианскими вкусами семейства — неодобрительно взирает со стороны, однако молчит. Теперь он был старше, уже отпраздновал семьдесят четвертый день рождения, однако равновесие держал, и физическое, и душевное. И тут тоже нашлось немало молодых женщин, жаждущих, чтобы их вертели и кружили. Среди них Василиса Арсеньева, позаимствовавшая свой девиз у Иисуса Христа (Евангелие от Матфея, глава четвертая, стих 19): “Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков”. Время она рассчитала великолепно. Когда пробила полночь и наступил Новый год, в этот колдовской час она забросила роковой крючок. И стоило ей вступить в танец со стариком, ни

у кого больше не оставалось шансов. Она была последней и окончательной.

Вот она, Василиса. Танцует со своим царем. Обхватила его рукой, и ее лицо говорит ясно: “Никогда не отпущу”. Она выше его ростом и в танце слегка наклоняется, прикасаясь губами к его уху. Его ухо прислоняется к ее губам, желая понять, что они ему шепчут. Это Василиса. Она засовывает язык ему в ухо. Язык говорит на языке бессловесном, на языке, внятном всем мужчинам.

Дом Вандербильтов находится в самом сердце острова. Перемотка: вот Уильям Киссам Вандербильт II на своей двухсотпятидесятифутовой яхте заключает сделку с торговцем недвижимостью Карлом Фишером. Яхта в обмен на остров. Скрепим сделку рукопожатием. Вот Бебе Ребозо, которого во время Уотергейта обвинили в том, что он отмывал деньги Никсона. Бебе входит в группу людей, покупающих остров у того парня, который купил его у того парня, который купил остров у Вандербильта. У острова есть история. На нем есть обсерватория. Есть, как уже было сказано, павлины. Есть укромность. Есть гольф. Есть шик.

И в тот холодный праздничный сезон в доме

Вандербильта, после новогоднего танца на великолепном паркете танцпола под открытым небом, среди деревьев, увешанных световыми гирляндами, горящих жаровен, живой музыки, женщин в драгоценностях, охранников, стерегущих драгоценности, мужчин, которые купили эти драгоценности и ревниво созерцали свою собственность, у острова появилась тема для разговора, любимая тема зимой и весной, с ноября по апрель: любовная интрига. Мои деньги в обмен на твою красоту. Скрепим сделку рукопожатием.

Новый год — время танца, а когда музыка закончилась, Василиса приказала: Нерон, иди домой и спи. Я хочу, чтобы ты встретил меня свежим, когда мы приступим по-настоящему. И он послушно, как хороший мальчик, побрел к себе в постель, а сыновья изумленно смотрели ему вслед. Не может быть, говорили их взгляды. Не может же он купиться на такое. Но его авторитет был столь велик, что ни один из них не произнес ни слова. На следующую ночь он освободил апартаменты, которые арендовал для себя и двух помощниц, загнав помощниц вместе с сыновьями в три других съемных помещения, где хватало свободных спален. Он остался один на седьмом этаже с видом на вершины пальм,

маленький полумесяц пляжа, воду, блестевшую чуть дальше. Ужин — креветочные коктейли, холодная нарезка, салат из капусты и авокадо, фруктовая корзинка, тирамису на десерт — доставленный моторной лодкой из прекрасного ресторана на южном берегу реки Майами, был заранее расставлен на столе. Икра, водка, вино, лед. Точно в назначенное время, ни минутой позже, ни минутой раньше, она вошла в его номер в золотой подарочной обертке с бантиком на спине платья, чтобы ему без труда ее распаковать.

Оба решили, что есть они не хотят.

Вот она, Василиса прекрасная, отдается своему царю.

В первую ночь и во вторую ночь, в первые две ночи нового года, она демонстрировала свой товар, позволяла покупателю оценить качество того, что ему предлагалось — не только телесное, но и эмоциональное. Она… и тут я отступаю, сдерживаю себя, пристыженный, пруфрокнутый[38] внезапной *pudeur*[39], ибо, в конце концов, какое право я имею предполагать? Скажу ли я, что знал

---

[38] Примечания: 38

Пруфрок — герой “Любовной песни Дж. Альфреда Пруфрока”. Т. С. Элиота.

[39] Примечания: 39

Щепетильностью (*франц*).

их всех, что я видел ее, подобную желтому туману, как она трется спиной, как накрывает ртом, как проникает языком в его вечерние уголки? Посмею ли я, посмею ли? И кто я, в конце концов? Я же не принц. Лорд из свиты, почтительный, рад услужить. Порой и вовсе шут… Но, поэзию в сторону, я слишком далеко уже зашел, чтобы остановиться. Я даже начал воображать ее позы. Наверное, она опустилась на колени в постели рядом с ним. Да, на коленях, думается мне. Спросила: ты этого хотел? Или этого? Это ли ты имел в виду?

Он царь. Он знает, чего хочет. И все, чего ты захочешь, как только захочешь, — твое, говорит она. В третью ночь она перешла к деловым вопросам. Его это не шокировало. Это упрощало дело. Бизнес для него — зона комфорта. Она вытащила отпечатанную карточку, с открытку размером, с готовыми квадратиками, где ставить галочки. Обсудим детали, сказала она.

Нам обоим понятно, что в доме на Макдугал я жить не могу. Это твой семейный дом, твой и твоих сыновей. А я не жена, так что я не принадлежу к семье. Значит, выбирай: а) квартиру в Вест-Виллидж, для удобства, ближе добираться или б) Верхний Ист-Сайд, чуть подальше, для

укромности. Очень хорошо, б), я бы и сама это предпочла. Далее, размер квартиры, две спальни как минимум, так? И, может быть, дополнительно еще одна, студия? Хорошо! И квартира будет у меня в собственности или в аренде, или если в аренде, то на сколько лет? Окей, подумай насчет этого. Переходим к машине, выбор я оставляю полностью за тобой, одно из трех: а) “мерседес” с откидным верхом, б) “БМВ” шестой серии, в) “лексус” внедорожник. О, а), как мило. Я тебя люблю! Следующий вопрос, где у меня будет открыт счет: а) Бергдорф, б) Барни, в) в обоих. Фендигуччипрада само собой. Эквинокс — Сохо-Хаус — Эври-Хаус, вот список. И далее, размер ежемесячного содержания. Я должна жить на уровне, соответствующем твоему положению. Как видишь, категории — десять, пятнадцать, двадцать. Рекомендую проявить щедрость. Да, тысяч долларов, дорогой. Прекрасно. Ты об этом не пожалеешь. Я буду для тебя само совершенство. Я говорю по-английски, по-французски, по-немецки, по-итальянски, по-японски, на китайском и на русском. Я катаюсь на горных лыжах и на водных, занимаюсь бегом и плаванием. Гибкость, которую мне обеспечила в юности гимнастика, я сохранила. В ближайшие дни я лучше тебя самого

буду знать, как тебя удовлетворить, и если понадобится оборудование, если для нас нужно будет построить особую комнату, назовем ее игровой, я прослежу, чтобы все было сделано безупречно и в полной тайне. Я никогда не посмотрю на другого мужчину. Ни один мужчина не прикоснется ко мне, также я не допущу неуместных реплик или заигрывания. Ты имеешь полное право на эксклюзивность, и она вся твоя, в этом я клянусь. На сегодня все, но на будущее у нас останется еще один вопрос.

Это вопрос брака, сказала она, приглушая голос до самой соблазнительной хрипотцы. Если я стану женой, я получу и статус, и честь. Это я могу полностью и по-настоящему иметь, только если буду женой. До той поры, да, я буду счастлива, я буду самой верной, но мне дорога моя честь. Ты понимаешь. Разумеется. Ты самый понимающий мужчина, какого я встречала в жизни.

10

Повторюсь: я увяз уже слишком глубоко, чтобы теперь останавливаться. Придется идти дальше, продолжать подсматривать, совать монетки в киноавтомат. Да: в моем воображении это теперь фильм. Широкоэкранный и черно-белый.

Три сына Нерона Голдена, Петя, Апу *и* Д, *двое из них существенно старше новой любовницы отца, а третий всего на четыре года ее моложе — все они в растерянности. Несмотря на все их различия и разногласия, это дело семейное, и они собрались обсудить ситуацию, но никак не могут выработать какую-то стратегию. Они сошлись подальше от снятых в аренду апартаментов, плотной группой на маленьком пляже острова. Пляж пустовал из-за холодной не по сезону погоды: низкая температура воздуха, сильный ветер, набегающие тучи, угроза, вскоре сбывшаяся, пронизывающего ледяного дождя. В шляпах, пальто, с муфтами они выглядели будто чешские интеллектуалы-заговорщики на морском берегу*

Богемии[40]*, за которыми, словно за поездами, ведется плотное наблюдение. Хотя двое старших хмурились,* Рийя З. *явилась вместе с Д, она льнет к нему так, словно опасается, что иначе ее снесет ветром.* Рийя — *ровесница Василисы.* Д *это вычислил, но вслух не упоминает.*

Камера наезжает чрезвычайно близко, пока они молчат, но в те минуты, когда мы слышим их голоса, переключается на панорамные кадры.

Петя

(*выражает свои опасения теоретически, в присущей ему неуклюжей и неумолимой манере*):

Главная проблема в жизни великого человека — выбор между правильными поступками и тем, что ему желанно. Авраам Линкольн, выдающийся борец, любивший славную схватку, наверное, предпочел бы проводить время на матах, а не вступать в войну, сгубившую примерно два процента населения, округленно шестьсот двадцать тысяч человек, но это был правильный путь. И конечно же, Мария Кюри предпочла бы проводить время с дочерью, а не получить смертельную дозу радиации, но сами знаете, какой она сделала

---

[40] Примечания: 40

Морской берег Богемии, т. е. Чехии, не имеющей выхода к морю — знаменитая ошибка Шекспира.

выбор. Или взять Махатму Ганди, в молодости он щеголял в английских шитых на заказ костюмах, куда изящнее, чем набедренная повязка. Но набедренная повязка, в политическом смысле…

Апу
(*перебивая затянувшееся перечисление*):

Так что очевидно, что нашему отцу следовало сделать лучший выбор, чем увиваться за какой-то русской, не хочу произносить это слово, какой-то русской гимнасткой.

Камера кружит, наезжая все ближе, нарезает круги над стоящими на сдуваемом ветром песке, висит у них над головой, словно дрон-разведчик.

Д:

Он женится на ней. Таков ее план. Она его не выпустит, а он не может устоять.

Петя:

Брак повлечет за собой множество юридических осложнений. Возникнет вопрос о том, кто является ближайшим родственником, также вопрос о душеприказчиках и в целом вопрос о завещании. Также пока сохраняется неопределенность относительно места бракосочетания,

а законы Флориды и штата Нью-Йорк не во всем совпадают.

Апу:

Наш отец не дурак. Пусть сейчас он ею одурачен, но во всем существенном он не глуп. Он всю жизнь заключал сделки. Он, несомненно, учтет все преимущества железобетонного добрачного договора.

Петя
(*Голос его переходит в вой, вторя разгулявшемуся ветру*):

Кто же заговорит с ним об этом?

(Пауза)

Я не могу.

(Пауза)

Ему это не понравится.

Апу:

Мы должны сделать это все вместе.

Д
(*пожимает плечами, начинает движение прочь*):

Мне плевать на деньги. Пусть старик делает все, что хочет.

Рийя *тоже собирается уходить.*

Рийя
(*предельно крупным планом, обращаясь к* Апу *и* Пете):

Вы не думаете, что она сумеет сделать его счастливым? И что в ее сердце в самом деле найдется любовь к нему? Но даже если она симулирует, это все-таки может быть хорошо. Все во благо, что в целом уменьшает сумму всеобщего несчастья или несправедливости или того и другого. Итак, если она смягчит его несчастность, хотя бы на краткое время, хотя бы обманом, мы должны считать это благом.

Я вижу, какую жизнь он устроил для всех вас. Он словно огромная крыша, под которой вы укрываетесь. Стоит сделать шаг прочь, и вас всех застигнет буря, но пока он с вами. Он с вами до тех пор, пока не уйдет от вас. Но он же не только дом, где вы живете. Он мужчина, у него есть потребности — желать и вызывать желание. С какой стати отказывать ему в этом? Или вы думаете, что с возрастом желания исчезают? Позвольте вас уверить: неважно, сколько тебе лет. Это не

может прекратиться.

Петя
(*повторяет пристыженно, печально скользя под начавшимся дождем*):

Не может прекратиться, не может прекратиться, не может прекратиться не может прекратиться не может прекратиться не может прекратиться не может прекратиться не может прекратиться не может прекратиться не может прекратиться не может прекратиться не может прекратиться не может прекратиться не может прекратиться не может прекратиться…

Обрушивается ливень. Линзы камеры в крупных каплях воды. Размывается в белый свет.

11

А вот лучшая подруга Василисы и ее личный тренер по фитнесу, и зовут ее, скажем, Маша. Маша маленькая, ниже ростом, чем Василиса, но очень сильная. Она лесбиянка и, разумеется, блондинка. Маша хочет сниматься в кино. Услышав это, Нерон Голден замечает: “Дорогуша, у тебя для этой профессии правильные пропорции, вот только жить надо на другом берегу”.

Старик продлил пребывание на острове, и его семья и свита остались с ним, однако произошла перетасовка. Василиса переехала в апартаменты Нерона, прихватив с собой подругу-тренера, а всех остальных разместили в других местах. Недовольны все, кроме Нерона, Василисы и Маши. В тот вечер, когда дамы переехали, Нерон повез их ужинать. На острове есть места с неплохим меню, однако Нерон желал самого лучшего, а самое лучшее — это сесть в спортивный “бентли”, рядом на переднем сиденье Василиса, Маша клубочком на заднем, перебраться на пароме на другой берег и добраться до знаменитого итальянского ресторана, откуда он заказывал блюда, которые так и остались нетронутыми в ночь их первого

сближения. В знаменитом итальянском ресторане дамы от волнения выпили слишком много водки; Нерон, поскольку он за рулем, воздерживался. К тому времени, когда все трое вернулись на остров, дамы громко смеялись и кокетничали, что Нерона вполне устраивало. В апартаментах он и сам накатил водки рюмку-другую. Но потом все пошло как-то странно. Тренерша склонилась над Василисой Прекрасной и поцеловала ее в губы. И Василиса ответила на поцелуй. А дальше — полная тишина, дамы обнимаются, Нерон Голден сидит в кресле, наблюдает, без малейшего возбуждения — шокированный, чувствует себя дураком, тем более когда дамы, словно его не замечая, встают. Выключают в гостиной свет, как будто Нерона тут нет, уходят в спальню — в его спальню! — и закрывают за собой дверь.

Когда они скрылись, ярость Нерона вспыхнула прежде всего из-за той небрежности, с какой они выключили свет. В его доме! В его присутствии! Словно он никто и ничто! Гнев раскрыл ему глаза на совершенную им чудовищную ошибку: он видит, что он — поддавшийся иллюзии старик, и его гордость возмущается и требует немедленно стать снова самим собой, тем, кто обладает властью, стать финансовым титаном, былым

магнатом стали и строительства, главой семейства, колоссом, высящимся в просторном дворе Золотого дома, королем ныне и вовеки. Он встает и, не колеблясь, идет к выходу из апартаментов, предоставив двум женщинам в спальне заниматься, чем вздумают.

У двери тесная кладовка, и там на полке над плащами и пальто лежит небольшой кожаный чемоданчик. Старик всегда помнил об изменчивости вещей, он знал: пусть сейчас у тебя под ногами твердая земля, в любой момент она может обратиться в зыбучие пески и поглотить тебя. Всегда будь наготове. Он заранее приготовился к великому переезду из Бомбея в Нью-Йорк, и теперь вполне готов к переезду поменьше. Он снимает с полки чемодан с вещами первой необходимости, убеждается, что ключи от других апартаментов у него в кармане, где им следует быть, и тихо выходит. Не хлопает дверью. Ему известно, что в соседних апартаментах, где расположились Петя и часть помощников, имеется маленькая комната для прислуги, никем не занятая. Прямо сейчас Нерон обойдется без роскоши. Ему нужна только дверь, которую можно закрыть за собой, и кровать за этой дверью, этого достаточно. Утром он разберется с тем, с чем нужно

разобраться, тогда все его силы будут при нем. Голова вновь возьмет на себя управление сердцем. Он входит в комнату служанки, снимает пиджак, галстук и ботинки, с остальным не возится, быстро засыпает.

Он ее недооценил. Неверно оценил и собственную уязвимость, и ее решимость. Под его силой скрывается одиночество, и Василиса чует это, как охотничий пес чует подраненную добычу. Одиночество — слабость, а в теле Василисы Прекрасной обитает Баба-Яга. Захочет — проглотит Нерона целиком. Может проглотить его прямо сейчас.

— Ты не спишь? О, дорогой мой, мне так жаль. Мне так стыдно! Я напилась. Прости меня! Я очень плохо переношу алкоголь. Мне так жаль! Я всегда знала, что она вроде как запала на меня, только такого я не ожидала. Я отослала ее прочь, мы никогда больше ее не увидим, клянусь тебе, ее больше нет в моей жизни, ее больше не существует. Умоляю, прости меня. Я люблю тебя, прости меня только один разочек, пожалуйста, тебе никогда больше не придется меня прощать. Я отблагодарю тебя на сотню ладов, вот увидишь, каждый день я только о том и буду думать, чтобы помочь тебе забыть и простить. Я напилась, вот мне и стало немножко любопытно, мне женщи-

ны даже и не нравятся, я не таковская, мне это вовсе не понравилось, я сразу же отключилась и уснула, а когда проснулась, конечно, я была в ужасе, боже мой, что я наделала, как обошлась с человеком, который ко мне так добр, я извиняюсь от всего сердца, я целую твои ноги, омываю твои ноги слезами и утираю их своими волосами, я ведь думала, на секунду я подумала, что это может тебя возбудить, это была глупость, глупость, вызванная водкой, я так виновата, когда напиваюсь, становлюсь немного безответственной, немного распущенной, поэтому я никогда больше не стану пить, разве что ты сам этого захочешь, захочешь, чтобы я стала чуточку безответственной и распущенной в твоих объятиях, тогда для меня будет величайшим удовольствием доставить тебе такое удовольствие, прости меня, прими мой стыд и мое смиренное покаяние, где ты, позволь мне прийти к тебе. Позволь мне прийти на одну только минуточку, извиниться перед тобой лицом к лицу, и тогда, если ты велишь мне уйти, я уйду. Я это заслужила, я знаю, только не вели мне уходить, не дав и шанса сказать тебе лицом к лицу вот это, прости меня, я поступила дурно, очень дурно, только я была пьяна, и я прошу тебя, посмотри, как я стою перед тобой, пристыженная,

может быть, ты найдешь в своем сердце силы простить меня, увидеть во мне всю мою любовь, всю благодарность, всю любовь к тебе и ради них ты, может быть, впустишь меня, ты не захлопнешь передо мной дверь, ты увидишь правду в моих глазах и простишь меня, а если нет, у меня нет права, я склоню голову и уйду, и ты никогда больше не увидишь меня, никогда больше не увидишь мой обнаженный стыд, не увидишь, как мое тело трепещет в рыданиях перед тобой, никогда больше не увидишь меня, я никогда больше не посмею прикоснуться к тебе, столько всего никогда больше, столько всего никогда не повторится, если ты прогонишь меня прочь, я уйду, но может быть, ведь ты великий человек, ты позволишь мне остаться, только великий человек может простить, а это было ничто, ошибка, глупость, ты, может быть, увидишь это и позволишь мне остаться, только позволь мне прийти. Я приду к тебе сейчас, прямо в том виде, как сейчас, где бы ты ни был, если ты захочешь, чтобы я нагая стояла на коленях у твоих дверей, я сделаю это, что угодно сделаю, все, только позволь мне прийти, где же ты, позволь мне только прийти.

Решающий момент. Он мог повесить трубку, списать убытки и освободиться. Он видел, кто

она есть, маска соскользнула, и она показала свое настоящее лицо, и все ее слова не могут сделать так, чтобы он развидел увиденное, перестал чувствовать то, что почувствовал, когда они выключили свет и направились в его спальню — в его спальню! — и закрыли за собой дверь. Он может покинуть ее.

Она поставила все на свой единственный шанс: он захочет развидеть увиденное, забыть то чувство. Он захочет включить свет, открыть дверь спальни и застать ее там — в одиночестве, в ожидании. Он сам расскажет себе эту сказку, сказку о подлинной любви, и сам в эту сказку войдет.

Он не повесил трубку, он слушал. Он вернулся в те апартаменты, где она ждала. И разумеется, она принесла ему извинения многими способами, и способы эти были ему приятны, однако это все лишь на поверхности. Под лаком — истина: женщина почуяла, что отныне ее власть, поняла, что теперь в их отношениях она всегда будет сильнейшей, и он ничего с этим не поделает.

La Belle Dame sans Merci завладела тобой.

Монолог В. Арсеньевой о любви и нужде

Право, я не требую сочувствия к моему нищему детству. Лишь те, кто никогда не был беден, ищут в бедности нечто достойное симпатии, и к этой

глупости у меня ничего, кроме презрения, нет. Я не стану расписывать тяготы моего семейства, хотя их было немало. Проблема с едой, и проблема с одеждой, и проблема с отоплением, зато никогда не было недостатка в водке для моего отца, я бы сказала, ее было более чем достаточно. Я была маленькой, когда мы переехали в Норильск поблизости от бывшего лагеря Норильлаг — лагерь, разумеется, закрыли чуть ли не шестьдесят лет назад, но остался город, построенный заключенными. В двенадцать лет я узнала, что этот город закрыт для всех иностранцев и выбраться из него тоже нелегко. И я много чего поняла про коммунистическую диктатуру и про то некоммунистическое угнетение, которое последовало за ней, однако не имею желания обсуждать это. Как и пьянство моего отца. Бедность отвратительна, отвратительно и неумение выбраться из нее. К счастью, я превосходила сверстниц во всем, и в спорте, и умом, поэтому я смогла уехать в Америку, и я благодарна за это, однако я знаю, что жизнь в Америке — результат моих трудов, так что благодарить особо некого. Я оставила прошлое позади, и здесь я — я сама, в этой одежде, сейчас. Прошлое — сломанный фанерный чемодан, полный фотографий тех предметов, которые я

больше не хочу видеть. И о сексуальном насилии я тоже не стану говорить, хотя и это происходило. Сначала дядюшка, потом, после развода родителей, любовник матери. Я закрываю этот чемодан. Если я посылаю деньги матери, то чтобы сказать: пожалуйста, держи этот чемодан закрытым. И за отца приходится платить теперь по счетам онкологических больниц. Я посылаю деньги, но не вступаю в отношения. Дело закрыто. Я благодарю Бога за то, что я красива, потому что это позволяет мне держать уродство подальше. Я целиком сосредоточена на будущем, сто процентов. Я сосредоточена на любви.

То, что люди называют любовью, циники именуют нуждой. Когда люди говорят “навсегда”, безлюбые циники уточняют: “В аренду на срок”. Я выше подобных низменных соображений. Я верю в доброту своего сердца и в его способность к великой любви. Нужда существует, это ясно, и ее надо удовлетворить, это предварительное условие, без которого не родится любовь. Нужно поливать почву, иначе растение не взойдет. Имея дело с великим человеком, нужно приспособиться к его величию, и он проявит великодушие, нужно заключить договор, это нормально, это, можно сказать, поливка почвы. Я реалистка, я

понимаю: сначала нужно построить дом и только потом в нем жить. Сначала построить надежный дом, потом счастливая жизнь в нем, навеки. Это мой путь. Я знаю, его сыновья боятся меня. То ли за отца страшатся, то ли за себя, но думают они только о доме, не о жизни в нем. Не думают о любви. Я строю другой дом: дом любви. Они должны это понять, но если не поймут, я все равно продолжу строительные работы. Да, они зовут его Золотым домом, но в чем смысл, если нет любви в каждой комнате, в каждом углу каждой комнаты? Золото — это любовь, а не деньги. Они никогда не нуждались, его сыновья, в чем они знали нужду? Они живут словно очарованные. В чудовищном самообмане. Говорят, что любят отца, но путают нужду с любовью. Они нуждаются в нем. Любят ли? Мне придется собрать больше фактов, прежде чем ответить на этот вопрос. Он должен получить любовь в своей жизни, пока еще может.

Этот, с ведьмой, должен бы понимать: отец — волшебник его жизни. Тот, со странной девицей, должен бы понимать: отец и есть его идентичность. И этот, с больной головой, должен бы понимать: отец — его ангел-хранитель.

Они беспокоятся из-за наследства. Им следует

понять три вещи. Во-первых, справедливо ли, чтобы после того, как я отдам этому человеку свою любовь, меня выбросили на улицу? Разумеется, нет, а значит, это следует предусмотреть, это практический вопрос. Во-вторых, я подписала договор, который он составил и дал мне, в том виде, в каком он хотел, не споря, так велика моя вера, мое любовное доверие. Итак, они все обеспечены и могут не бояться меня. В-третьих, более всего они страшатся появления брата или сестры. Боятся моей утробы. Боятся желания моей утробы наполниться. Они даже не знают, способен ли их отец снова стать отцом, но они боятся. Тут мне остается только плечами пожать. Им следует понять, что я — человек чрезвычайно дисциплинированный. Я генерал самой себя, а мое тело — пехотинец и подчиняется приказам генерала. И в данном случае я хорошо помню, что сказал он, мужчина, которого я люблю. Он выразился ясно. В его возрасте он не готов вернуться назад к началам отцовства, иметь младенца, его плач, его дерьмо, обзавестись ребенком, чье взросление ему не суждено увидеть. Так он сказал. Этот пункт есть в договоре, который я подписала. Я подписала отказ от ребенка. Я соответственно проинструктировала свое тело, свою утробу.

Не будет ребенка от этого мужчины, которого я люблю. Наша любовь — вот наше дитя. Дитя уже родилось, и мы его растим. Этого он желает, и я тоже, его желание — мое. Такова любовь. Так любовь торжествует над нуждой. Эти сыновья с их нуждой — пусть учатся любви у своего отца и у меня.

Монолог Бабы-Яги в теле Василисы Арсеньевой:

Я жду своего часа. Я сижу, я варю, я пряду, опустив глаза, я молчу и предоставляю ему говорить. Пусть себе. Я жду своего часа.

Стратегия — это все. Такова мудрость паука. Молча, молча прясть. Пусть муха жужжит. Прежде чем я съела Василису и натянула на себя ее кожу, пока я лежала на печи в избе, в избушке на курьих ножках, ждала, они приходили ко мне, становились моей едой, и в конце концов она тоже пришла — та, которую я ждала, — и я не стала ее глотать, я нырнула в нее, позволила ей меня проглотить. Неважно, как это выглядит! Я съела ее и позволила ей съесть меня. Особый пищеварительный трюк, обратный захват пожирателя пожираемым. Прощай, избушка на курьих ножках посреди леса! Прощай навеки, скверный русский дух! Теперь я надушена и красиво разо-

дета, мои глаза прячутся за ее глазами, мои зубы за ее зубами.

Все, что она делает, — фальшь, каждое слово — ложь, потому что я внутри, дергаю за веревочки, плету сеть из ее слов и дел вокруг маленькой мушки, вокруг старого дурака. Он поверил, что она в него влюблена. Ха-ха-ха! Кхе-кхе! Отлично сладилось!

Вот увидите, как я заживу! Автомобили, рестораны, меха! Никогда больше не буду летать пассажирскими самолетами! Хуже них — только летать на курьих ножках и на помеле. Плевать я хотела на пассажирские рейсы! Вот я прохожу через аэропорт словно королева. Сажусь в свой приватный джет, все вокруг стараются подольститься, угодить мне, хлопочут, чтобы мне было удобно, хорошо, весело. А как мягка моя постель, какие у меня появились тренажеры. И новый персональный тренер. Никакого секса! Будь бдительна! Еле пронесло.

В традиционном мире известно, что женщине метаморфоза дается проще, чем мужчине. Женщина уходит из отцовского дома, снимает с себя отцовское имя, как старую кожу, надевает вместе со свадебным платьем новое имя — своего супруга. Ее тело тоже меняется, получает способность

вмещать, а затем исторгать другие тела. Может быть, жизнь женщины в таких метаморфозах и обретает смысл в том, чтобы поглощать и исторгать — для мужчины все иначе. Отказавшись от прошлого, мужчина утрачивает смысл. Что же делают эти Голдены, бежавшие в бессмыслицу, ищущие прибежища в абсурде? Чья власть оказалась настолько мощной, что погнала их прочь от значимой жизни? Теперь они — посмешище. Изгнанник — пустой человек, пытающийся вновь наполниться человеческой силой, призрак в поисках утраченных костей и плоти, корабль без якоря. Такие мужчины — легкая добыча.

— Что? Что этот дурачок говорит, младший сын? “Настало время множества метаморфоз, множества гендеров, мир сложнее, чем ты думаешь, Костяная Нога, Спайдервумен!” Это ли он пытается мне сказать, злобно поглядывая и цепляясь за руку своей любовницы в стиле *Nouvelle Vague*[41]? Посмотрим, сладенький. Посмотрим, как дело обернется и кто будет смеяться последним, кто закурит сигарету, глядя на конец света. Ты — Дионис, ты, признаю, со странностями,

[41] Примечания: 41

Французская музыкальная группа, в названии обыгрываются два значения французского слова *vague* — “волна” (группа переосмысляет тренд “новой волны”) и “смутный, расплывчатый”.

зато я — Баба-Яга, самая странная и страшная из сестер. Баба-Яга, злая колдунья, я удерживаю этот голос глубоко внутри, так глубоко, что она, я, может себя убедить, будто его и не слышит, будто это не ее самый доподлинный голос. На уровне кожи, языка, говорит другой голос, она рассказывает себе другую историю, в которой она добродетельна и ее дела оправданы, и по абсолютным моральным стандартам, и эмпирически, тем, что происходит вокруг. Оправданы им, стариком, королем в Золотом доме, тем, кто он, как обращается с ней, каковы его вины. Но есть и этот глубокий голос, он говорит свое, повелевает ею на глубочайшем уровне, там, где молекулы инструкций вплетаются в четыре спиральные аминокислоты ее существа, моего существа. Вот кто я-она. Вот кто она-я.

12

Младшему из Голденов трудно было отказаться от привычного одиночества. Он был одинок от рождения, лишнее дитя, плод незаконной связи, отчасти принятый, отчасти же отвергаемый в тех больших особняках, которые вынужден был считать своим домом — сначала в Бомбее, потом в Нью-Йорке. Даже в огромной толпе он оставался одиноким, но теперь, когда рядом с ним оказалась Рийя, Д испытывал чувства, которые поначалу и назвать-то не умел. Потом слова пришли: совместность, дружество. Он сделался половинкой единого целого. Слово “любовь” казалось на его устах и на языке чуждым, словно паразит с иной планеты, но, будь то хоть пришелец с Марса, это слово все же проникло в его рот и пустило там корни. “Я влюблен”, говорил он своему отражению в зеркале ванной, и ему казалось, что отражение, вторившее его словам, на самом деле принадлежит кому-то другому, неведомому. И он становится этим другим, думал Д, неведомым самому себе. Любовь начала пробуждать в нем те силы, которые вскоре преобразуют его целиком и безвозвратно. Эта информация отложилась в

мыслях молодого человека, и идея *неизбежного превращения* стала уже менять что-то в его мозгу, подобно тому как слово “любовь” влияло на его речь. Но пока он подавлял в себе это знание.

Он первым съехал из дома на Макдугал-стрит.

— Пусть старик делает, что хочет, — сказал он братьям еще тогда, во Флориде, но это вовсе не подразумевало, что Д будет сидеть и на это смотреть.

В один прекрасный день Василиса Арсеньева явилась с огромным количеством багажа (так что, видимо, Нерон Голден был не первым ее благодетелем). Очевидно, первоначальный договор, подразумевавший раздельное проживание, она уже переросла. Вскоре после этого младший сын Нерона в свою очередь упаковал чемоданы и перебрался в Чайнатаун, где Рийя нашла для них обоих маленькую чистенькую квартирку в доме без лифта, в розовом, оттенка лососины, здании, оконные рамы сверкали ярко-желтой краской. Под ними на втором этаже располагалась Мадам Джордж Таро Хрустальный Шар Гороскоп Предсказания Будущего, а в цоколе размещалась “Ран-Ран Трейдинг инк.” с развешанными повсюду утками и зонтиками в голубую и розовую полоску, прикрывавшими подносы с товаром.

Свирепая владелица магазина миссис Ран, которой принадлежал также весь дом, отвергала просьбы сменить в вестибюле перегоревшие лампочки или усилить отопление, когда становилось холодно. Рийя сразу же вступила в бой с миссис Ран, однако от квартирки отказываться не желала, потому что из окна гостиной можно было выйти прямо на плоскую крышу соседнего здания: в солнечные дни они поднимали окно и выбирались наружу, и у них появлялся словно собственный дворик в небесах.

Они стали одеваться очень похоже, зимой затягивались в кожу, как байкеры, плюс кепки “брандо” и темные очки, и порой он под очками наносил размазанную тушь, как и она, и незнакомые люди принимали их за близнецов: оба бледные, хрупкие с виду, словно беженцы из одного и того же артхаусного фильма. Весной она, а значит, и он, подстригали волосы коротким ежиком, и она, словно готическая вариация Моро, усаживалась на крыше с большой акустической гитарой и пела песнь их любви: *‘Elle avait des yeux, des yeux d’opale / qui me fascinaient, qui me fascinaient,* — из угла ее рта свисала сигарета. — *Chacun pour soi est reparti /Dans le tourbillon*

de la vie..[42]»

Ибо их отношения развивались таким путем — во что-то, полное любви, но и колющее, раздробленное, и в этом была его вина, говорила она, ведь она сама целиком вошла в отношения, с самого начала, она такой человек, все или ничего, а он застрял в промежутке.

— Да, я люблю тебя, потому и живем мы вместе, но я тебе не принадлежу, твоя семья умеет завладевать вещами и людьми, но я не собственность, и ты должен осознавать мою свободу. К тому же есть немало важных вещей, которые ты пока не рассказал мне, а мне надо их знать.

Когда она говорила так, у него кружилась голова, словно весь мир разлетался на части, а он очень боялся, как бы мир не разбился, боялся последствий для себя, песня правду говорила, жизнь — вихрь, *un tourbillon.* Он все ей сказал, жалобно возражал он, выложил все семейные секреты, словно дитя на первом причастии.

— Я даже не знаю, зачем согласился проделать то, чего требовал наш старик, — говорил он. — Уехать оттуда, приехать сюда, сменить имя, все это. Я даже не знаю, кто моя мать, она просто исчезла,

---

[42] Примечания: 42

Ее глаза, глаза опаловые, меня чаруют, чаруют меня… Каждый сам по себе бросился вновь в вихрь жизни. (*франц.*)

словно он убил ее много лет назад. Или словно ее убил босс Компании З.

— Что такое Компания З.?

— Мафия, — ответил он. — З. — крестный отец, Замзама Аланкар. Да и это имя ненастоящее.

Она пожала плечами.

— Ты спрашивал, зачем я держу в ящике пушку? Я тебе расскажу. Это словно скверное телешоу. Мой отец Захариассен напился и убил мою мать. Я как раз приехала домой на День благодарения. Я бежала по улице и вопила: “Помогите! Полиция!”, а он стрелял мне вслед и орал: “Я тебя найду, я тебя выслежу!” К тому времени он превратился в законченного психа. Прежде он работал пилотом в “Нортвесте”, но после слияния с “Дельтой” начались сокращения, и его уволили, у него уже тогда бывали перепады настроения. Они с мамой в свое время поселились в Мендота-Хайтс, штат Миннесота, это довольно-таки зажиточный пригород Близнецов[43], не по его заработкам. Мама рано осиротела, от родителей ей остались кое-какие деньги, и она купила дом, машину; когда я подросла, я училась в хорошей школе, но с тех пор, как отец потерял работу, им тяжело достава-

---

[43] Примечания: 43

Имеются в виду города Миннеаполис и Сен-Пол.

лось. Мне удалось закончить университет Тафтса благодаря стипендии и подработке, я устроилась тут, в Нью-Йорке, и после убийства бежала из Мендота-Хайтс и навсегда перевернула эту страницу. Только с оружием больше не расстаюсь. Он отправился в тюрьму лет так на миллион без права на помилование или условно-досрочное, и все же пушка остается при мне.

Она заиграла на гитаре песню, однако петь не стала.

— Так что моя слезовыжималка покруче твоей, — признала она. — И я могу тебе объяснить, почему ты поддержал безумный план своего отца. Ты согласился на все, потому что там, откуда ты приехал, ты не был свободен выбирать, кем ты будешь, не мог стать тем, кем должен стать.

— Кем же?

— Этого я и жду — чтобы ты рассказал мне.

К этому вопросу она возвращалась все время с тех пор, как он рассказал ей о своей мачехе, о том, как унизил ее, едва не довел до самоубийства.

— Ты любящая душа, это я вижу, — говорила она, — и никак не понимаю, почему ты опустился так низко.

— Думаю, — отвечал он, — ненависть сплачивает семью не хуже родства и любви. Когда я был

моложе, я был полон ненависти, и это привязывало меня к семье. Вот почему я так поступил.

— Этого недостаточно, — говорила она. — Тут что-то еще.

Лимузин прибыл к складу в Бушвике, где Рийе предстоит осмотреть несколько артефактов из Южной Азии, которые Музей идентичности подумывает приобрести. Д она позвала с собой, настойчиво: по меньшей мере два из этих предметов относятся к визиту Диониса в Индию, тебе это интересно. Рийя не доверяет дилеру. Ей прислали документы, подтверждающие, что эти предметы вывезены из Индии законным путем, но сами документы могли быть получены незаконно. В прежние времена, пока Индия не приняла Закон о сокровищах древности и искусства, говорит она, контрабандистам было сложнее вывозить эти самые сокровища, поскольку неясно было, кого надо подкупать. Но с 1976 года экспортерам известно, к какому инспектору следует обратиться, и все упростилось. Для музеев же возникла проблема с происхождением того, что им предлагают купить. И все же посмотреть стоит.

Картина с Дионисом в окружении пантер и тигров ее не заинтересовала. Другой предмет — мраморная чаша, на которой вырезана триум-

фальная процессия, она прекрасна, буйная толпа сатиров, нимф, животных, а во главе — божество. Посмотри, какой он женственный, говорит она. Он на самой границе между гендерами, трудно даже решить, богом называть его или богиней. Она пристально смотрит на Д, произнося эти слова, незаданный вопрос мерцает в ее глазах, и Д смущается.

Что такое, говорит он. Что это. Чего ты хочешь.

— Это несанкционированный экспорт, я практически уверена, — говорит она дилеру, возвращая чашу. — Документация недостаточно убедительна. Мы не сможем это купить.

В машине на обратном пути. Возле Манхэттенского моста движение замедлено из-за строительных работ, машины еле ползут.

— Послушай, — говорит она, — ты же не случайно ко мне пришел, ты же явился в Музей идентичности не потому, что тебе напрочь не интересно то, что мы тут исследуем. И твоя мачеха — возможно, в тебе есть нечто, что желает умереть, какая-то часть тебя не хочет больше жить, вот почему ты подтолкнул ее на самую грань смерти. Вот о чем ты должен мне рассказать. Почему ты хотел занять ее место? Какая часть тебя возжелала быть ею, быть матерью и

домохозяйкой, носить на поясе ключи, взять на себя домашние хлопоты? Почему эта потребность оказалась столь сильной, что ты решился на крайние меры? Да, я должна все это узнать. Но прежде всего ты сам должен узнать это о себе.

— Выпусти меня из машины! — требует он. — Останови чертову тачку.

— В самом деле? — переспрашивает она, не повышая голоса. — Ты хочешь выйти из машины?

— Останови проклятую тачку, мать ее перемать.

Потом он обнаружил, что ему очень трудно припомнить ту схватку, осталось лишь ощущение, вызванное словами Рийи, взрыв в мозгу, туман перед глазами, оглушительное сердцебиение, потрясение, спровоцированное до очевидности абсурдными утверждениями, оскорбительной ошибочностью нападок. Он хотел воззвать к всемогущему судии, уличить ее вину, но око небес не следило за ними, ангел не записывал их речи, не с кем свериться. Он хотел от нее извинений. Черт побери, она обязана извиниться. Долго и подробно пусть.

Он вернулся в дом на Макдугал-стрит в ярости, ничего никому не говорил. Облаченный гневом, все предпочитали держаться от него подальше.

Четыре дня он и Рийя не разговаривали друг с другом. На пятый день она позвонила как взрослый и сознательный человек.

— Возвращайся домой. Мне нужна компания в постели. Я жду ЗЗЗЗ-Компанию.

Он расхохотался, просто не мог удержаться, и тогда уже стало нетрудно сказать: прости, прости, прости.

— Об этом мы поговорим, — сказала она.

Она сидела на полу, читая книгу. В своей квартире в Чайнатауне она держала на маленькой полке семь книг, и знаменитые — Хуана Рульфо, Эльзы Моранте, Анны Ахматовой, — и не столь возвышенные, "Зеленые яйца и ветчина", "Сумерки", "Молчание ягнят", "Охота за «Красным Октябрем»". На этот раз она выбрала Ахматову:

Услышишь гром и вспомнишь обо мне,
Подумаешь: она грозы желала…
Полоска неба будет твердо-алой,
А сердце будет как тогда – в огне.

— Когда я заканчиваю книгу, — сказала она, — книга тоже заканчивает меня и движется дальше. Я оставляю ее на скамейке в парке Колумба. Может быть, китайцы, играющие в карты или го,

не захотят мою книгу, ностальгические китайцы, скорбно склоняющиеся перед статуей Сунь Ят-сена, зато парочка, вышедшая из мэрии, с брачным свидетельством в руках и звездами перед глазами, побродившая минутку среди велосипедистов и детей, улыбаясь при мысли, что теперь их любовь сертифицирована — я представляю, как эти люди могут обрадоваться при виде книги, принять ее, словно подарок от города в этот знаменательный для них день, и книга тоже примет их. Вначале я просто раздавала книги. Как только у меня появлялась новая, я отдавала старую. Всегда у себя держала ровно семь. Но потом я увидела, что там, где я оставила свою книгу, другие люди тоже оставляют книги, и я подумала: а эти для меня. Теперь я пополняю свою библиотеку случайными дарами неведомых чужаков и никогда не знаю, какую книгу буду читать следующей. Я жду, пока одинокая книга не окликнет меня: стой, читатель, ты — мой. Я больше не выбираю свое чтение. Я блуждаю среди брошенных городом сюжетов.

Он стоял в дверях, раскаивающийся, не знал, куда себя девать. Она говорила, не поднимая глаз от страницы. Он сел рядом с ней, прижался спиной к стене. Она подалась к нему, самую малость, они

соприкоснулись плечами. Она сидела, скрестив руки, обнимая свои плечи. Вытянув один палец, она коснулась его руки.

— Если бы ты курил сигареты, — сказала она, — у нас было бы что-то общее.

Снято.

— Следующий день, — говорит он. Это следующий день, в настоящем времени. — Вот мы на следующий день, — говорит он. — Завтра, один из двух немыслимых дней. Вот мы тут, и это завтра.

— Я свободная душа, — презрительно кривит она рот, *ничего особенного,* говорит ее гримаса. — А ты весь в цепях. У тебя есть внутренний голос, к которому ты не прислушиваешься, в тебе кипят подавленные эмоции, ты игнорируешь смущающие тебя сны.

— Я не вижу снов, — возражает он. — Разве что на другом языке, цветные, в техниколоре, но это мирные сны. Катятся волны, высятся величественные Гималаи, мать улыбается мне — и еще зеленоглазые тигры.

— Я же слышу, — говорит она, — когда ты храпишь, ты часто воешь, но не волком, а словно выпь. Кто-кто-кто — кричишь ты. Вопрос, на который у тебя нет ответа.

Они прогуливаются по Бауэри, строительные работы рвут в клочья тротуар и мостовую вокруг. Загромыхал отбойный молоток, и они больше не слышат друг друга. Он оборачивается к ней, двигает губами, на самом деле ничего не говорит, просто открывает и закрывает рот. Молоток на миг смолкает.

— Вот мой ответ, — говорит он.

Снято.

Они занимаются любовью. Все еще завтра, все еще день, но они оба этого хотят и не видят причины ждать темноты. Тем не менее оба закрывают глаза. В сексе много граней одиночества, даже если рядом другой человек, кого ты любишь и хочешь порадовать. И нет необходимости видеть друг друга, когда любовники хорошо освоили предпочитаемые приемы. Их тела уже изучили друг друга, каждый старается двигаться так, чтобы соответствовать естественному ритму другого. Губы сами находят друг друга. Руки знают свое дело. Нет острых углов: занятие любовью стало для них плавным и гладким.

Чаще всего они сталкиваются с одной и той же проблемой. У него не получается достичь эрекции, в особенности — ее удержать. Рийя

бесконечно привлекает его, он повторяет это снова и снова после каждой неудачи, каждого падения, и она принимает это и обнимает его. Иногда ему удается на миг скрепиться, войти в нее, но в самый момент пенетрации пенис вновь обмякает и бессильно сминается об ее половые губы. Но все это не так важно, потому что они придумали множество других способов достичь кульминации. Он так сильно ее привлекал, что при первом же прикосновении она возбуждалась, и так, ласками и поцелуями, пуская в ход вторичные органы (руки, губы, язык), он доводил ее до оргазма, и вскоре она смеялась, счастливая, изнуренная. Ему передавалось ее наслаждение, и зачастую даже не требовалась эякуляция. Он удовлетворялся тем, что удовлетворял ее. Со временем они осмелели, они позволяли себе эксперименты, и это опять-таки было очень приятно обоим. Она думала, но не говорила вслух, что обычная беда юношей — они мгновенно и многократно твердеют, однако им недостает терпения, самоконтроля и должной обходительности: через две минуты уже обессиливают. А эти долгие часы любви намного, намного приятнее. Вслух же она говорит (хорошенько подумав перед тем, как это произнести): мы словно две женщины. Так без-

опасно себя чувствуем оба, так полно себя отдаем — второе было бы невозможно без первого.

Ну вот. Она это произнесла. Теперь все в открытую. Он лежит на спине. Смотрит в потолок. Долгое время не отвечает. Потом:

— Ага, — произносит он.

И снова долгое молчание.

Что “ага”, тихо спрашивает она, ее рука на его груди, пальцы ласкают его кожу.

— Ага, — повторят он. — Я думаю об этом. Все время об этом думаю.

Флэшбек. Круговое вытеснение.

В тот год Майкл Джексон выступал в Бомбее. В Мумбаи. В *Бомбее*. Телевизионные новости: мужчины в розовых и шафрановых тюрбанах собираются в аэропорту, неистово дергаются под музыку *доли.* В зале прибытия натянут огромный матерчатый транспарант: НАМАСТЕ МАЙКЛ НАМАСТЕ ОТ РУКОВОДСТВА АЭРОПОРТОВ ИНДИИ. Джексон в черной шляпе и красном блейзере с золотыми пуговицами хлопает, ободряя танцоров. “Индия — моя особая любовь, — говорит он. — Пусть всегда будет на тебе благословение Божье”. Парнишка Д двенадцати лет от роду в своей комнате смотрит новости, репетирует лун-

ную походку, губами вторит словам знаменитых песен, все выучил наизусть, на сто процентов. Великий день! А на следующее утро водитель повез его в школу. Они спустились с горы на Марин-драйв и около Чоупатти-бич попали в пробку. И внезапно вот он, Джексон собственной персоной, прогуливается между застывшими автомобилями. Божемой божемой божемой божемой божемой. Но нет, конечно, это не Майкл Джексон. Это хиджра. Хиджра, похожий на увеличившегося в росте Майкла Джексона, в такой же черной шляпе и красном блейзере с золотыми пуговицами. Дешевая имитация. Как посмел! Сними это. Это не твое. Правой рукой хиджра касался полей шляпы, он стремительно вращался, левой рукой держась за его-ее-этого пах. Старенький бумбокс играл “*Bad*”, хиджра с белым гримом и красной помадой на лице подпевал. Отвратительно. Неотразимо. Чудовищно. Как такое позволяют. Вот хиджра поравнялся с автомобилем, его окном, молодой милорд едет в кафедральную школу, потанцуй со мной, юный мистер, потанцуй со мной. Орет в закрытое окно, прижимая красные губы к стеклу.

— *Hato, hato,* — восклицает шофер и машет рукой. — Прочь!

Хиджра смеется пронзительным презрительным фальцетом и уходит прочь, в сторону солнца.

Круговое вытеснение.

Когда ты показала мне статую Ардханаришвары, я вскрикнул: С острова Элефанта! — и заткнулся. Но да, я знаю его-ее, издавна. Это слияние Шивы и Шакти, сил бытия и действия индуистского бога, огня и жара — в теле единого двуполого божества. Ардха — половина, нари — женщина, ишвара — бог. Одна сторона мужская, другая женская. Я думал о нем-ней с детства. Но после встречи с хиджрой я испугался.

Все побаиваются хиджр, чувствуют легкое к ним отвращение, и я тоже. Но вместе с тем я ощущал, как они притягивали меня, и это меня пугало. Какое отношение имеют ко мне эти женомужчины? Все, что я слышал о них, приводило в содрогание. Особенно *Операция.* Они так и называли это — *Operation,* по-английски. Использовали алкоголь или опиум, но обходились без наркоза. Совершали это дело другие хиджры, не врач, обвязывали веревкой гениталии, чтобы резать ровно, а потом — удар длинного кривого ножа. Ждали, пока стечет кровь, и прижигали

кипящим маслом. В следующие дни, пока рана заживает, уретру постоянно раскрывают силой, чтобы не дать ей зарасти. В итоге образуется грубый шрам, похожий на вагину и такого же назначения. Ко мне это какое имеет отношение, никакого, я вовсе не влюблен в свои гениталии, но такое, такое, уф.

Что ты сейчас сказал? — перебивает она. — Не влюблен в свои гениталии?

Я не сказал этого. Я не это сказал.

Снято.

Рийя сидит на полу, читает книгу. “Согласно священным поэмам шиваизма Шива — Аммам-Аппар. Мать и отец воедино. Говорят, Брама создал человечество, превратившись в два существа, первого мужчину Сваямбхуву Ману и первую женщину Сатарупу. Индия всегда признавала андрогинов, мужчину в женском теле, женщину в мужском”.

Д в сильном возбуждении бродит от белой стены к белой стене, хлопает ладонью по стене, когда до нее доходит, разворачивается. Идет обратно, доходит до стены, хлопает, разворачивается, идет, доходит, хлопает. Не понимаю, что ты пытаешься сделать из меня. Работа в музее

забила тебе голову. Я тот, кто я есть, а не кто-то другой. Я это я.

Рийя не поднимает головы, читает вслух.

“Хиджры обычно не остаются жить в родных местах. Вероятно, основная причина переселения — неодобрение и отвержение, с каким они сталкиваются в семье. Обретя себя заново как человека, отвергнутого своей прежней семьей, хиджра обычно уносит свою новую идентичность в новые места, где вокруг него складывается и интегрирует его в себя новая семья”.

— Хватит! — кричит он. — Я не готов это слушать. Хочешь затащить меня в канаву? Я — младший сын Нерона Голдена. Ты поняла? Младший сын. Я не готов.

— “В детстве я подражал девочкам, и меня ругали и высмеивали за то, что я похож на девчонку”. “Я часто говорил себе, что обязан жить как мальчик, и я старался, но ничего не получалось”. “Мы тоже часть творения”.

Она оторвалась наконец от книги, захлопнула ее, поднялась на ноги и встала прямо перед ним, лицом к лицу, очень близко — его гневное, ее абсолютно бесстрастное, нейтральное.

— Знаешь что? — говорит она. — Многие из них обходятся без *Операции.* Не делают ее и никогда

не сделают. В этом нет необходимости. Главное — понимать, кто ты есть.

— Ты нашла эту книгу на скамейке в парке? — спрашивает он. — Взаправду?

Она качает головой, медленно, печально. Нет, конечно же нет.

— Я ухожу, — говорит он.

Он уходит. Снаружи, на дневной раскаленной улице, шумно, суетно, толпы народу. Чайнатаун.

13

Гигантское членистоногое. Мерзостное насекомое. Отвратительный жук.

Грегор Замза проснулся однажды утром после тревожного сна и обнаружил, что с ним произошла метаморфоза, он обратился в *ungeheuren Ungeziefer*[44]. Критики спорят, как лучше это перевести. В точности Кафка не объясняет природу этой твари. Возможно, то был огромный таракан. Уборщица приняла его за навозного жука. Сам он не вполне понимает. В любом случае, нечто ужасное, на спине панцирь, маленькие дрыгающиеся ножки. Существо, от которого все отворачиваются с омерзением: и начальник, и родня, даже любимая и любившая его прежде сестра. В конце концов остается лишь труп, который уборщица выметает и выбрасывает вместе с мусором. Вот во что и он превращается, твердил себе Д, в чудовище, противное даже самому себе.

Он бродил по городу, потерявшись в своих мрачных мыслях, и, несмотря на яркий солнечный свет, ему казалось, будто он заперт в темноте,

---

[44] Примечания: 44
Отвратительное насекомое (*нем.*).

вернее, заперт в ярком луче рампы, который выставляет его на обозрение и суд всему свету, но окружен черными испарениями, сквозь которые не различает лица судей. Лишь у порога отцовского дома он сообразил, что ноги сами привели его обратно на Макдугал-стрит. Он нашарил в кармане ключ и вошел, надеясь, что не столкнется лицом к лицу ни с кем из близких. Он не был готов к такой встрече. Не был самим собой. Если они увидят его сейчас, наверное, заметят и метаморфозу, уже искажающую его тело, и в ужасе вскрикнут: *Ungeziefer!* Он не был к этому готов.

Как странен показался ему в этот день интерьер родного дома! И не только по той очевидной причине, что любовница его отца, Василиса Арсеньева, едва переехав, занялась радикальной "модернизацией" с полной заменой всей отделки и таким образом поднялась на еще одну ступеньку, до статуса "сожительницы". На четвертом пальце ее левой руки все еще не было кольца, но трое младших Голденов были уверены: уже недолго ждать того дня, когда на этом пальце засверкает бриллиант, а после бриллианта неотвратимо появится и золотой ободок. Вела она себя уже вполне собственнически. Весь дом перекрашивался в модный перламутрово-серый цвет, все

старое заменялось или уже было заменено чем-то новым, хай-эндом — мебель, ковры, предметы искусства, настольные лампы и потолочные светильники, пепельницы и рамы картин. Д заранее попросил не трогать его комнату, и Василиса уважила просьбу, так что хотя бы тут все оставалось знакомым. Но он понимал, что странность не в этом переделанном доме, а в нем самом. Если, пока он шел через холл и дальше вверх по ступенькам, на него снизошло ожидание беды — все изменится, и эта перемена завершится катастрофой, — то источником дурного предчувствия была не перламутровая краска и не гарнитур кресел и кушеток в серебристом велюре, предвестие не висело среди штор свежеотделанной гостиной, не сияло в новой люстре посреди столовой, не мерцало в новых газовых каминах, чей огонь зимой нагреет гряду камешков и те засверкают супермодной иллюминацией. Правда, эта обновленная обстановка уничтожила привычный, обжитой мир, который Нерон Голден создал для себя и сыновей, как только они сюда перебрались. Новизна была одержима пугающей инаковостью эрзаца — более ранняя версия, пусть и сама служила имитацией жизни, хотя бы этого сумела как-то избежать. Но нет! Не в доме заключалась

главная причина. Перемена совершалась в нем самом. Он сам был той тьмой, которую ощущал вокруг себя, он был той силой, что заставила стены сдвинуться ближе, потолок опуститься, как в фильме ужасов, породила стесненность и клаустрофобию. По правде говоря, дом стал намного светлее прежнего — это в Д нарастала тьма.

Он бежал от того, к чему, как он сам видел, все время неуклонно приближался. Он знал, что нечто надвигается, но из этого не следует, что он сам так хотел. Он ненавидел надвигавшееся, но не мог уйти от реальности, и внутренний конфликт вызвал ту бурю, что бушевала теперь вокруг него. Он хотел скрыться в своей комнате и захлопнуть дверь. Хотел исчезнуть.

Когда я представляю себе Д в тот критический час, я вспоминаю слова Теодора Адорно: “Высшая форма морали — не чувствовать себя уютно в своем доме”. Да, ощутить некомфортабельность комфорта, тяготиться легкостью, подвергать сомнению все то, что обычно и охотно принимается как само собой разумеющееся, превратить себя в вызов всему тому, что для большинства людей — пространство, где они чувствуют себя в безопасности от всякого вызова. Да! Этика, дошедшая до такого предела, где ее пора уже

назвать героизмом. В тот час “домом” Д Голдена был даже не отцовский дом, а нечто еще более близкое — его собственное тело. Он не вмещался в собственную кожу, интенсивно переживая новую и грозную вариацию на тему конфликта разума и тела. Его нефизическая личность, разум, начал требовать того бытия, которое тело, физическая личность, отвергало, а итог — терзания и физические, и душевные.

Золотой дом затих. Д постоял мгновение на втором этаже, перед отцовскими апартаментами. Эта дверь была закрыта, но соседняя дверь, за которой раньше была запасная спальня, а теперь гардеробная Василисы Арсеньевой, была распахнута, в лучах вечернего света переливались блестящие платья, множество полок были заполнены обувью с агрессивными шпильками. Это будет для меня проблема, проникли в его сознание слова с какого-то неведомого корабля-матки, зависшего за пределами атмосферы, за линией Кармана, твои педали колоссальны, от тебя никакого толка, твои стопы чересчур велики, ненавижу тебя, твои ноги так велики[45]. Да, Фэтс Уоллер, что ты говоришь. А теперь эти большие

[45] Примечания: 45
Цитируется песня “Твои ноги чересчур велики” Фэтса Уоллера.

стопы его повели, по собственной воле, прямо в центр комнаты, где запах пачулей сильнее, чем где-либо в доме, запах, который она принесла сюда, чтобы изгнать все прежние запахи, она, Василиса Арсеньева, молчаливая и высокомерная, словно кошка, оставляла свою метку всюду, где пройдет. И вот его руки тянутся к этим платьям, он зарывается лицом в пахучие блестки, вдох-выдох-вдох. Темнота вокруг отступает, комната наполняется светом, может быть, даже счастьем.

Как долго он там пробыл? Понятия не имел, столько эмоций стеснилось в груди, душа обратилась в вихрь смятения, и все же это было так прекрасно, прикосновение тончайшей ткани к щеке, изумительное ощущение — чего? — *гламура*, этого он не мог отрицать, как и то, что из этого следовало, что было естественным следующим шагом.

А потом Василиса встала на пороге, следя за ним.

— Могу я помочь? — спросила она.

“Могу я помочь”, таким тоном, словно это магазин, а она подозревает его в краже, так пассивно-агрессивно стояла там, так спокойно, даже улыбаясь слегка, не вздумайте относиться ко мне свысока, леди, “могу я помочь”, нет, вряд ли,

ладно, он в ее гардеробной, он терся лицом о ее платья, это правда, но все же это неправильный вопрос. Может быть, всего лишь лингвистическая проблема, она могла заучить эту фразу по разговорнику, не очень-то она разбирается в интонациях, когда вопрос задают таким тоном, он звучит враждебно, хотя на самом деле, может быть, кто знает, она спрашивает буквально, буквально хочет мне помочь, вот и спрашивает, не осуждает, не злится, действительно протягивает руку, чтобы помочь, не хотелось бы понять ее неверно, ситуация и без того непростая, и да, она подходит ко мне вплотную, обнимает меня и произносит еще одну фразу из разговорника: “Посмотрим, что мы сумеем сделать”.

Василиса принялась вытаскивать вещи и прикладывать к нему: “Это? Или это?” — спрашивала она и подбадривала: “Мы с тобой похожи формами. Сухощавые, так это называется?” Да, кивнул он, довольно точное слово.

— Сухощавые, сухие, — продолжала она, утвердительный ответ ее подбодрил. — Твоя мама, должно быть, была высокая и худая. Словно модель.

Он окаменел:

— Моя мать была шлюха, — сказал он и затряс-

ся. — Она продала меня моему отцу и исчезла в Шлюхостане.

— Ш-шш, — сказала Василиса. — Ш-шш, довольно. Это в другой раз. А сейчас твой лучший миг. Примерь вот это.

— Не могу. Не хочу портить твои наряды.

— Не беда. У меня их так много. Снимай рубашку, натяни вот это через голову. Сам видишь, только чуточку туговато. Что скажешь?

— А это можно попробовать?

— Да, конечно.

(Хочется оставить их на минуту, предоставить им приватность, деликатно отвести глаза, выключить мою я-сам-и-есть-камера-в-смартфоне или хотя бы отвести ее в сторону, вот площадка лестницы, вот ступеньки, ведущие вниз, в холл, где ныне, в результате переустройства, несла вахту собачка, якобы собранная из воздушных шариков, а со стены щерилась маринованная пиранья, слова любви переливались ядовито-розовым и зеленым неоном над входом, и вот парадная дверь отворяется. Входит Нерон Голден. Король вернулся в свой замок. Я смотрю ему в лицо. Он оглядывается по сторонам, недовольный. Он хочет, чтобы она вышла с ним поздороваться, где она есть, не прочла его эсэмэс? Он вешает

шляпу и трость у входа в холл и зовет.)

— Василиса!

(Вообразите, как я-камера несусь наверх, прямо в ту комнату, где Василиса и юноша в ее одежде замерли, застигнутые его окриком, и она, Василиса, смотрит на Д и понимает, что он все еще боится отца.)

— Он убьет меня. Он непременно убьет меня. Господи!

— Нет, он ни в коем случае тебя не убьет.

Она протягивает ему его обычную одежду.

— Одевайся. Я его отвлеку.

— Как?

— Приведу его наверх…

— Нет!

— В спальню. И закрою дверь. Когда услышишь сильный шум, будешь знать, что можно безопасно уйти.

— Какой шум?

— Уж конечно ты догадываешься, какой шум. Нет надобности подробно объяснять.

— О!

Она остановилась в дверях, собираясь идти к Нерону.

— И еще одно, Д!

— Что?! То есть да, прости, что?

— Может быть, я не на тысячу процентов законченная злобная стерва.

— Да! Да! Разумеется! То есть нет! Разумеется, нет.

— Я тебе помогу.

— Спасибо.

Она заговорщически улыбается. На этом я завершаю сцену, крупным планом улыбка Моны Лизы, Сфинкса.

Позже.

Он заключил мир с Рийей, терпеливой, все понимающей, и вот они сидят с Айви Мануэль в ямайском ресторанчике на углу Хаустон и Салливан, пьют опасные коктейли поздней ночью. Или вообразим иначе: трое сидят вокруг простого круглого стола в совершенно темной студии, пьют (опасные коктейли допустимы даже в лимбе), мир не существует, ничего, кроме них троих сейчас, когда они обсуждают глубокие проблемы языка и философии. (Сознательная аллюзия: Жан-Люк Годар, *Le gai savoir*[46], 1969, в главных ролях Жан-Пьер Лео и Жюльет Берто. Многие считают этот фильм чересчур дидактическим, но порой

[46] Примечания: 46
Веселая наука (*франц.*).

дидактика — именно то, что требуется.) Поначалу Д угрюмится, цитирует Ницше (автора *Die frohliche Wissenschaft*[47]), который задает “Шопенгауэровский вопрос: имеет ли бытие какой-либо смысл? — Вопрос, который хотя бы расслышат во всей его полноте не ранее, чем через двести лет”. Но постепенно женщинам удается его развеселить, приободрить, поддержать, утешить, и тогда, получив от него слабый кивок, настороженную улыбку, они принимаются мало-помалу посвящать юношу в словарь его будущего, того будущего, где местоимение “его” уже не будет его. Первостепенное, самое главное слово — “переход”. В музыке это модуляции, от одной ноты к другой. В физике — атом, ядро, электрон и т. д. переходят из одного квантового состояния в другое, поглощая или излучая радиацию. В литературе тоже встречаются пассажи, плавно соединяющие две темы или два раздела. В нашем же случае… в нашем случае это процесс, в результате которого человек навсегда приобретает внешние, физические характеристики гендера, с которым себя отождествляет, в противоположность гендеру, полученному при рождении. Этот процесс может

[47] Примечания: 47
Веселая наука (*нем.*).

включать, а может не включать такие меры, как гормональная терапия или операция по коррекции пола.

— Не думай об операции! — твердят женщины. — Пусть это тебя вовсе не беспокоит, нам еще очень до этого далеко. (*Когда дойдет до съемок, пусть актрисы решают, которая из них какую произносит реплику. Но пока пусть говорит Рийя, потом Айви, и так далее, чередуясь.*)

— Тебе надо осознать, кто ты есть. Для этого существует профессиональная помощь.

— Ты можешь оказаться ТГ, ТС, ТВ, КД — кем себя почувствуешь, что тебе подходит.

Трансгендер, транссексуал, трансвестит, кроссдрессер.

— Не надо спешить и заходить хоть на шаг дальше, чем тебе комфортно.

— Для этого есть профессиональная помощь.

— Раньше люди ставили перед именем специальные обозначения. Типа ТС Айви или КД Рийя. И еще была смена пола. “Смотри, вон сменившая пол Салли”. Но с тех пор трансмир повзрослел. Теперь она будет просто Салли или как вздумается. Никакой больше компартментализации.

— Однако с местоимениями предстоит решить. Слова очень важны. Если ты больше не “он”,

то кто? Можно зваться “они”, это годится, если ты поймешь, что не идентифицируешь себя ни с мужчиной, ни с женщиной. “Они” — это неопределенная гендерная идентичность. Очень приватно.

— А еще есть *ze.*

— А еще *ey.*

— А еще *hir, xe, hen, ve, ne, per, thon* и *Mx.*

— Вот видишь. Большой выбор.

— *Thon,* например, это комбинация *that* и *one.*

– *Mx* — вместо “мисс”, произносится “микс”. Лично мне больше всего нравится.

— Разумеется, дело не только в местоимениях. Я тебе кое-что успела объяснить в тот первый раз в музее. Слова очень важны. Ты должен определиться со своей идентичностью, если только определенность для тебя не состоит в неопределенности, а если так, то у тебя, скорее всего, флюидный гендер.

— Или же трансфеминный, ведь ты родился мужчиной, идентифицируешь себя со многими женскими аспектами, однако не чувствуешь себя женщиной.

— Слово “женщина” отделено от биологической составляющей. Как и слово “мужчина”.

— Или же ты не идентифицируешь себя ни с

женским, ни с мужским потому, что ты, возможно, небинарен.

— Так что спешить нельзя. Надо во многом разобраться.

— Многому научиться.

— Переход подобен переводу. Ты движешься от одного языка к другому.

— Некоторые люди легко усваивают языки. Другим труднее. Но для этого есть профессиональная помощь.

— Взять хотя бы навахо. У них четыре гендера. Помимо женщин и мужчин — *Na'dleehi*, "с двумя душами", те, кто рождается мужчиной, однако берет на себя роль женщины, или наоборот, само собой.

— Ты можешь стать тем, кем выберешь быть.

— Сексуальная идентичность — не данность. Это выбор.

До той минуты Д молчал. Но тут заговорил:

— Вроде бы аргументация строилась от противного? Быть геем — не выбор, а биологическая необходимость? А теперь это все же стало выбором?

— Выбор идентичности, — возражает Айви Мануэль, — это не покупка хлопьев в супермаркете.

— Говоря о "выборе", мы подразумеваем также

“быть избранным”.

— Но все-таки это выбор?

— Для этого есть профессиональная помощь. Профессионалы помогут тебе прояснить свой выбор.

— И тогда он станет необходимостью.

— Но тогда он не будет выбором?

— Это всего лишь слово! Что ты к нему привязался? Всего лишь слово.

Затемнение.

14

В день своей свадьбы в семь утра — это был один из самых жарких дней лета, синоптики предупреждали об угрозе урагана — Нерон Голден по обыкновению отправился играть в теннис на углу Четвертой и Лафайета с тремя членами своего крепко сбитого кружка друзей тире партнеров тире клиентов.

Эти таинственные люди, всего их было пятеро, как мне кажется, выглядели одинаково: крепкие, с ореховым загаром (результат долгого пребывания на солнце в дорогостоящих местах отдыха), с редеющими, коротко стриженными волосами, чисто выбритые, с решительной челюстью, грудь колесом, ноги в густой шерсти. В белых спортивных костюмах они смотрелись командой отставных моряков, вот только морякам не хватило бы денег купить такие часы: я насчитал два “ролекса”, по одному “вашерону константину”, “пиаже”, “одемару пиге”. Богатые и могущественные альфа-самцы. Нерон не познакомил их с нами, никогда не приглашал в Сад. Это были его парни. Он придерживал их для себя.

Расспрашивая сыновей, как старик нажил

состояние, я каждый раз получал иной ответ: “строительство” — “продажа недвижимости” — “сейфы” — “ставки онлайн” — “торговля пряжей” — “перевозки” — “венчурные вклады” — “текстиль” — “кино” — “не твое дело” — “сталь”. После того как мои родители-профессора помогли мне выяснить его личность, я начал, насколько хватало способностей, уточнять истинность или же неистинность столь разнообразных утверждений. Обнаружилось, что человек, известный нам как Н. Ю. Голден, приобрел привычку к таинственности задолго до того, как появился среди нас, и паутина ложных фасадов, посредников, подставных компаний, которую он плел, защищая свои дела от публичности, оказалась слишком сложной, чтобы я — всего лишь юнец, мечтающий работать в кино — сумел с такого расстояния проникнуть в нее. Он запускал свои пальцы в любой пирог, славился как беспощадный рейдер. Он окутывался плащом анонимности-бенами, но когда делал очередной ход, все догадывались, что за игрок за столом. В стране-которую-нельзя-называть его прозвали Коброй. Если мне когда-нибудь удастся снять о нем фильм, размышлял я, может, так его и назвать. Или: “Королевская кобра”. Но, подумав

хорошенько, я отказался от таких названий. У меня уже было готовое.

“Золотой дом”.

Расследование привело меня к пресловутому мошенничеству 2*G Spectrum*, недавно мелькавшему в передовицах в стране-которую-нельзя-называть. Оказалось, что в той стране без имени члены правительства без имени продавали корпорациям-фаворитам частоты для мобильных телефонов за откаты по чудовищно низким ценам, и в итоге компании-фавориты заработали около 26 миллиардов долларов незаконных доходов. Журнал “Тайм”, который в ту пору кое-кто еще читал, отвел этой афере второе место в своем рейтинге Десяти величайших злоупотреблений властью, сразу после Уотергейта. Я прочел названия и истории компаний, получавших такие лицензии, и наткнулся на привычный уже тип паутины, излюбленный Нероном: сложная система компаний, принадлежащих другим компаниям, в которых третьи компании приобретали существенную долю. Легко было угадать, что Нерон скрывался за крупнейшей из этих корпораций, “Игл телеком”, которая слилась с немецкой “Фербунден Экстратех”, а затем продала 45 % акций “Муртасену” в Абу-Даби, и новый приобретатель

переименовал ее в “Муртасен-Телеком”.

Судебные иски были возбуждены против многих новых приобретателей лицензий, Центральное бюро расследований (ЦБР, Индия) провело ряд специальных судебных заседаний. Это был для меня момент истины. Я и раньше не мог поверить, чтобы Нерон разработал столь сложные планы эмиграции безо всякой причины — заранее он же не мог предвидеть гибель своей супруги во время террористической атаки на знаменитый старинный отель, а вот коли он был замешан в столь крупном скандале, это куда более убедительная причина, чтобы принять меры на случай, если придется бежать от ареста. Разумеется, я не посмел предъявить ему свои подозрения. Но мой воображаемый фильм — а может быть, и вымечтанный сериал — становился тем более привлекательным: финансово-политический триллер или серия таких триллеров, и мои соседи — в средоточии сюжета. Восхитительно!

Свадьба всегда наводит меня на мысль о кино (впрочем, меня все наводит на мысль о кино). Дастин Хоффман в “Выпускнике” пробивает стеклянную стену в церкви Санта-Барбары, чтобы похитить Кэтрин Росс прямо у алтаря. Старушки Нью-Дели, танцующие в “Свадьбе в сезон

дождей”. Зловещее предзнаменование — вино, выплеснувшееся на платье невесты в “Охотнике на оленей”. Невеста, получившая пулю в голову в день бракосочетания — “Убить Билла 2”. Питер Кук, проводящий блакосочетание в “Плинцессе-невесте”. Незабываемый свадебный банкет в “Желтой земле” Чэня Кайгэ, где гостям на сельской свадьбе в обнищавшей китайской провинции Шэньси подают деревянную рыбу вместо настоящей, потому что настоящую взять негде, а на свадебном столе непременно должна быть рыба. Но когда Нерон Голден праздновал свадьбу с Василисой Арсеньевой в четыре часа дня в историческом Саду Макдугал-Салливан, на ум неизбежно приходила самая знаменитая из всех киносвадеб, с той оговоркой, что на этот раз с главой клана танцевала не дочь, Конни Корлеоне, а патриарх отплясывал с собственной молодой женой, и мне слышалась фоном сочная итало-американская мелодия, написанная для этой сцены отцом режиссера, Кармином Коппола, она вздымалась бурной волной и заглушала ту, что на самом деле звучала в Саду, прискорбную банальность “Битлов”, распевающих “В моей жизни”.

Проматываем на несколько часов назад. После

того как Нерон вернулся домой, наигравшись в теннис, взмокнув, как обычно — он сильно потел и охотно в этом признавался: “Стоит мне взбежать по лестнице, и рубашку хоть выжимай”, — после того как снял рубашку и завернулся в тяжелый черный махровый халат, он призвал троих сыновей к себе в кабинет.

— У вас на уме есть вопросы, на которые я собираюсь ответить, — возвестил он. — Во-первых, для вас ничего не изменится. Я по-прежнему ваш отец, это номер раз, и что касается вас двоих, я всегда буду любить вашу покойную мать, как и прежде, это номер два, а что касается тебя, младшее мое дитя, я по-прежнему буду печалиться об обстоятельствах твоего рождения, но это тебе известно, и ты мой сын в точности, как и другие двое, это номер три, стало быть, статус-кво, это вы поняли. Теперь перейдем к делу: вам всем известно о существовании довольно-таки свирепого брачного договора, который Василиса подписала без малейших возражений. Успокойтесь: ваше наследство в безопасности. Статус-кво сохраняется. Также для меня, после стольких десятилетий отцовства, даже мысль об еще одном ребенке помимо вас неприемлема. “Младенец”, сказал я ей, для меня “младенец” — непристойное слово. И

с этим она тоже не спорила. Не будет четвертого братца. Не будет первой сестрички. Статус-кво. Такое обещание я даю вам в этот день, день моей свадьбы. От вас я требую одного: признать мою жену. Никто не будет заниматься "добычей золота", никаких младенцев — похитителей вашего наследства. Я не обязан вступать с вами в такие объяснения, но предпочел сделать это. В мои годы я прошу вашего благословения. В этом нет необходимости, но я хочу его получить. Я прошу вас: пожалуйста, позвольте отцу прожить свой счастливый день.

В Саду, после того как судья явился, сделал свое дело и ушел, оставив Нерона и Василису уже супругами, я наблюдал, как они танцевали — вновь, как во Флориде — и годы спадали со старика, он был такой прямой, такой подвижный, легкий на ногу, такой внимательный к партнерше, язык танца шептал свои волшебные заклинания и сделал его с виду вновь юнцом. И она в его объятиях, высвободившая всю мощь своей красоты, губами касалась его уха, а потом изгибала обнаженную спину и отклонялась от новобрачного — и снова к нему — и снова прочь, ритмично, покоряя его самым надежным заклинанием, соблазном иди-ко-мне-уходи-прочь. Позволив мужу обнять себя

и вести в танце, Василиса без слов сообщала нам: я ничего не боюсь, я завладела им, ведьмовскими чарами моего тела я заставляю его держать меня в объятиях так крепко, что он не мог бы выпустить меня, даже если бы захотел.

Это не танец, подумал я. Это коронация.

Сыновья Нерона смотрели, соображали. Петя следил из укрытия позади шведской стенки и горки, он вцепился в прутья металлической лесенки, словно в решетку тюремной камеры. В какой-то момент я оказался у него за спиной, и он сказал:

— Ресурсы любви у нашего отца небезграничны. Они не увеличиваются и не сокращаются. Теперь, когда любовь будет распределена более тонким слоем, нам достанется меньше.

Однако всякий раз, как Василиса поворачивала голову в его сторону, Петя широко улыбался.

— Лучше не ссориться с новой королевой, — сказал он мне торжественно, словно вверяя государственный секрет. — В любой момент она может отправить нас на плаху.

Его брат Апу стоял под деревом в обычном своем окружении — художники и те, кто крутится вокруг художников, завсегдатаи клубов, итальянцы, и рядом с ним, прикуривая одну сигарету от другой, во всегдашнем своем бархат-

ном смокинге (а под смокингом белая рубашка с воротником-стойкой) — Энди Дрешер, известный профессиональный прихлебатель, к которому Апу отчего-то питал слабость. Энди — нью-йоркская знаменитость: с тех пор как еще в восьмидесятых он выпустил два тома стихотворений, он ничего больше не публиковал, но каким-то образом крутился среди элиты города, не имея сколько-нибудь понятного источника дохода и ни от кого не получая поддержки. Мне представлялось, как поутру он умывается в тесной душевой кабинке холодной водой и ест кошачий корм из банки, а потом отряхивает свою бархатную красу и устремляется на самые изысканные вечеринки, завистливо и жадно улыбается красивым молодым людям и мрачно изрыгает пресловутые свои инвективы. Список вещей и людей, которыми он возмущался, рос постоянно и на тот момент включал: обычай ходить в кино, мэра Блумберга, само понятие брака, и однополого, и традиционного, дурацкую идею смотреть телевизор, когда можно было бы заняться сексом, гаджеты (любые, но в особенности смартфоны), Ист-Виллидж, мудборды в ателье модных дизайнеров (их он именовал узаконенным воровством), туристов и писателей, публикующих свои книги. В тот день

он оскорбил бедняжку Рийю (впрочем, он оскорбил *всех*), высмеяв Музей идентичности, где Рийя работала, и саму идею, что человек может сам выбирать себе гендер в соответствии со своими наклонностями и чувствами.

— На будущей неделе я куплю себе апартаменты за десять миллионов долларов, — сообщил он Рийе. — Спроси меня, как я это проверну.

Она попалась в ловушку и задала этот вопрос.

— О, я теперь трансмиллиардер, — последовал ответ. — Я идентифицировал себя как богача — значит, я и есть он.

После этого Рийя держалась поближе к Д, и вместе они видели танец королевы в минуту ее торжества. Красавица вращалась — еще и еще — в руках влюбленного Чудовища, и вокруг нее — Сад и все мы, приглашенные и незваные, реальные и вымышленные; наступил вечер, на деревьях загорелись гирлянды цветных лампочек, еще более усилив диснеевское настроение; мои родители-профессора счастливо танцевали в паре и никого более не замечали, печальный У Лну Фну, представитель в ООН, и сеньор Арриби-ста из Аргентины, и главные в нашем сообществе аристократы, Вито и Бланка Тальябуэ, барон и баронесса Селинунтские, и я — мы все счастливо

общались, умащенные изнутри изобильным шампанским, мы ели великолепное угощение от одного из лучших ресторанов Нью-Йорка и чувствовали себя в тот короткий промежуток времени-вне-времени, какой способна подчас создать свадьба, счастливыми, дружными, едиными. Даже пять игроков в теннис с их дорогими наручными часами приклеили улыбки на лица, не созданные для улыбок, и кивали в подобии дружеской расположенности всем прочим, собравшимся в Саду, и аплодировали монаршему танцу.

Но одна группа держалась наособицу, и, когда заиграла музыка, сошла тьма и умножилось веселье, эти люди все теснее сбивались в свою отдельную кучку, словно говоря: отойдите от нас, соблюдайте дистанцию, мы не из ваших. Это были мужчины с прилизанными и чуточку слишком длинными волосами, бородками в стиле модной небритости и напряженным языком тела, фраки сидели на них неловко, белые манжеты чересчур далеко вылезали из рукавов. Мужчины без женщин, пившие воду или газировку или вовсе ничего, переминавшиеся с ноги на ногу, много курившие, и вдруг я подумал: пришедшее мне в голову сравнение с “Крестным

отцом”, возможно, объясняется вовсе не тем, что я слишком много раз смотрел всю трилогию, возможно, я что-то угадал, потому что эти люди выглядели как “клиенты”, как те, кто является на праздник к дону поцеловать его перстень. Или же (аналогия с гангстерским боевиком начала энергично разворачиваться) они выглядели так, словно все были наготове, при оружии: кадры прокручивались в моей голове, внезапное появление револьверов из оттопыренных карманов этих плохо пригнанных костюмов, кровь заливает свадебное торжество, обращая его в трагедию.

Ничего подобного не произошло. Господа занимались гостиничным бизнесом, так нам сообщили, это деловые партнеры мистера Голдена. С тем же успехом нам могли бы сказать, что они торгуют оливковым маслом: может, это и правда, но вряд ли вся правда.

Старший из сыновей жениха пристроился возле накрытого золотой скатертью стола, где громоздились закуски, и методично уничтожал сосиски в тесте. Мне пришла в голову неплохая идея.

— Послушай, Петя, — как можно небрежнее заговорил я. — Что ты знаешь о 2*G Spectrum*?

Смущение волной пробежало по его лицу —

может быть, из-за того, что слово *Spectrum* имело столько значений, а может быть, потому что его невероятная память, а также инстинктивная потребность говорить правду вступили в борьбу с наложенным на всех Голденов обетом соблюдать тайну. В конце концов он решил, что на этот вопрос секретность не распространяется и он вправе дать ответ.

— Афера с телекоммуникациями, — сказал он. — Перечислить компании? “Адонис”, “Наан”, “Аска”, “Волга”, “Гудзон”, “Юнитех”, “Луп”, “Датаком”, “Телелинк”, “Сван”, “Альянс”, “Идеа”, “Спайс”, “С Тел”, “Тата”. Следует уточнить, что в 2008 году “Теленор” приобрел контрольный пакет акций телекоммуникационной группы “Юнитех” и сейчас обладает двадцатью двумя лицензиями как бренд “Юнинор”. “Датаком” превратилась в “Видеокон”. Российская компания “Система” владеет контрольным пакетом акций “Телелинка” и сменила имя оператора — теперь это МТС. “Сван” была первоначально отделением группы “Релайнс”. “Идея” купила “Спайс”. “Бахрейн телекоммуникейшнс” и “Сахара групп” располагают каждая существенной долей в “С Тел”. Готовится иск в защиту интересов государства, и скоро он поступит в Верховный суд. Ожидается, что по

меньшей мере один министр и несколько корпоративных топ-менеджеров получат серьезный срок. Принадлежащие 2*G Spectrum* пять мегагерц оцениваются в…

— Я заметил, — перебил я, — что ты не упомянул “Игл” или “Фербунден Экстратех” или “Муртасен”.

— Я просто перечислил компании, замешанные в этом скандале, — возразил он. — Тем корпорациям, которые ты назвал, не предъявлялось обвинение в каких-либо нарушениях закона, и против них не ведется дело. Ты собираешься сочинить сценарий фильма о подлинно поразительном и с неизбежностью отчасти запятнанном коррупцией распространении мобильных телефонов в той далекой стране? Если так, ты непременно должен сам играть главную роль. Ведь ты так красив, Рене, знаешь ли, ты в самом деле должен стать кинозвездой.

В то лето у него появилась новая тема. Незадолго до того Петя, вопреки реальности очевидной всем глазам, кроме его собственных, постановил, что я — самый красивый мужчина на всей планете. Сначала он заявил, что я “красивее Тома Круза”, потом я сделался “*намного* симпатичнее Брэда Питта”, а тут я уже стал “в сто раз роскош-

нее Джорджа Клуни". Так проходит земная слава, Том, Брэд и Джордж, посмеивался я. При этом Петя отнюдь не выражал гомосексуальные желания. Он просто говорил то, что видел, как обычно, и мне оставалось разве что сказать ему спасибо.

— Что-то в этом роде, — ответил я на его вопрос, — но там едва ли найдется роль для меня.

— Вздор и чепуха, — сказал он. — Немедленно напиши такую роль. Большую. Романтическую главную роль. Ты так сексуален, Рене. Серьезно говорю. Горячая штучка.

Наверное, свадьба пробудила романтику в каждом из нас.

В некий момент посреди развеселой ночи я заметил, что Нерон Голден куда-то скрылся, в окне его кабинета вспыхнул свет, исчезли и мужчины в скверно пригнанных фраках. Петя вышел на танцпол. Танцевал он ужасно, так нескоординированно, что многим это казалось забавным. Пятеро игроков в теннис с трудом прятали ухмылки альфа-самцов, но Петя, увлеченный музыкой, ничего не замечал. Потом Василиса пустилась в пляс с подружками невесты, все как на подбор гламурны, все — риелторши, они исполняли нью-йоркскую версию казацких плясок со свечками и шалями, хлопая в ладоши и высоко вскидывая

ноги. Вместо папах и военной формы — платья из тонкого шелка и женская кожа, но никто на такую замену не жаловался, мы водили хоровод вокруг танцующих девиц, дружно хлопали и покрикивали: “Гей! Гей”, когда нам подавали знак, и пили очередную рюмку водки, когда нам ее подносили, и да, Россия — супер, русская культура — это прекрасно, как мы отлично проводим время по-русски, все вместе, и тут к нам вышел Нерон Голден, одетый казаком с головы до пят, так что у нас появилась по крайней мере одна папаха и одна форма, голубая с золотой бахромой и надраенными пуговицами, и девушки плясали вокруг него, словно он их предводитель, их король, так оно и было, и он махал в воздухе у них над головами своей особой саблей — шашкой, — и мы скакали вокруг, и пили, и кричали “Гей! Гей!”, и так завершилась свадьба Нерона и его красавицы.

А мужчины в скверных фраках, занимавшиеся отельным бизнесом, в тот вечер больше не возвращались.

Странный летний туман заполз в Сад в ту ночь после полуночи, и Сад стал похож на декорации японского фильма с привидениями, на “Кайдан”, например, или “Сказки туманной луны после до-

ждя". Все гости разошлись, остатки празднества убрал вышколенный персонал ресторана, получивший щедрые чаевые непосредственно из рук Нерона Голдена. Одинокий фонарь все еще висел на дереве, свеча с треском догорала. Послышался одинокий крик — возможно, совы, но я мог и ошибиться. В небе сквозь набегавшие дождевые тучи просвечивала бледная луна. Приближался ураган. Все затихло перед бурей.

Как и в прошлый раз, бессонница выгнала меня из постели. Я натянул свитер и синие джинсы и вышел в туман, который внезапно сгустился, и я оказался один в его воронке, словно Вселенная исчезла и не было никого, только я один. А потом издали донесся звук, повторился, нарастая с каждым повтором. Такой звук издает мужчина, застигнутый отчаянным горем, неудержимо рыдая. Этот плач надрывал сердце.

Я приблизился на цыпочках, любопытство побороло во мне более человечное желание — не нарушать уединение горя. Не надеясь всецело на туман, я старался прятаться за кустами, немного при этом стыдясь (и все же, признаюсь, не слишком) того, как сбывается мечта подглядеть нечто важное. Наконец я увидел его и был, надо сказать, поражен, когда узнал героя прошедшей ночи,

вокруг которого вращался весь мир, жениха собственной персоной: он стоял на коленях на сырой траве (в дорогущей пижаме) и бил себя кулаками в грудь, завывая, как профессиональный плакальщик на похоронах. Что заставило его в столь ранний час покинуть супружеское ложе и выть на убывающую луну? Я подобрался как мог ближе и услышал — или мне почудилось — странные слова: “Простите меня! Я убил вас обеих”.

Позвольте сказать вам: я не верю россказням людей, увлекающихся мистикой или сверхъестественным, нисколько не интересуюсь раем, адом, лимбом и прочими местами посмертного пребывания. Я не рассчитываю перевоплотиться ни в навозного жука, ни в Джорджа Клуни или следующего за ним короля красоты. Сколько бы ни увлекались метемпсихозом Джойс, Ницше и Шопенгауэр, лично я повернулся спиной к самой идее переселения душ. “Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни” тайского режиссера Апичатпонга Верасетакула стал в тот год, пожалуй, самым любимым моим фильмом, но я не верил, что дядюшка Бунми — или я — уже побывал прежде в командировке на этой планете. Сюжеты про дьяволово семя тоже не для меня, все эти Дэмиены, Кэрри и младенцы Розмари

проходят по разряду дешевого чтива. Ангелы, демоны и дьяволы из голубых лагун — туда же. Вот почему мне так трудно объяснить, что же я видел в ту ночь, вот почему я пытаюсь убедить себя, что это была галлюцинация, вызванная слишком большой дозой амбиена (которая так и не усыпила меня) и лунатическими блужданиями в тумане: что-то вроде кошмара наяву.

Но фигура кающегося Нерона была чересчур реальна, и что я видел — что я знаю, что я видел, что я думаю, что я знаю, что видел, — пусть мой рациональный ум отбрасывает эту идею: туман, собравшийся вокруг Нерона, словно протоплазма, в образе двух женщин, они стояли перед коленопреклоненным мужчиной, выслушивая его покаяние. Эти призраки не говорили, они даже не приобрели до конца плотную форму, оставались размытыми, нечеткими, но в моей голове прозвучала мысль — так отчетливо, словно кто-то произнес ее вслух: это матери его сыновей, жена, погибшая в “Тадже”, и несчастная покинутая женщина, которая отдала ему новорожденное дитя и, по свидетельству миссис Голден, скончалась одиноко, безымянно, в одной из тех нор, куда такие несчастные забиваются, чтобы умереть.

“Простите меня. Я убил вас обеих”. Как истолковать этот стон, исторгнутый в свадебную ночь? Как признание вины за свое новое счастье, в то время как за спиной у него несчастные покойницы? Или его поразило открытие: мучительное прошлое имеет над его чувствами бОльшую власть, чем поверхностное, пусть молодое и красивое, настоящее? И где была в тот момент новоиспеченная миссис Голден, как она восприняла вопли мужа, обращенные к призракам в саду? Неблагоприятное начало для брака, подумалось мне. Я отступил в туман, вернулся в постель и, как ни странно, тут же уснул сном праведника.

На следующее утро Василиса объявила новый этап чистки и обновления дома от верхнего этажа до нижнего. Прочь старье! Только все новое. Новые лампы вместо старых! И старик согласился. Но Василиса не ограничилась переустройством интерьера.

— Мы в России, — заговорила она, — не настолько глупы, чтобы отрицать существование бесов.

Я сидел рядом и слушал (в ту пору меня уже часто и гостеприимно приглашали в Золотой дом).

— Извини, Рене, я знаю, ты скептик, но реальность — не вопрос выбора. Ей наплевать на твое мнение. Мир таков, каким был всегда. Зайди в

России в православную церковь, и ты увидишь людей, которых насильно приводят родственники, людей, у которых дьявол смотрит из глаз, людей, полных ненависти, безбожников и кощунников, и тех, у кого очень холодное сердце. И тут начинается. Прежде всего батюшка выходит со святой водой и кропит ею, и читает те места из Святого Евангелия про Иисуса, как Он изгонял бесов, и, боже мой, они выходят вон, женщина кричит мужским голосом, и трясется всем телом, и шипит, и грозится священнику, святая вода обжигает их, понимаешь, многие вопят словно животные, мычат коровой, ревут медведем, визжат свиньей. Рвота, обмороки. Ужасно — и хорошо. В этом доме по-другому. Наверное, здесь не люди одержимы, а сам дом. Ты принес с собой зло из своей старой страны, и теперь оно в стенах, в коврах, в темных углах, и в туалетах тоже. Там поселились призраки, может быть, кого-то из твоих, а может быть, и что-то более древнее, всех надо изгнать. А ты если хочешь посмотреть, когда священник придет, я тебя допущу, я знаю, ты творческий молодой человек в поисках материала, но держись тут рядом с Божьей Матерью, и когда начнется, ничего не говори, только слова Иисусовой молитвы: “Господи Иисусе Христе,

Сын Божий, помилуй меня грешного". Все равно, что ты не веришь, просто повторяй, слова оберегут тебя.

Икона только что заняла почетное место в просторном "большом зале" на первом этаже Золотого дома, ее лик целовал усиливавшийся ветер, проникая сквозь распахнутые в Сад французские окна, этот ветер нес обещание дождя. Безупречная старинная копия Феодоровской Божьей Матери, оригинал висел в Александровском дворце в маленькой часовне слева от спальни последней царицы из династии Романовых, Александры, она молилась Пресвятой Деве каждый день по многу часов. Меня это удивило. Сыновья Нерона Голдена открыто признавались в отсутствии религиозных чувств, и хотя от старика я никаких высказываний на этот счет не слышал, заведомо предполагал, что он разделяет их чувства и даже что он-то и был, так сказать, источником их небрежного атеизма. И тем не менее святой образ был свадебным подарком Нерона жене, и теперь, не споря, он стоял рядом с ней перед Богоматерью: сложив руки, склонив голову, он подал знак начинать обряд экзорцизма. Всем трем сыновьям он приказал явиться, они тоже присутствовали на церемонии, с торжественны-

ми, как было велено, лицами. А вот и священник Русской православной церкви, борода в палатке, изготовился петь и брызгать на всех нас святой водой, и как раз в эту минуту явился ураган Ирэн: небо потемнело, разверзлись хляби, вспышка молнии ворвалась в комнату. Священник вскричал по-русски, и Василиса перевела:

Славьте Бога — свершилось!

И тут Нерон Голден тоже громко вскрикнул:

— Закройте двери!

Его сыновья ринулись к французским окнам, и я тоже понял его слова как вполне практичную реакцию на ветер и хлесткий дождь, но Василиса и священник восприняли это по-своему. Борода затряслась, окружавшая ее палатка заходила ходуном, загремела взволнованная русская речь, и новоиспеченная миссис Голден принялась с торжеством переводить и перетолковывать:

— Закройте дверь от дождя, но нет нужды закрывать ее от бесов, ибо они изгнаны из моего супруга и никогда не возвратятся.

Что бы ни происходило в то утро — а я глубоко сомневаюсь в аутентичности обряда, — должен признать, что с тех пор Нерон не бродил по ночам и не плакал на летней лужайке. Насколько мне известно, женские призраки более не посещали

его. Или, если они все же являлись, он научился сдерживать свои чувства, повернулся спиной к этим призракам и не упоминал при жене об их визитах.

Из убежища старика в тот вечер доносилось пение скрипки Гуаданини, исполнявшей — на троечку — насыщенную эмоциями “Чакону” Баха.

В понедельник вечером — с чего и начались беды — Нерон Голден отправился вместе с Василисой в облюбованный ею русский ресторан в районе Утюга, на обед в честь Михаила Горбачева, который наведался в наш город собирать средства для своего благотворительного фонда по борьбе с раком. Супругов усадили за главный стол рядом с эмигрантом-миллиардером, чья жена интересовалась искусством, и эмигрантом-миллиардером, который занялся газетным бизнесом как раз в тот момент, когда газетному бизнесу пришел конец, но, к счастью, у него имелась также бейсбольная команда, и с эмигрантом-миллиардером, который владел большим пакетом акций в Силиконовой долине и при силиконовой жене, а за рядом стоящими столиками разместились миллиардеры помельче, у которых и яхты были не такие большие, и футбольные команды,

и кабельные телекомпании не столь успешные, да и жены не так впечатляли. Для Василисы Арсеньевой, девочки из Сибири, само присутствие в такой элитарной компании служило доказательством того, что жизнь наконец-то удалась, и она непременно хотела сделать селфи с каждой из русских шишек (и с их женами, само собой разумеется) и тут же отправить фотографии своей маме.

Перед выходом из дома, уже полностью одетая и преступно прекрасная, она опустилась перед мужем на колени, расстегнула ему штаны и медленно, профессионально его обслужила, “потому что, — сказала она ему, — когда такой мужчина, как ты, приводит такую женщину, как я, в такую компанию, как эта, ему нужно знать, что она принадлежит ему”. Это был ошибочный расчет — редкий случай, обычно Василиса в сексуальной игре бывала точна: ее поступок не ослабил, а напротив, усилил подозрительность Нерона Голдена, так что в ресторане он следил за каждым ее жестом, словно ястреб, к тому же с каждой минутой все более свирепеющий. На столе появлялось одно блюдо за другим: сельдь под шубой, голубцы, начиненные говяжьим фаршем, вареники, ушки и галушки (украинские разно-

видности вареников), пельмени с телятиной, бефстроганов, водка, настоянная на крыжовнике и смокве, блинчики, черная икра — а его ревность росла, словно Василиса подавала всем этим мужчинам саму себя, нарезанную мелкими дольками, на красных бумажных салфеточках, пусть наколют маленькой двузубой вилкой и проглотят, как изысканное канапе. Разумеется, за этим столом для избранных все мужчины присутствовали с супругами и потому все вели себя аккуратно. Миллиардер, чья жена питала интерес к искусству, объяснял Нерону, как тому повезло завоевать “нашу Василису”, миллиардер — владелец неудачливых газет и удачливой бейсбольной команды — заявил: “Она нам как дочь”. Миллиардер из Силиконовой долины с силиконовой женой сказал: “Господь один ведает, как она вам досталась”, и сделал неприличный жест, изображая руками нечто огромное в штанах, но к тому времени все выпили много водки и никто на такое не обижался, обычный мужской треп. И все же время от времени муж подмечал, как жена слегка машет рукой кому-то на другом конце комнаты, и те подают ответный знак, и все это были мужчины, в особенности один мужчина, моложавый, высокий, мускулистый, лет сорока,

только волосы почему-то преждевременно поседели, он и ночью не снимал защитных очков. С виду — тренер по теннису или (как мы понимаем, ничего хуже Нерон Голден и представить себе не мог) личный тренер. А может быть, парикмахер, гей, это бы неплохо. Или — кто знает, тоже миллиардер, моложе прочих, строит себе огромную краснобокую яхту на верфи Бенетти в Виареджо, обожает гоночные машины ценой в полтора миллиона долларов, названные в честь богов ветра индейцев кечуа, и к ним — столь же дерзких девиц. Такую вероятность тоже не следовало игнорировать.

— Извини, — сказала она, — я только пойду поздороваюсь с друзьями.

Она отошла, а он следил за ней: объятия, воздушные поцелуи, ничего непристойного, и все же это скверно пахло, следовало пойти туда и присмотреться к этим друзьям, к так называемым друзьям. Может быть, следовало присмотреться и к той блондинке, она все никак не поворачивалась к нему лицом, к спутнице того парня, к маленькой блондиночке, стоявшей к нему спиной, он разглядывал мускулатуру ее рук, о да, он ее припомнил, суку. Может быть, надо было просто оторвать ее мерзкую голову.

Но тут Горбачев завел с ним разговор.

— Итак, мистер Голден, теперь благодаря своей прелестной русской жене вы один из нас, почти, я бы сказал, и я вижу, вы человек влиятельный, так что позвольте вас спросить…

Правда, эти слова произносил по-английски не Горбачев, а его переводчик — Павел вроде бы, — он выглядывал сзади из-за плеча Горбачева, точно вторая голова, и так хорошо поспевал слово в слово за бывшим президентом, практически синхронная озвучка, либо это был величайший, проворнейший из всех переводчиков, либо он нес на английском отсебятину, либо Горбачев всегда говорил одно и то же. В любом случае Нерон Голден, обозленный и взвинченный поведением Василисы, вовсе не намерен был подвергаться допросу, пусть даже со стороны почетного гостя — и перебил его собственным вопросом.

— У меня есть партнеры в Лейпциге, это бывшая ГДР, — заявил он. — Они рассказали мне занятную историю, и я хотел бы услышать ваш комментарий.

Лицо Горбачева омрачилась.

— Какую историю? — спросила его вторая голова, Павел.

— В восемьдесят девятом году, когда начались

волнения, — заговорил Нерон Голден, — протестующие укрылись в Томас-кирхе, церкви, где похоронен Бах. Руководитель коммунистической партии Восточной Германии герр Хонеккер собирался послать туда войска с пулеметами, перебить всех и покончить на том с революцией — она была бы подавлена. Однако чтобы использовать армию против гражданских, ему требовалось ваше разрешение, а вы отказали, и всего через несколько дней пала Стена.

Обе головы Горбачева молчали.

— Так вот что я хотел спросить, — продолжал Нерон Голден. — Когда вы подняли трубку телефона и услышали эту просьбу, вы отказали интуитивно, автоматически… или вам пришлось сначала поразмыслить?

— В чем смысл такого вопроса? — с угрюмыми гримасами осведомились Горбачев и Павел.

— Меня интересует цена человеческой жизни, — пояснил Нерон Голден.

— И каков же ваш взгляд на этот вопрос? — уточнили два Горбачева.

— Русские всегда нас учили, — произнес Нерон, и теперь уж невозможно было не заметить умышленную его враждебность, — что ради блага государства вполне можно пожертвовать

отдельной человеческой жизнью. Это мы знаем и от Сталина, и помним убийство уколом отравленного зонтика в Лондоне, это был Георгий Марков, и отравленного полонием перебежчика из КГБ Александра Литвинова. И тот журналист, которого сбила машина, и другой, который тоже погиб от несчастного случая, хотя это уже второстепенные события. Что касается ценности человеческой жизни, тут русские опередили нас и указали будущее. События этого года в арабском мире уже подтвердили это и еще подтвердят. Осама мертв. Без проблем. Каддафи мертв, пуфф, пропал, забыли. Но теперь мы увидим, что будет с революционерами, их конец тоже близок. А жизнь идет, ко многим она не так уж добра. Живущие ничего не значат для мирового бизнеса.

Стол затих. Потом заговорила вторая голова Горбачева, хотя сам Горбачев не промолвил ни слова.

— Георгий Марков, — заявила эта голова, — был болгарин.

А затем ответил сам Горбачев, по-английски, очень медленно:

— Это неподходящий форум для такого разговора, — сказал он.

— Я ухожу, — ответил Нерон, кивнув.

Он поднял руку, и его жена сразу же встала из-за стола, где присела рядом с друзьями и пошла следом за ним к дверям.

— Великолепный ужин, — сказал он всем собравшимся рядом. — Мы очень благодарны.

Широкий план. Улица на Манхэттене. Ночь.

Моложавый мужчина, *высокий, мускулистый, лет сорока, с преждевременно поседевшими волосами, в защитных очках, несмотря на ночную темноту, возможно, тренер по теннису или же личный тренер, идет со своей подругой, миниатюрной* блондинкой, *внешне похожей на другого личного тренера, по Бродвею в сторону Юнион-сквер, мимо AMC Loews на Девятнадцатой, мимо ABC Carpet, мимо третьего и окончательного обиталища "Фабрики Энди Уорхола" (Бродвей 860), затем мимо второго ее обиталища, в Деккер-билдинг на Шестнадцатой. Судя по одиночеству этой пары, отсутствию охраны, он, скорее всего, не миллиардер, нет у него огромной красной яхты и гоночной тачки за полтора миллиона. Просто парень, идущий со своей девушкой по городу после наступления темноты.*

Играет музыка. Внезапно включается болливудская песенка 'Tuhi Meri Shab Hai', *перевод в*

субтитрах: “Ты один — моя ночь. Ты один — мой день”. Песня из фильма 2006 года с Канганой Ранаут. Называется “Гангстер”.

Рассказчик (*голос за кадром*):

По данным “Нью-Йорк Таймс”, число убийств в Америке достигло угрожающего пика в девяностые, но сейчас приближается к историческому минимуму. Существуют опасения, что героиновая эпидемия и подъем организованной преступности приведут к росту убийств в некоторых городах, таких, как Чикаго, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Даллас, Мемфис. Однако в Нью-Йорке наблюдается внушающее оптимизм годичное сокращение на двадцать пять процентов.

Мужчина в защитных очках и женщина с интенсивным загаром на руках проходят сейчас через парк, между статуей Джорджа Вашингтона и входом в метро.

Песня продолжается. Становится громче, в субтитрах нет надобности.

Песня

Oh oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh

Когда моложавый мужчина *и* блондинка *минуют вход в метро, из метро выходит* второй мужчина, *он двигается быстро. На голове у него мотоциклетный шлем. Он достает револьвер с глушителем, стреляет в* моложавого мужчину, *единственный выстрел, в затылок, тот падает,* блондинка *открывает рот, чтобы закричать, и убийца стреляет в нее, стремительно, один точный выстрел промеж глаз. Она падает на колени и остается в этой позе — коленопреклоненная, уронив голову, мертвая.* моложавый мужчина *лежит перед ней ничком.* второй мужчина *уходит проворно, однако не бежит, к углу Четырнадцатой и Юниверсити, мимо уголка для игроков в шахматы, оружие он все еще сжимает в руке. Уголок шахматистов пуст, уже слишком поздно, зато* мотоциклист *ждет* — второй мужчина *бросает револьвер в урну, садится на мотоцикл, и оба они уезжают. Лишь теперь, когда мотоцикл исчез,* полицейские *выходят из патрульных автомобилей, расставленных по периметру площади, торопливо подходят к стоящей на коленях женщине и упавшему мужчине.*

Снято.

Интерьер спальни Нерона Голдена. Ночь.

Василиса *крепко спит в широкой супружеской кровати с узорчатым, вызолоченным изголовьем в духе рококо. Глаза* Нерона *тоже закрыты. Затем (*спецэффект*) он "выходит из своего тела" и приближается к окну. Этот призрачный двойник прозрачен. Камера за его спиной видит сквозь него тяжелые шторы, которые он чуть раздвигает, чтобы посмотреть вниз, на Сад. "Реальный"* Нерон *продолжает спать в своей постели.*

Нерон (*голос за кадром*):

Я говорю это, пока я еще в твердом уме и здравой памяти. Я знаю, под конец истории крепость моего ума будет вызывать сомнения и, возможно, справедливо. Но еще не сейчас, еще не пора. Еще остается время признать мою ошибку и признать также, что она дурно меня характеризует. Допустить, чтобы хорошенькое личико так легко вскружило мне голову… Я понимаю теперь глубину ее эгоизма, хладнокровность ее расчетов — и так же холодно, следовательно, ее сердце.

Призрачный Нерон *спокойно возвращается к постели, присаживается на нее и "входит" в*

“реального” Нерона, *так что теперь остается только один* Нерон, *с закрытыми глазами, рядом со спящей женой.*

Ее телефон начинает звонить, то есть вибрировать. Она не просыпается и не отвечает.

Телефон снова вибрирует. На этот раз Нерон, *не шевелясь, открывает глаза.*

Третий раз. Василиса *просыпается со стоном, дотягивается до телефона.*

Резко просыпается, садится на кровати, свободной рукой в ужасе хватается за лицо. Торопливо что-то говорит в трубку по-русски, задает вопросы. Потом стихает и откладывает телефон в сторону.

Так оба замирают надолго: она сидит, лицо ее искажено ужасом, он спокойно лежит, глаза открыты, смотрят в потолок.

Потом медленно она оборачивается к нему, выражение ее лица меняется.

Теперь на нем только одно чувство: страх.

Оба молчат.

Снято.

Часть II

15

О мышах и великанах, процентном соотношении, а также искусстве

Апу Голден прослышал о большом митинге протестующих против ненасытности банков — демонстранты захватили открытое пространство Финансового квартала, и когда Апу отправился туда поглазеть, надев панаму, шорты-хаки и гавайскую рубаху, чтобы не выделяться, он, сам для себя врасплох, был очарован карнавальностью толпы, бородами и бритыми головами, свободным книгообменом, поцелуями, запахами, страстью активистов, старыми безумцами, кашеварами, молодыми, бывалыми.

— Даже полицейские вроде бы улыбались, — рассказывал он мне. — По крайней мере некоторые, врать не стану, другие были обычного типа, кроманьонцы, перейди-на-другую-сторону-лишь-бы-не-иметь-с-ними-дела.

Ему нравился визуальный аспект всего мероприятия и литературный также, декламация стихов, плакаты, сделанные из старых картонных коробок, вырезанные изображения сжатых

кулаков и двух пальцев в жесте “виктория”. Более всего на него произвела впечатление та поддержка, что оказывали протестующим великие мертвецы.

— Восхитительно, — говорил он мне, — было видеть Гете в спальном мешке, Честертона в очереди за супом, Ганди, который поднял большие пальцы и слегка ими покачивал, такой у них принят знак одобрения — разумеется, надпись у него на груди была “Гханди”, нынче никто с орфографией не знаком, орфография — это “буржу”. Даже Генри Форд явился, его слова разносились в толпе по цепочке, в “человеческий микрофон”.

В следующий раз я пошел вместе с Апу, его ироничный энтузиазм был заразителен, и я в восторге наблюдал быстроту и точность его карандаша, как он схватывал массовые сцены, и на его рисунках действительно присутствовали бессмертные тени, Гете, помпезно провозглашающий: “Худшие рабы — те, кто облыжно верят в свою свободу”, и Гханди, декламирующий пресловутое: “Сначала они вас презирают, потом они бла-бла-бла, а потом вы побеждаете”.

— Он никогда такого не говорил, — не преминул заметить Апу. — Это всего лишь интернет-мем, но что поделать, никто ничего не знает, я же

говорил, знание теперь — буржу.

Честертон и Генри Форд во фраках казались тут не слишком уместными, но тоже находили внимательных слушателей, их философия жизни пришлась ко двору.

— Значительная часть современного гения расходуется на то, — витийствовал старина Честертон, — чтобы находить оправдание недопустимому поведению власти.

А Генри Форд, нависая над конвейерной линией, восклицал:

— Если бы люди этой страны постигли нашу банковскую и финансовую систему, назавтра произошла бы революция.

— Впечатляет, — приговаривал Апу, — как интернет всех нас произвел в философы.

Лично мне больше нравились картонные заявления неведомого мыслителя, побуждаемого, как мне показалось, в основном голодом.

“Однажды у бедняков не останется другой пищи, кроме богачей”, грозил он, а на другой картонке эта мысль сводилась к призыву в пузыре-цитате: “Сожрем богачей”. Этот мыслитель был в маске анонима — белолицее, улыбчивое усатое лицо Гая Фокса, прославленное братьями Вачовски в “V значит Вендетта”, но когда я задал

вопрос о человеке, чье лицо он надел, мыслитель признался, что ничего не слышал о Пороховом заговоре и помнит только некий праздник 5 ноября. Вот так выглядела зарождавшаяся революция. Апу все успел зарисовать.

Он показывал свою работу у Фрэнки Соттовоче на Бауэри, более “жесткое” место, чем галерея в Челси. Выставлялись они вместе с Дженнифер Кабан, самой известной художницей-активисткой того (как он понимался) момента: на открытии Дженнифер улеглась в ванну с фальшивыми долларами, и вскоре обоих прославляли или же поносили как партийцев. Апу был против и фотографий в ванне, и партийного ярлыка. “Для меня первичен эстетический аспект”, пытался он объяснить, но дух времени был глух, и в итоге художник смирился с тем истолкованием, которое прилепилось к нему, и с той политической славой, которая из этого проистекала.

— Наверное, теперь я знаменит не только на двадцать кварталов, — делился он со мной. — Может, уже на тридцать пять или сорок.

В доме на Макдугал-стрит обретенная Апу агитаторская известность не снискала ему уважения. Сам Нерон ничего не говорил, ни хорошего, ни дурного, однако тонкая линия поджатых губ

вполне внятно передавала его мнение. Вслух же он предоставил высказаться жене. Василиса, полулежа на полу гостиной посреди глянцевых журналов, посвященных отделке дома, на миг прервала свое занятие, чтобы отругать Апу на русский лад:

— Эти уличные попрошайки, от них столько грязи и шума, ради чего все это? Или они думают, власть, на которую они напали, такая слабая, испугается их воплей? Мыши, пытающиеся отдавить ногу великану. Великан ничего не чувствует, он даже не станет убивать эту мышь. Кому она сдалась? Мышь и сама вот-вот убежит. Что они станут делать, когда придет зима? Непогода их уничтожит. Нет надобности на них силы тратить. К тому же у них нет вождей, у этой твоей крестьянской армии. Нет программы. Значит, они ничто. Мышь, да еще безголовая. Мертвая мышь, которая даже не понимает, что она мертва.

Она запустила в него глянцевым журналом — не совсем шутя.

— А ты себя за кого принимаешь, извини меня? Думаешь, когда придет их революция, они включат тебя в святые девяносто девять процентов, потому что ты картиночки рисовал? В моей стране мы кое-что знаем о том, что бывает, когда

приходит революция. Стань рядом со мной на колени перед Феодоровской Богоматерью, и мы помолимся Пресвятой Деве за наше спасение, чтобы нас не поубивала в подвалах армия безголовой мыши.

В Василисе Голден произошла перемена. Порой, когда свет падал ей на лицо под определенным углом, я видел в ней сходство с Дайяной Китон в “Крестном отце”: ее лицо, разум и сердце заморожены повседневной необходимостью отвергать реальность, которая смотрит ей прямо в лицо. Но Кей Адамс вышла замуж за Майкла Корлеоне, веря, что он хороший человек, а Василиса вышла замуж, так сказать, за персонажа Марлона Брандо, и не питала иллюзий насчет беспощадности, аморальности и темных тайн, неизменных спутников, консильери, могущественного мужчины — а когда свет падал под другим углом, в ее лице вовсе исчезало сходство с Дайяной Китон. Она была соучастницей. Она подозревала мужа в ужасном преступлении и заключила сама с собой уговор: забыть это подозрение, чтобы сохранить ту жизнь, которую она себе организовала, достойную, по ее мнению, такой красавицы. А еще — вероятно, теперь она боялась. Она все еще верила в свою власть над ним, но поверила теперь

и в его власть и знала, что, если вздумает мериться с ним силами, последствия будут для нее… экстремальными. Она же пришла в этот дом не затем, чтобы дождаться экстремальных последствий, так что пришлось ей сменить стратегию. Василиса даже изначально не была “простаком за границей”, но после убийства на Юнион-сквер посуровела. Теперь ей стало окончательно ясно, с каким мужчиной она делила постель, и она знала, что кое о чем придется помалкивать, иначе не выжить.

Касательно семьи. Допрос

— И снова тот же вопрос, сэр: почему человек оставил родную страну, сменил имя, начал жизнь заново на другом конце света?

— Ну как же, это горе его понудило, сэр, смерть любимой жены вытолкнула из самого себя. Скорбь и потребность отделаться от скорби, а чтобы отделаться от нее, пришлось стряхнуть свое прежнее “я”.

— Правдоподобно — и все же не вполне убедительно. И все же повторяю вопрос: как насчет приготовлений к эмиграции, которые предшествовали трагедии? Требуется ведь и это объяснить, вы согласны?

— Вы, значит, надеетесь отыскать подтекст?

Подозреваете мошенничество, надувательство, фокусы-покусы?

— Невиновен, пока не найдены доказательства. Никаких обвинений против патриарха в деле 2*G Spectrum* не выдвигалось. Это приходится признать. И, разумеется, когда человек бежит от закона, прячется под вымышленным именем, он старается укрыться в тени. Такой человек не станет слишком шумно себя вести за границей, на своей новообретенной родине. А этот наш персонаж еще как шумит — все настойчивее и неуклоннее и все громче и громче — так ведь?

— Да, сэр, все так. И это, как вы говорите, может быть признаком его невиновности. Но также приходит в голову притча о скорпионе и лягушке: скорпион ведет себя согласно своей натуре, даже когда это самоубийственно. Дополнительно (или в подтверждение): человек этот бесстыден. Он совершенно уверен, это чувствуется, в собственной неуязвимости, он ощущает себя в безопасности, ибо он непобедим. Если даже в самом деле он нарушил какие-то законы, если он, как бы это сформулировать, навлек на себя неудовольствие неких людей, ведь самыми грозными врагами будут те, кто сам не слишком покорен закону, — то он убежден, что оказался вне пределов досягае-

мости. Сюда грозные мстители не доберутся, их власть не беспредельна: пусть на собственной территории они внушают страх, выйти за ее границы им не под силу, они и пытаться не станут.

— По крайней мере так я предполагаю: я в этом не специалист.

— Но очевидно, что Нерон с каждым днем чувствует себя все более уверенно и, вооруженный этим укрепляющимся чувством безопасности, он знай себе скорпионит — шумит, гремит, в трубу трубит, утверждая, как говорится ныне, свой бренд.

— Бренд — слово многозначное, сэр, и среди прочих коннотаций есть и такая: клеймо, опознавательный знак, который прежде выжигали на лице преступников и рабов. А еще — привычка, склонность или качество, навлекающее на человека стыд или бесчестье. Также факел. И меч.

— Нам предстоит выяснить, какие из этих значений относятся к данному случаю.

Продолжим: к выборам 2012 года сделалось ясно, что вести уединенную и тихую жизнь Нерон Голден вовсе не намерен. Из двух дюжин “пирогов с дроздами”, поминаемых в пословице, в которые он успел сунуть палец за свою прежнюю жизнь, лучше всего ему давались строительство

и вложения в недвижимость, этот инстинкт сильнее всего был развит в нем, так что слово ГОЛДЕН, золотое слово золотыми буквами, ярко подсвеченными золотым неоном, сплошь заглавные золотые буквы, засверкало над стройплощадками и в городе, и в округе, и о владельце этого имени заговорили как о новом серьезном игроке в самой элитарной группе, в тесном кругу семейств и корпораций, контролирующих развитие нашего золотого града, Нью-Йорка.

— Семейств, сэр? Под семействами вы подразумеваете не то ли, что итальянцы деликатно именуют *famiglie*?

— Нет, сэр, не совсем. Эта отрасль в 2012 году стала намного чище, чем была прежде. В девяностые все строительные компании принадлежали мафии, их ставки абсурдно раздувались. Теперь влияние Пяти Семейств убавилось. На некоторых стройплощадках у Нерона работали и не члены профсоюза. Двадцать лет назад таких работников попросту убили бы.

— Значит, сейчас вы говорите о хорошо известных лицах: Доронине, Сумайде, Куране, Сильверстейне, Стерне, Фельдмане, аристократах строительного бизнеса.

— Не совсем, сэр, как я и сказал. Мафия не во-

все ушла. Теперь, когда все завершилось и все вышло наружу, мы вправе указать на тайные сделки Голдена с такими сообщниками, как филадельфийские потомки Петруччо “Маленький Цыпленок” Леоне и Арчимболло “Маленький Арчи” Антониони из Атлантик-Сити, а в Майами он имел дело с Федерико, он же “Безумный Фред” Бертолуччи. Стоит также заметить, что в Нью-Йорк-сити несколько Золотых башен возвела компания “Понти и Квазимодо Цемент Ко” — “Пи-Кью”, — в которой немалая доля принадлежала Франческо “Жирному Фрэнки” Палермо, предположительно — главарю генуэзского преступного клана.

— Это достоверно установлено?

— Теперь, когда “афера Голденов” пришла к концу, установлено достоверно. Более того, Нерон Голден явно вполне комфортно себя чувствовал, когда вел дела с этими личностями и стоящими за ними “семьями”.

— Комфортно?

— Сэр — это его выдавало.

И последние два вопроса:

— Имелась на обширных подбородках Цыпленка Маленького, Маленького Арчи, Безумного Фреда и Жирного Фрэнки “дизайнерская” ще-

тина? Владеют ли они и надевают ли время от времени по вечерам дурно сшитые фраки?

— Сэр — так точно.

Вот Нерон Голден, отменив прежнюю опалу всей прессе, водит по своему красивому дому фотографа из глянцевого журнала (никаких больше секретов, все напоказ). Вот Нерон Голден водит другого фотографа вокруг своей красивой жены. Супругу он называет своей вдохновительницей, своей путеводной звездой, источником своего “обновления”. Я старый человек, говорит он, и, наверное, в моем возрасте человеку наступает пора сбавить обороты, кататься на яхте, обзавестись клюшками для гольфа, зимовать во Флориде, передать маршальский жезл преемнику. До недавних пор я так и собирался поступить, хотя мои сыновья, видит бог, не проявляют интереса к семейному бизнесу. Младший, вы не поверите, работает сейчас в клубе для девочек, добрые дела, молодец, но что, если мне он тоже нужен, капелька внимания не помешала бы. Средний — художник, первенец — Петя. Вот так обстоит дело. Но это меня больше не беспокоит, потому что я словно возродился. Вот что делает с человеком женщина. Такая женщина, как миссис Голден — эликсир жизни, от нее волосы мужчины снова

чернеют, его пах укрепляется, ноги снова отмеряют мили, а его деловой ум — да, его она тоже вострит, будто нож. Посмотрите на нее! Разве можно усомниться в моих словах? Видели ее фотографии в “Плейбое”? Разумеется, нисколько не стыжусь, чего тут стыдиться? Знать свое тело. Ухаживать за ним, сделать его совершенным и не видеть ничего дурного в красоте — это свобода. Она — идеал эмансипированной женщины, а также идеал жены. Обе стороны медали. Да. Я счастливчик. Спору нет. Сорвал банк, точно.

16

По направлению к любви: трагедия

В тот день, когда погибли мои родители, я не поехал с ними. Это были длинные выходные после Дня поминовения, и они отправились за город, а я в последнюю минуту передумал и остался, потому что Сучитра Рой просила меня помочь в подготовке рекламного ролика для итальянского модного дома. Разумеется, я был влюблен в Сучитру — каждый, чьи пути хоть раз пересекались с этой женщиной-тайфуном, хотя бы малость влюблялся в нее, — и долгое время ее безумная энергия, ее размах, волосы, развевавшиеся у нее за спиной, когда она проносилась по Шестой авеню, ее голубая с золотом юбка, сверкавшая над новомодными кедами, руки, раскинутые разом в десяток направлений, словно у индийской богини, заключившей в свои объятия весь город, наводили на меня такую робость, что я и самому себе не решался признаться в этой любви, но к тому времени у меня уже не оставалось сомнений, а оставался один лишь вопрос: когда я объяснюсь и объяснюсь ли когда-нибудь. Некий голос в моей

голове твердил: “Скажи ей прямо сейчас, идиот”, но второй, зачастую более громкий голос, голос моей трусости, остерегал: мы слишком долго дружили, с какого-то момента уже поздно превращать дружбу в романтическую любовь, если попытаться это сделать и потерпеть неудачу, останешься и без любви, и без дружбы, и в голове моей звучал Пруфрок Элиота, терзаясь “Посмею? Разве я посмею?”, и подступался к ужасной и ужасающей проблеме любовного объяснения:

И стоит ли, я знаю, как все будет,

Когда диванную подушку или шаль
Поправив и в окно уставясь, Вы
“Так дело не пойдет, увы, мне жаль,
Увы, – ответите, – увы!”[48]

Я решил остаться в городе и поработать вместе с Сучитрой, а когда мы закончим редактировать текст и пойдем выпить пива, тут-то я и признаюсь. Да, непременно. Вот почему я не сел с родителями в машину и вот почему я до сих пор жив. Жизнь и смерть равно бессмысленны. Они случаются или не случаются по не имеющим веса причинам, которые ничему не учат. Нет в

---

[48] Примечания: 48
Перевод В. Топорова.

этом мире мудрости. Все мы шуты фортуны. Вот Земля, и она так прекрасна, и нам посчастливилось быть здесь вместе, а мы так глупы, и все, что происходит с нами, так глупо, мы не заслужили своего глупого счастья.

Я чушь несу. Давайте лучше объясню про ту дорогу.

Шоссе Лонг-Айленда — это дорога вдоль множества наших семейных историй; когда летом мы ездили на дачу, которую снимали на Олд-Стоунхайвей в Спрингс у профессора Колумбийского университета (тот однажды подхватил болезнь Лайма и несколько лет от нее лечился, после чего не желал больше посещать царство клещей), мы проверяли попутно все знакомые вехи. Вон Минеола и тамошнее кладбище, где лежат мои двоюродные дед и бабушка, почтительно кивнем в их сторону. Грейт-Нек и Литтл-Нек пробуждал в нас всех мысли о Гэтсби, и хотя мы не проезжали Ремзенбург, где столько лет прожил в послевоенной ссылке Вудхаус, мы частенько воображали, пока ехали по этой дороге, ту книжную вселенную, где герои Фицджеральда и Вудхауса ходят друг к другу в гости. Берти Вустер и Дживс врывались в изысканный мир Вест-Эгга и Ист-Эгга, придурковатый Берти вытеснял чуткого Ника

Карраузя. Реджинальд Дживс, любитель рыбы и Спинозы, “джентльмен при джентльмене”, истинный гений, находил способ соединить в счастливом эпилоге Джея Гэтсби с Дэйзи Бьюкенен, по которой тот так долго томился. Дикс Хиллс, произносил мой отец, неизменно дурачась и изображая бельгийского папашу с французским акцентом: Диии Хииилл, а я отвечал, я всегда отвечал, что на мой слух это звучит как имя звезды из сериала. А вот Уайянданч — здесь, когда мы проезжали разворот, кто-то из родителей обязательно рассказывал о вожде или же сахеме монтаукетов, который продал большую часть восточной оконечности Лонг-Айленда англичанину по имени Лайон Гардинер, а потом скончался от чумы. Уайянданч нередко всплывал вновь, когда мы добирались до восточной оконечности: родители вспоминали Стивена Токхауса, потомка Уайанданча, который каждый день преодолевал расстояние в пятьдесят миль между Монтауком, Саг-Харбором и Ист-Хемптоном. За разговорами о Уайанданче и Толхаусе мы проезжали знак, направлявший нас к полностью вымышленной представительнице коренного народа Шерли Уэйдинг-Ривер. На самом деле, этот знак указывал путь к двум разным поселениям, Уэйдинг-Ривер

и Шерли, но Шерли Уэйдинг-Ривер заняла свое место в нашем семейном фольклоре. Будучи фанатами научной фантастики, мы порой объединяли ее с постапокалиптическими вождями Три Водородные Бомбы и Сильная Радиация из классического рассказа Уильяма Тенна “Курс на восток” (1958), а в других случаях воображали ее великаншей вроде матери Гренделя или какой-нибудь ванджиной аборигенов Австралии, праматерью, каждый шаг которой преобразует ландшафт у нее под ногами.

В дороге родители слушали радио. Стариковский канал 101,1, музыка, потом WNYC со словами, а когда сигнал слабел, они ждали, пока не появится “Ист-Хемптон мьюзик” — примета, означавшая, что выходные начинаются: софт-рок и лобстер-ролл, еще одна стандартная шуточка отца, и WEHM с аудиокнигами. В тот раз они собирались слушать Гомера. Думаю — не могу быть уверен, но предполагаю, — что к тем выходным накануне Дня поминовения они добрались до Четвертой песни Одиссеи, Телемах является во дворец к Менелаю в тот самый день, когда дочь Менелая и Елены, возвращенной из Трои, выходит замуж за сына Ахилла.

Возможно, они слушали те строки, в которых

Менелай вспоминает день, когда Елена подошла к деревянному коню, заподозрив, что внутри прячутся греческие воины, и соблазнительно, лукаво подражала голосам их жен (воображаю, как она тянулась на цыпочках, эротично гладила деревянное брюхо чудища, пока окликала мужчин) — так чувственно, что Диомед, и сам Менелай, и даже Одиссей готовы были выпрыгнуть к ней, и все же Одиссей в последний момент удержался сам и удержал товарищей, кроме Антикла, тот уже собирался закричать в ответ и закричал бы, если б Одиссей не *сомкнул две жилистые руки на его устах и сжимал их там*. По некоторым версиям, он и вовсе удушил Антикла, спасая спрятавшихся греков. Да, может быть, те бессмертные строки звучали в их ушах, когда металлическая труба, валявшаяся на дороге, просто валявшаяся там хренова металлическая труба скатилась с какого-то хренова грузовика и разве водитель грузовика остановился нет он не остановился знал ли он нет он вряд ли даже заметил закрепил ли он как следует груз нет он абсолютно точно не закрепил его на хрен потому что вот она

металлическая труба

На полосе для автомашин с пассажирами потому что мои родители мои любимые единственные

мои никогда не гнали нет сэр они предпочитали ехать не торопясь по той полосе без съездов и развязок предназначенной для машин с пассажирами по размеченной ромбами разумной дороги потому что кому какое дело почему но в тот раз дорога оказалась не такой уж безопасной на хрен потому что металлическая труба

покатилась

Я приближаюсь к ужасу, я сделаю передышку и соберусь с духом. Может быть, напишу потом.

Нет. Никакого потом. Сейчас.

Труба семи футов длиной. Она выкатилась под колеса другого автомобиля, который зацепил ее, как писали в отчетах, “по касательной”. Труба завертелась и каким-то образом ухитрилась встать на попа, перекувырнулась, разнесла ветровое стекло машины, в которой ехали мои родители, и ударила отца по голове, убив его на месте. Автомобиль потерял управление, его вынесло с безопасной полосы на полосу для скоростного транспорта, он столкнулся с несколькими машинами разом, и в этой аварии погибла и мама тоже. Чтобы вытащить их из машины, разрезать металл, спасателям понадобились “челюсти жизни”, однако оба оказались уже мертвы. Тела их доставили в Университетскую больницу

Норт-Шора, в округе Нассау, и там обоих признали “мертвыми по прибытии”. В полночь, едва я успел трепетно объясниться Сучитре Рой в любви в обустроенном на британский лад пабе на углу Бликер и Ла-Гуардиа и услышал ответ, на который почти и не надеялся — она тоже питает ко мне глубокие чувства, — раздался этот звонок.

Большую часть того года я почти не мог ни о чем думать. Я слышал только оглушительный грохот гигантских крыл — ангела смерти. Двое спасли меня. Одной была моя только что обретенная возлюбленная, блистательная, нежная Сучитра. Вторым — Нерон Голден.

Со свойственной им предусмотрительностью — КОТОРАЯ НЕ СБЕРЕГЛА ИХ ЖИЗНИ, ТАК ВЕДЬ, ЧУЖАЯ БЕЗЗАБОТНОСТЬ СГУБИЛА ВСЕ ИХ ЗАБОТЫ, БЕЗЗАБОТНОСТЬ ТРУБЫ, ВЫБРОШЕННОЙ НА ДОРОГУ, ВЗДЫМАЮЩЕЙСЯ, БЬЮЩЕЙ МОЕГО ОТЦА В ЛИЦО, ЖАЛКИМ ПОДОБИЕМ КОТОРОГО БЫЛО МОЕ, МЫ, ПРИШЕДШИЕ ПОЗЖЕ, ЛИШЬ ПОДРАЖАНИЕ ТЕМ ПОДЛИННЫМ, КТО БЫЛ ДО НАС И КТО УШЕЛ НАВЕКИ, ГЛУПО, БЕССМЫСЛЕННО УБИТ СЛУЧАЙНОЙ ТРУБОЙ ИЛИ БОМБОЙ В НОЧНОМ КЛУБЕ ИЛИ ДРОНОМ — мои родители оставили дела в полном порядке. Все необходимые документы тщательно составлены,

законно оформлены, мое наследство обеспечено, также имелась страховка, чтобы выплатить налоги с наследства, и мне оставалась немалая сумма. Итак, пока что я мог жить на прежнем месте, хотя потом, вероятно, дом все-таки следовало выставить на продажу. Он был для меня слишком велик, слишком дорого стоил, расходы на содержание и налог на недвижимость оказались бы для меня едва ли посильными и ТАК ДАЛЕЕ, МНЕ БЫЛО НАПЛЕВАТЬ. Я бродил по улицам в слепой ярости, словно гнев разом сгустился, сочился в меня из воздуха, гнев неправедно убиенных, юношей, застреленных за то, что они, будучи чернокожими, поднимались по парадной лестнице, мальчишки, застреленного за то, что баловался с игрушечным пистолетом, будучи чернокожим, все эти повседневные черные смерти Америки, убитые вопияли, что имели право на жизнь, и я чувствовал их и ярость белой Америки, вынужденной терпеть чернокожего в Белом доме, пенящуюся ненависть гомофобов, оскорбленное негодование их жертв, гнев синих воротничков, которых жилищный кризис оставил добычей “Фэнни Мэй” и “Фредди Мака” и прочих ипотечных гигантов, накопившееся недовольство разделенной в себе страны, где каждый верил

в свою правоту, в праведность своего дела, уникальность своего страдания, каждый требовал внимания, долгожданного внимания только к себе, и я начал задумываться, нравственные ли мы существа или просто дикари, которые возводят свои частные предрассудки и ханжество в общеобязательную этику, единственно возможный путь. Мои дорогие ушедшие бельгийцы вырастили меня в убеждении, что идеи добра и зла естественно даны человеческому существу, что это концепции врожденные, не сотворенные. Мы верили в нравственный инстинкт, встроенный в ДНК так, как, согласно Стивену Пинкеру, встроен "языковой инстинкт". Таков был наш семейный ответ на притязания религии, будто неверующий человек не может быть нравственным, только нравственная структура религиозной системы, утвержденная неким Высшим Арбитром, может дать человеку точные инструкции, где добро, где зло. Мои родители отвечали на это "чушь собачья" или тем выражением, которое усвоили от приятелей-австралийцев и радостно использовали, словно собственное изобретение: "конская куча". Нравственность предшествует религии, религия стала ответом наших предков на встроенную в человека этическую потребность. И

если это правда, из этого следовало, что человек вполне способен жить достойно, точно различать добро и зло, не впуская в свое жилище Бога и прочих гарпий.

— Проблема в том, — рассуждала мама, сидя на скамейке в Саду, — что, хотя мы запрограммированы на этику, программа не показывает нам, в чем заключается добро и зло. Эти категории остаются в мозгу пустыми и ждут, пока мы заполним их. Чем? Мыслью. Суждением. Такого рода вещами.

— Один из основных принципов человеческого поведения, как я убедился, — добавил мой отец, прохаживаясь взад-вперед перед той же скамейкой, — заключается в том, что почти в любой ситуации каждый убежден, что именно он поступает правильно, а его оппонент виноват.

И мама со своей стороны дополняла:

— К тому же мы живем в такие времена, когда практически невозможно достичь единого мнения по какому-либо экзистенциальному вопросу, мы не можем даже разумно дискутировать, а когда природа реальности подвергается столь сильному сомнению, то же самое происходит и с природой блага.

Затеяв такой разговор, они словно бы вели

парный танец или играли в бадминтон, их слова двигались в такт друг другу, их ракетки отправляли волан туда и обратно и вновь туда и обратно.

— Идея, что мы обладаем нравственным инстинктом, не подразумевает заодно и другую — что мы знаем, в чем конкретно заключается нравственность. Если б знали, то истинные философы остались бы без работы, а мы бы жили не в столь разодранном мире.

Отец тыкал в меня пальцем: *ты понял? Ты все усвоил?* — и я кивал, словно школяр: да, папа, да, мама, я все понял, в этом мы все заодно, это и есть то, что мы знаем.

— Но знаешь ли ты, что для этого существует специальное слово? — наседал отец.

Для чего специальное слово, папа?

— Определение: предполагаемая врожденная способность человеческого разума осознавать фундаментальные принципы этики и морали. Технический термин философии, означающий врожденный принцип нравственного сознания каждого человека, направляющий его к добру и удерживающий от зла.

Так что это за слово, папа?

— Синдересис, — отвечала за него мама. — Слышал ли ты в жизни лучшее слово?

— Нет лучшего слова, — подхватывал отец. — Запомни, малыш. Лучшее в мире слово.

Их голоса умолкли навсегда, я больше их не услышу.

Они ошибались. Род человеческий дик и безнравственен. Я жил в заколдованном саду, но жестокость, бессмыслица, ярость прорвали ограду и уничтожили все, что я любил.

Я никогда не видел покойников до той минуты, когда в морге Минеолы увидел трупы родителей. Я выслал одежду для них, один из ассистентов Сучитры взял это поручение на себя, и я выбрал в интернете гробы, как обычно бывает, согласившись на абсурдно дорогие ящики, в которых им предстояло сгореть. Наш дом заполнили профессора мужского и женского пола, помогали. Мне оказывали всяческую поддержку лучшие специалисты по искусству древнего Шумера, ядерной физике, Первой поправке и литературе Содружества. Но никто не мог поддержать меня при встрече с телами. Сучитра повезла меня в своем стареющем джипе, и поскольку мы никоим образом не могли обсуждать то, что нам следовало бы обсудить, мы впали в черный юмор, перебирая самые смачные “трупы недели” из старого сериала HBO “Клиент всегда мертв”. Моим

фаворитом была женщина, которая отправилась на девичник во взятом напрокат лимузине, вылезла через открытую крышу, чтобы во весь голос выразить свое счастье, и въехала прямо лицом в корзину подъемного крана. Не так-то легко было сотрудникам похоронного бюро привести после этого в порядок ее сплющенную физиономию.

А дальше — залитая слишком ярким светом комната, стоящие рядом каталки, два горизонтальных существа под простынями, некогда они, горизонтально распростертые на иной, более мягкой поверхности, совокупились радостно — может быть, неумело, а может, и нет, я не мог вообразить своих родителей ловкими секс-акробатами, но вовсе не хотел представлять их неуклюжую возню, — и в итоге получился отупевший бессмысленный одиночка, что стоял теперь перед каталками, подтверждая: эти двое неспособны более на акт, давший ему жизнь, да и ни какой другой акт не способны.

В морге постарались по максимуму. Первым делом я подошел к матери: они убрали с ее лица страх, как убрали пронзившие ее осколки стекла и металла, и хотя косметики на ней было больше, чем когда-либо при жизни, это была она. Я видел, что это она, и выглядела она — или я сумел

себя убедить в этом — выглядела она спокойной. Я обернулся к отцу, и Сучитра подошла сзади, прислонилась щекой к моей спине, обвила меня руками за талию. Ладно, сказал я, ладно, и приподнял простыню. И наконец заплакал.

На следующий после кремации день Нерон Голден прошел через Сад к нашему дому — нет смысла называть его “моим домом”, родители присутствовали здесь в каждом дюйме — и тростью постучал во французское окно. Это было так неожиданно — король стучится в дом осиротевшего простолюдина, — что сначала я принял его за проекцию собственного воображения. Утрата ослабила мою связь с реальностью. Старая леди, миссис Стоун, жившая в Саду (в четырех комнатах бельэтажа с высоким потолком, это здание было разделено на поэтажные апартаменты), частенько заговаривала о привидениях. Об этой даме я еще ни разу не упоминал и, вероятно, вновь забуду о ней, позволив ей на миг появиться в сюжете. Дети в Саду прозвали ее Шляпой из-за любви к широкополым шляпам от загара; она много лет вдовела, покойный супруг владел ранчо в Техасе, наткнулся на нефть и тут же забросил рогатый скот ради светской жизни и всемирно признанной коллекции марок. Миссис Стоун

перехватила меня на пути к тренажерам — поговорить о моей утрате. Смерть в семье, как и рождение ребенка, дает посторонним или почти посторонним людям право подходить к тебе и заводить свой монолог.

— Мужа я ни разу не видела после его кончины, — доверительно сообщила она. — Видимо, счастлив был уйти. Даже не пытался вступить в контакт. Так вот поживешь — узнаешь. Но однажды вечером на Макдугал я видела подростка в ливрее — чернокожего паренька в затейливом наряде, — он передвигался на коленях. Почему же на коленях, подумала я, тут у нас нет никакой религиозной истории. Потом я вычислила: он вовсе не на коленях шел. Уровень улицы с тех пор поднялся, и мальчик шел на том нижнем уровне, поэтому я *видела* его только до колен. Помощник конюха, наверное, шел по переулку в старую конюшню, что была там в 1830-е, обслуживала Вашингтон-сквер. Или слуга, например, Гертруды Уитни, она жила здесь в ту пору, ты же знаешь, когда создавала свой музей. Так или иначе — призрак, самый настоящий. И это еще не все.

Но на этом месте я извинился и ушел. Соседские рассказы о привидениях преследовали меня в те печальные дни. Дух Аарона Берра, высматривав-

ший в Виллидже шлюх. Музыкальные призраки, драматические призраки прямо в сценических костюмах, игравшие зимой на Коммерс-стрит.

Мое старое Я этим не интересовалось, однако новое, осиротевшее Я разрешало всем рассказывать свои истории, и по ночам я пытался расслышать отцовский и материнский смех, эхом разносящийся в пустых комнатах. В таком настроении я увидел Нерона Голдена в раме французского окна и подумал: *Призрак.* Но это был он во плоти.

— Позвольте мне войти, — произнес он и вошел, не дожидаясь разрешения. Войдя, прислонил трость к стене и уселся в любимое кресло моего отца.

— Мистер Рене, я человек прямой, говорю просто, никогда не видел пользы в том, чтобы ходить вокруг да около. Так что я скажу вам про вашу утрату: это *ваша* утрата. Родители ушли, не стоит о них беспокоиться, они более не существуют. Лучше побеспокойтесь о себе. Дело не только в том, что вы страдаете и нуждаетесь в исцелении. Дело еще и в том, что старшие больше не стоят между вами и могилой. Таково взросление. Теперь вы первый в очереди, и могила зияет. А значит, пора обрести мудрость: научиться быть

мужчиной. Если вы согласны, я предлагаю свою помощь.

Впечатляющая речь. Если он пытался встряхнуть меня и выдернуть из скорби, доведя до белого каления, ему это удалось. Но прежде чем я собрался ответить, он остановил меня, подняв руку.

— Вижу вашу реакцию по лицу: собралась туча и грозит бурей. Разгоните ее! Ваш гнев неуместен. Вы молоды, а я стар. Вам следует учиться у меня. Ваша страна тоже молода. Человек мыслит иначе, когда за спиной у него тысячелетия. А у вас нет и двухсот пятидесяти лет. И еще я скажу: я ведь пока не слеп и замечаю ваш интерес к моей семье. И поскольку считаю вас неплохим парнем, извиняю этот интерес, ведь единственная альтернатива — приказать вас убить, ха-ха. Я думаю, что теперь, когда вы стали мужчиной, вы сможете поучиться у нас, у всех Голденов, хорошему и плохому, что делать и чего не делать. У Пети — как бороться с тем, в чем вы не виноваты, как играть, если вам сданы плохие карты. У Апу — наверное, не уподобляться ему. Кажется, он так и не сумел достичь глубины. У Диониса, моего смятенного сына — учитесь, как жить в раздвоенности и боли.

— А у вас?

— А что до меня, мистер Рене, вероятно, вы догадались, что я не святой. Я жесткий и хвастливый и привык к превосходству, и то, чего хочу, я беру, а чего не хочу, то устраняю со своего пути. Но глядя на меня, вы должны задать себе вопрос: возможно ли быть одновременно и хорошим, и дурным? Может ли человек быть хорошим человеком, если он плохой человек? Если верить Спинозе и соглашаться с тем, что все происходит по необходимости, то может ли необходимость, управляющая человеком, подталкивать его и к дурному, не только к хорошему? Что такое хороший человек в детерминированном мире? Имеет ли это определение хоть какой-то смысл? Когда найдете ответ, скажите мне. Но прежде, чем это произойдет, сегодня мы вместе пойдем в город и будем пить.

Позже.

— Смерть — с ней мы научились иметь дело. Мы принимаем ее и двигаемся дальше, — рассуждал Нерон Голден. — Мы, живые, должны жить. Но вот вина — это ужасно. Это остается и причиняет нам вред.

Мы сидели в “Русской чайной” — он угощал — и

пили из стопок ледяную водку. Он приподнял свою рюмку, как бы приветствуя меня, и выпил. Выпил и я. Для того мы сюда и пришли, а закуску — блины с икрой, пельмени, котлеты по-киевски — мы ели только затем, чтобы еще выпить.

— Если вернемся домой трезвыми, — сказал Нерон Голден, — значит, со своей задачей не справились. Надо выпить столько, чтобы мы не соображали толком, как попали домой.

Я мрачно склонил голову:

— Согласен.

Еще по рюмке.

— Моя покойная жена, возьмем для примера… — Нерон ткнул в меня пальцем. — Не прикидывайтесь, будто вам ничего не известно. Я знаю, кто у меня в доме болтун. Проехали. Ее смерть — большая печаль, но не трагедия, уровня трагедии не достигает.

Еще стопка.

— Вернее, личная трагедия — безусловно. Трагедия для меня и моих сыновей. Но великая трагедия универсальна, так?

— Так.

— Вот. Что я хочу сказать. Не факт смерти сокрушителен для меня, сокрушителен настолько, что вынудил изменить свою жизнь, но факт от-

ветственности. Моей. Моя ответственность — вот в чем вопрос. Вот что преследует меня, когда по ночам я гуляю в Саду.

К этому часу вечера уже я считал своей обязанностью утешать его, хотя первоначально цель нашей встречи была противоположной.

— Вы поссорились, — сказал я. — Такое случается. Это не возлагает на вас бремя ее смерти. Во вселенной, где правит этика, за убийство отвечает лишь убийца. Так должно быть, иначе вселенская этика обратится в абсурд.

Он молчал и пил, официанты стояли наготове, чтобы принести еще водки.

— Позвольте привести другой пример, — высокомерно продолжал я, взлетая к вершинам мысли, ощущая себя истинным сыном своих родителей. — Допустим, я — подонок.

— Законченный подонок?

— Абсолютный законченный подонок. Вонючий.

— Хорошо, это я вообразил.

— Представьте, что я каждый день становлюсь у вас под окнами и принимаюсь поносить вас и всю вашу семью.

— В непристойных выражениях?

— Самых отборных. Я оскорбляю вас и ваших

близких самыми подлыми словами.

— Это было бы нестерпимо.

— У вас дома есть оружие.

— Как вы узнали об этом?

— Гипотетически.

— А, гипотетически. Превосходно. Понял. Гипотетическое оружие.

— И вы берете это мысленно представленное оружие и что вы делаете?

— Стреляю в вас.

— Стреляете мне прямо в сердце и угадайте, что происходит с вами?

— Я счастлив.

— Вы становитесь убийцей.

— Я становлюсь счастливым убийцей.

— Вы будете виновны в убийстве, и адвокат в суде не сможет оправдать вас словами: ваша честь, он убил засранца.

— Вот как?

— Даже последний подонок не считается виновным в своей смерти, если его убьют. Всю тяжесть ответственности за преступление понесет убийца и он один.

— Это и есть философия?

— Я хочу еще водки. Философия в бутылке.

— Официант!

После очередной рюмки он затуманился.

— Ты молод, — сказал он, — и не понимаешь, что такое ответственность. Не знаешь ни стыда, ни вины. Ничего не знаешь. Все равно. Твои родители мертвы. Надо этим заняться.

— Спасибо, — ответил я и больше ничего не помню.

Конец.

— Вначале, — рассказывала Сучитра, сидя у моей постели, а я стонал и хватался за голову, — вначале была официальная Коммунистическая партия Индии, КПИ. Но в Индии проблема с перенаселением, и левые партии тоже не заботились о контроле своей рождаемости. Так что после КПИ появилась КПИ (М), Коммунистическая партия Индии (марксистская), Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская), КПИ (М-Л). Уже достаточно? Малыш, это самое начало. Постарайся уследить. Итак, у нас имеется Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) за освобождение плюс Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) Наксалбари, и Коммунистическая партия Индии (марксистско-ленинская) Джанашакти, и к ней еще Коммунистическая партия Индии (марксистско-

ленинская) “Красная звезда”, и не забудем также Коммунистическую партию Индии (марксистско-ленинскую) Центральная команда, и не упустим упомянуть Революционный коммунистический центр Индии (марксистско-ленинско-маоистский), не говоря уж о Коммунистической партии Соединенных Штатов Индии и о Коммунистической партии Индии (марксистско-ленинской) “Красный флаг”, или о Коммунистической партии Индии (марксистско-ленинской) “Новая демократия”, или о Коммунистической партии Индии (марксистско-ленинской) “Новая инициатива”, или о Коммунистической партии Индии (марксистко-ленинской) Сомнат, или о Коммунистической партии Индии (марксистско-ленинской) Второго центрального комитета, или о Коммунистической партии Индии (марксистко-ленинской) большевиков. Будь добр, продолжай внимательно слушать. Эти группировки продолжали размножаться. Имелся у нас и Маоистский коммунистический центр, который слился с Группой народной войны и в результате сформировал Маоистский коммунистический центр Индии. Или, может быть, Маоистский коммунистический центр Индии слился с Коммунистической партией Индии (марксистко-

ленинской) “Народная война” и таким образом основал Коммунистическую партию Индии (маоистскую). Такие различия трудно проследить. Я рассказываю тебе все это, чтобы объяснить, с какой стати мои бенгальские родители, двое неустрашимых ориентированных на капитализм предпринимателей, запертые в Калькутте среди многоголовых, как Равана, коммунистических партий Индии (Уран-Плутон), среди этих ядерных левацких боеголовок, предпочли бежать и обустроиться в Альфаретте, пригороде Атланты, штат Джорджия, и там я и родилась. Это была, думаю, правильная идея, с экономической точки зрения безусловно правильная, ибо они открыли множество компаний, салоны красоты, одежные бутики, агентство недвижимости, центр душевного исцеления, как видишь, они тоже размножились. Но, к несчастью, рядом с ними множились и укреплялись в плодородной американской почве также политические институции индийских правых, росли эмигрантские ветви партии “Раштрия сваямсевак сангх”, пышно цвела “Вишва Хинду Паришад”, благоденствовала партия “Бхаратийя джаната” и различные фонды, собиравшие доллары на те же цели. Мои родители ускользнули из одной воронки и провалились

в другую, и когда они зачастили на обеды РСС и заговорили с восторгом о человеке грудь колесом — которого они именовали НаМо[49], — я поняла, что настало время любить их издали и бежать от них. И я двинула в Нью-Йорк и теперь лезу из кожи вон, пытаясь тебя рассмешить, так что будь любезен хотя бы усмехнуться, пора уже.

— Значит, так ты себе представляешь лечение от похмелья, — сказал я.

Насчет “лезу из кожи вон” — Сучитра действительно так жила, изо дня в день, каждую минуту каждого дня. Я не знаю никого другого, кто мог бы вполовину так усердно работать и еще находить время для удовольствия: в эту категорию, на мое счастье, попал и я. Она просыпалась рано, мгновенно развивала скорость, неслась в свою студию, отдавала работе все силы, бегом мчалась вдоль Гудзона или через Бруклинский мост и все же возвращалась — свежа как ромашка и вдвое ее наряднее — к вечеру, жадно беря то, что вечер мог ей предложить, будь то открытие галереи, предварительный показ фильма, день рождения, караоке-бар, ужин со мной, и у нее еще оставалась энергия заняться перед сном любовью.

---

[49] Примечания: 49
Наренда Моди, премьер-министр Индии с 2014 г.

Любовницей она была столь же энергичной, хотя и без фантазии, но на это я не жаловался. Я и сам вовсе не гигант секса, а в ту пору любовь хорошей женщины спасала меня от мрака. Суровая забота Нерона Голдена и пьяные ночи с ним да добрая сверхскоростная любовь Сучитры Рой — вот что помогло мне пережить те времена. Я вспоминал, как чередовались голоса “доброго копа” и “злого копа”, когда миссис Голден везли на скорой после попытки самоубийства, и понимал, что на этот раз от самоубийства спасают меня.

Безмолвие на небе, или Пес в Бардо

Город Нью-Йорк был мне матерью и отцом все то лето, пока я не научился жить без родителей и не принял, как советовал мне Нерон, свое место взрослого во главе той очереди, что ждала своего часа увидеть последнее представление. Как обычно, мне помогло в этом кино, *Det sjunde inseglet* (“Седьмая печать”) Ингмара Бергмана, фильм, который сам великий режиссер считал “неровным”, но всех нас он зачаровал. Рыцарь (эту роль исполнял Макс фон Сюдов, который потом станет скучающим художником Фредериком в фильме “Ханна и ее сестры” и бессмертным Мингом Беспощадным во “Флэше Гордоне”) на обратном пути из крестового похода играет в

шахматы с окутанной темным плащом Смертью, чтобы отсрочить неизбежное, чтобы в последний раз увидеть перед смертью жену. Сломленный рыцарь и циничный оруженосец, по Бергману, — вовсе не забавные Дон Кихот и Санчо в поисках прошлогоднего снега. Бергман прорабатывал свои проблемы с верой, он вырос в глубоко религиозной семье, но я не считал обязательным воспринимать фильм исключительно с такой точки зрения. Название его заимствовано из Откровения: “И когда Он [Агнец] снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса” (Откровение 8:1). По мне, молчание в небесах, отсутствие Бога, было истиной секулярного мировоззрения, а “полчаса” означало продолжительность человеческой жизни. Сорвав седьмую печать, мы обнаруживали, что у Бога ничего нет и ему нечего сказать, и человеку предоставлено пространство его маленькой жизни, чтобы совершить, как желал того рыцарь, один значимый поступок. “Жена, которую я мечтал увидеть перед смертью” — это моя мечта снимать кино. Значимый поступок — тот фильм, который я замыслил, мой фильм о моем Саде, населенном реальными и воображаемыми суще-

ствами, как труппа Олтмена[50] и Голдены в доме на дальнем от моего дома конце Сада. “Поступок” — это путешествие, “жена” — его цель. Я сказал что-то в этом роде Сучитре, и она кивнула: “Пора заканчивать сценарий и начинать добывать деньги”.

Тем временем великий город прижимал меня к груди и давал мне уроки жизни. Лодка на пруду, где катался Стюарт Литтл, напоминала мне о красоте невинности, а то место на Клинтон-стрит, где Джудит Малина[51] все еще была почти жива и ее Живой театр все еще охотно обнажался, говорило со мной о старой школе, умевшей на все наплевать. А на Юнион-сквер играли шахматисты и, возможно, смерть тоже играла здесь в блиц, отнимая жизни словно какой-то пустяк, или неторопливые партии с выключенными часами, когда черный ангел притворялся, будто с уважением относится к жизни, а сам исподволь готовил противника станцевать с ним *danse*

[50] Примечания: 50

Балетная группа из фильма Роберта Олтмена “Труппа” (2003).

[51] Примечания: 51

Джудит Малина (1926–2015) — американская актриса и писательница, вместе с мужем Джулианом Беком основала в 1951 г. бунтарский Живой театр.

macabre[52]. Отсутствия говорили со мной столь же внятно, как присутствия: обувные магазины, исчезнувшие с Восьмой улицы, эксцентричность, утраченная Верхним Вест-Сайдом, где некогда Майя Шейпер держала магазинчик “Сыр и древности”, а на вопрос, откуда такое сочетание, отвечала: “То, что я люблю”. Всюду, куда бы я ни пошел, город обхватывал меня руками и шептал мне на ухо слова утешения.

В тот вечер, когда Апу открывал свою вторую выставку у Соттовоче в Бауэри, в квартале от Музея идентичности (эти его картины были умны и стремительны, технически умелы, энергичны, в духе поп-арта и совершенно мне чужды), в городе появились огромные рисованные афиши Лори Андерсон, изображающие сорок девять дней пребывания ее любимой умершей собаки, рэт-терьера Лолабелль, в бардо[53]: эта зона в тибетском буддизме отделяет смерть от нового рождения. Сучитра и я остановились перед одним таким изображением, милый песик широко раскрытыми глазами смотрел на нас из другой жизни, и

[52] Примечания: 52

Танец смерти (*франц.*).

[53] Примечания: 53

В 2015 году Лори Андерсон сняла фильм “Собачье сердце” и сама нарисовала для него анимацию.

вдруг во мне прозвучали слова “все хорошо”, и я произнес их вслух.

— Все хорошо, — сказал я, и улыбка расплылась по моему лицу. — Все хорошо, все хорошо, все хорошо.

Тень, накрывавшая меня, рассеялась, будущее вновь казалось возможным, и счастье мыслимым, и жизнь началась заново. Лишь много времени спустя, оглядываясь, я подсчитал, что это был сорок девятый день со смерти моих родителей.

Я не верю в бардо. Но что было, то было.

“ФЛЭШ! Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! НО У НАС ОСТАЛОСЬ ВСЕГО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЧАСОВ, ЧТОБЫ СПАСТИ ЗЕМЛЮ!”

В ту ночь меня охватила эйфория, я был опьянен тем, что простил родителям их смерть и себя простил, хотя остался в живых. Мы шли с Сучитрой домой в Сад, и я почувствовал, что настала пора для запретных дел. Мы и так уже были опьянены жизнью, но вскрыли издавна сохраняемый пакетик “Афганской луны” и вдохнули — и тут же в шишковидной железе у каждого из нас открылся, как и предсказывал мой отец, третий глаз, и мы постигли тайны мира. Мы увидели,

что мир вовсе не бессмыслен и не абсурден, он обладает глубоким смыслом и формой, но форма и смысл скрывались от нас доселе, заслоненные иероглифами и эзотерикой власти, потому что властители мира стараются скрыть смысл от всех, кроме посвященных. Мы поняли также, что спасение планеты зависит от нас двоих и что силой, спасающей планету, станет любовь. Голова кружилась: мы постигли, что Макс фон Сюдов, Минг Беспощадный, тоталитарный, капризный, безвкусно одетый в ярко-красный плащ злого гения из фантастического комикса, выступил в поход против человечества, а потом лицо Минга расплылось и стало похоже на лицо Нерона Голдена, и это несправедливо, поскольку Голден был так добр ко мне в последнее время, но не может ли человек быть одновременно и хорошим, и плохим, спрашивали мы себя, и “Афганская луна” отвечала: неразрешимое противоречие и союз противоположностей есть глубочайшая из всех тайн. Сегодня ночь любви, сказала нам “Афганская луна”, ночь празднества для живых тел и прощания с утраченными телами ушедших, любимых, но когда утром встанет солнце, уже нельзя будет терять ни минуты.

17

Если задолжаешь банку доллар, тебе конец, у тебя овердрафт. Если задолжаешь миллиард — ты богач, и банк работает на тебя. Трудно было вычислить в точности, насколько Нерон Голден в самом деле богат. Его имя в те дни стояло на всем, повсюду, от хотдогов до коммерческих университетов, оно, его имя, бродило по Центру Линкольна, обдумывая, не пожертвовать ли “штуку” на ремонт холла Эвери Фишера при условии, что от старого имени откажутся и крупными заглавными буквами из золота украсят стены именем Голдена. “Штукой” его имя для краткости обозначало сто миллионов долларов, цену входного билета в мир настоящих богачей: пока у тебя нет “штуки”, ты никто. Его имя несло с собой “штуку”, обходя город, то подумывало вложиться в кинофестиваль в Трибеке, но он бы обошелся намного дешевле “штуки”, так что кинофестиваль показался ему ерундой; о чем его имя по-настоящему, взаправду мечтало, так это о стадионе “Янкиз”. Вот что послужило бы доказательством: его имя покорило Нью-Йорк. После этого хоть мэрию им украшай.

Я предполагал, что Голден прихватил с собой изрядный капитал, отправляясь на Запад, но ходили упорные слухи, что все его предприятия затевались с большим участием сторонних ресурсов, что весь этот мегабизнес под его именем был игрой на грани фола, и тенью за его именем, куда бы он ни пошел, следовало банкротство. Он представлялся мне жителем не Нью-Йорка, но невидимого града Октавии, который Марко Поло описывал Кубла-Хану в книге Кальвино: город-паутина, сеть, натянутая над бездной между двумя горами.

“Жизнь обитателей Октавии избавлена от неопределенности иных городов, — пишет Кальвино. — Они знают, сколько времени может продержаться их сеть — и не дольше”.

Представлялся он мне и в образе тех персонажей мультфильмов, Вилли Койота, например, который бежит по самому краю и срывается в глубокий каньон, и все-таки продолжает бежать, вопреки законам гравитации, пока не глянет вниз — и тогда лишь упадет. Осознавший безнадежность своих усилий обречен на катастрофу. Нерон Голден все еще мчался вперед, вероятно, потому, что ни разу не глянул вниз.

Много месяцев я провозился, разбирая свой

дом, отправлял то, что хотел сохранить, на склад в Вест-Сайде, тот, где стена обклеена смешными плакатами, их хорошо видно с хайвея: “В Нью-Йорке шесть профессиональных спортивных команд, а также «Метс»” или “Если тебе не нравятся гей-браки, не вступай в гей-брак”, и еще: “В доме отца моего обителей много” (Ин 14:2) — сразу видно, Иисус жил не в Нью-Йорке” — и: “Помни, если уедешь из города, тебе придется жить в Америке”. Да, ха-ха, уловил юмор, но по большей части я снова был мрачен, старался не обнаруживать это при Сучитре, но она понимала, что я переживаю. Потом настало время выставить дом на продажу, и ко мне в Саду подошла Василиса Голден, обняла меня, поцеловала в щеку и сказала: “Я устрою это для тебя, это будет наше семейное дело”, и это было так мило, что я молча кивнул и предоставил ей заняться сделкой.

И опять-таки мне трудно было объективно судить о Голденах в тот год. С одной стороны, он сам был так добр ко мне, а теперь и его жена тоже проявила участие. С другой стороны, он с энтузиазмом поддерживал избирательную кампанию Ромни, а его ремарки в адрес президента и супруги президента отдавали старомодным ханжеством: “Конечно, ему по душе геи, ведь

он женат на мужчине” — это еще из самых приличных. Зачастую он повторял свой “любимый республиканский анекдот” про немолодого мужчину (белого, разумеется), который после новых выборов ежедневно является к Белому дому и просит о встрече с президентом Обамой. В третий или четвертый раз утомленный его настойчивостью привратник отвечает: “Сэр, я повторяю вам снова и снова: мистер Обама не является более президентом Соединенных Штатов и не живет по этому адресу. Вы уже слышали это и все равно приходите опять и задаете тот же вопрос и получаете тот же ответ — в чем дело?” И на это белый республиканец отвечает: “Просто мне очень приятно это слышать”.

С этим я смирился, хотя опасался (за самого Нерона), как бы темная сторона не взяла в нем верх над светлой. Я дал ему почитать великую сказку Андерсена “Тень”, о человеке, чья тень отделилась от него, объездила мир, сделалась умнее и хитрее былого владельца, соблазнила принцессу, с которой тот был обручен, а заключив с ней брак, приговорила (заодно с беспощадной принцессой) своего хозяина к смерти. Я хотел, чтобы Нерон осознал опасность, грозившую его душе, если позволено нерелигиозному человеку употреблять

такой термин, однако Нерон читать не любил и вернул мне книгу с пренебрежительным жестом. “Мне сказки ни к чему”, сказал он.

Но потом… они оба, муж и жена, призвали меня к себе и объявили свое решение касательно меня.

— Вот что тебе следует сделать, — сказала Василиса Голден. — Переехать и жить с нами в этом доме. Это большой дом со множеством комнат и двое из троих мальчиков тут теперь редко бывают, а третий — Петя — почти не выходит из своей комнаты, а потому здесь достаточно места для тебя, и ты составишь отличную компанию для нас обоих.

— На время, — уточнил Нерон Голден.

— С девушкой кто знает, как оно обернется, — продолжала Василиса. — Может, ты съедешься с ней, а может быть, вы расстанетесь, время покажет. Пока лучше не торопиться. Тебе сейчас ни к чему лишнее напряжение.

— Пока поживешь, — сказал Нерон Голден.

Это было поистине щедрое предложение, пусть и на ограниченный срок, но от всей души и с полным ко мне доверием, и я, конечно, никак не мог его принять. Я открыл рот, чтобы возразить, но Василиса подняла царственную длань.

— Об отказе и речи быть не может, — сказала она. — Иди, собирай вещи, мы пришлем за ними.

Так осенью 2012 года я *на время* переехал в дом Голденов, чувствуя, с одной стороны, глубочайшую благодарность, словно раб, которого разместили во дворце, а с другой — как будто я заключил сделку с дьяволом. Чтобы выяснить, что же это на самом деле, требовалось проникнуть во все окружавшие Нерона тайны, в его настоящее и его прошлое, только тогда я смог бы справедливо судить о нем, а для этого, вероятно, полезнее было оказаться внутри стен, чем по другую их сторону. Эти двое открыли ворота и втащили меня в свой мир, и вот я, деревянный конь, внутри Трои, а внутри меня Одиссей и греческие воины, а передо мной — Елена этого американского Илиона. Прежде чем наша история завершится, я предам их обоих, а еще женщину, которую я любил, и себя самого. И башни, лишенные вершин, сгорят.

“Мальчики”, то есть сыновья Нерона, являлись к нему каждый день, и это были необычные визиты, подчеркивавшие его безграничную власть над ними — не столько встречи отца с сыновьями, сколько ритуальное подтверждение вассальной клятвы. Я соображал, что в любом варианте кино (разумеется, многое придется

изменить) необходимо разобраться с этими странными авторитарными отношениями. Отчасти объяснение было, разумеется, финансовым. Нерон щедро выдавал им деньги, так что Апу арендовал студию в Монтауке и недели напролет проводил там, рисуя и устраивая вечеринки. Юный Д в Чайнатауне с виду был ограничен в средствах, в ту пору он работал волонтером в женском клубе Нижнего Ист-Сайда, то есть вынужден был бы жить за счет заработков Рийи, но на самом деле, как поспешила меня информировать Василиса, он брал у отца столько, сколько отец давал ему. “У него сейчас много расходов”, сказала она, однако не стала ничего пояснять, так было принято в Золотом доме, его обитатели не обсуждали друг с другом серьезные проблемы и как будто держали их в секрете, хотя знали, что все знают всё. И может быть, размышлял я, эти встречи отца с сыновьями также играют роль исповеди, мальчики признаются в своих “грехах”, принимают наложенную на них епитимью или какие-то иные формы искупления и за это получают “прощение”. Так это и надо писать, думал я. Или — более интересная возможность: быть может, сыновья в свой черед становились для отца исповедниками. Быть может, каждый

из них владел тайнами другого, и они взаимно давали друг другу отпущение.

В большом доме обычно бывало тихо, что для меня идеально. Мне выделили на верхнем этаже комнату со слуховыми окнами, выходившими в Сад, и я был вполне доволен и занят делом. Помимо основного моего долгосрочного проекта я работал с Сучитрой над серией коротких видеофильмов для кабельной сети, знаменитости из инди-фильмов обсуждали свои любимые кадры, сцену, когда ухажер ставит печати на задницу и бедра своей возлюбленной у Иржи Менцеля в “Пристальном наблюдении за поездами”[54] (я предпочитал более формальный британский перевод названия, *closely observed trains*, американскому *closely watched trains*); Тосиро Мифунэ появляется у Куросавы в “Отважном самурае” в виде жалкого оборванца-ронина; первая сцена с Майклом Поллардом в “Бонни и Клайд” Артура Пенна (“Грязь в насосе, я ее выдул”); зимний павлин, распускающий хвост в “Амаркорде” Феллини; ребенок, падающий из окна и вскакивающий невредимо в “Карманных деньгах” Трюффо; завершающие реплики “Бильярдиста”

[54] Примечания: 54
Фильм чешского режиссера Иржи Грабала (1966).

Роберта Россена (“Толстый, ты здорово играешь в пул” — “Ты тоже, Шустрый Эдди”) и мой фаворит на все времена, “В прошлом году в Мариенбаде” Алена Рене, Саша Питоефф, тип Дракулы, с неподвижным лицом играет в “Ним” (“Если ты не можешь проиграть, это не игра” — “О, я могу проиграть, но никогда не проигрываю”). Мы уже отсняли множество молодых и талантливых американских актеров и режиссеров (Грету Гервиг, Веса Андерсона, Ноя Баумбаха, Тодда Солондза, Паркера Поузи, Джейка Пэлтроу, Хлою Севиньи), которые выражали свою вечную любовь к этим классическим фильмам, и я на своем ноутбуке оттачивал навыки киноредактора, собирая весь материал в пронзительные трехминутные записи, выкладываемые на множестве сайтов. Эту работу Сучитра перепоручила мне, а сама взялась за первый свой фильм в качестве автора и режиссера, перешла границу от продюсера к творчеству, и мы оба с головой погрузились в дело, сходились поздно вечером, чтобы поделиться новостями за день, быстро и чересчур поздно утолить голод и либо торопливо заняться любовью, либо сразу уснуть изнуренными, держа друг друга в объятиях, в моей ли норе художника, в ее ли студии. Так после трагедии я нащупал

вновь путь к радости. А в свободное время изучал распорядок жизни Золотого дома.

Уборщицы, помощницы по кухне, мастер ремонта Гонзало являлись и исчезали так ненавязчиво, что казались *виртуальными*, призрачными порождениями постреального века. Две грозные стражницы, напротив, были очень даже реальными, они приезжали каждое утро, кипя энергией, запирались в комнате по соседству с кабинетом Нерона и не выходили до позднего вечера, когда они, по-шмелиному жужжа, вылетали в раскрытую дверь. Все звуки были вроде бы приглушены, как будто и законы физики действовали внутри этих стен, так сказать, в белых перчатках.

Сам Нерон по большей части заседал в домашнем кабинете, хотя штаб-квартира “Голден Энтерпрайз” находилась в мидтауне в башне, которая к досаде Нерона принадлежала Гэри “Грину” Гвинплейну, проходимцу, чье имя он отказывался произнести вслух — тот еще называл себя Джокером, ухитрившись родиться с волосами ядовито-зеленого цвета. Одетый в пурпур, белокожий, красногубый Гвинплейн превратил себя в точную копию знаменитого злодея из комиксов и явно этим сходством наслаждался. Нерону такой домовладелец был несносен, и

как-то вечером ни с того ни с сего и не вступая в объяснения — таков был его обычай, поезд его мыслей выскакивал порой из туннеля его уст, и любой, оказавшийся случайно поблизости, становился той станцией, где поезд на миг останавливался, — он объявил мне: “Всемирный. Когда нас впустят, я войду первым”. С опозданием на минуту я понял, что речь не о панглобализме, а о Всемирном торговом центре, который собирались открыть года через два. Нерон возвестил о своем намерении расстаться с Джокером и переехать в новую башню, возведенную на месте трагедии.

— Я получу суперскидку на верхние этажи, — мечтал он. — Пятидесятые, шестидесятые, ладно, их они заполнят, но выше? После того, что произошло, никто не хочет арендовать в небесах. Так что очень выгодно. Лучшая сделка во всем городе. Все это пустое пространство нужно сдать, желающих нет. А я, лично я, иду туда, где выгоднее. Высоко в небе? Прекрасно. Снижайте цену, и я возьму. Сделка есть сделка. Молния не бьет дважды в одно место.

Служащие редко видели его воочию. Он отпустил волосы. Я волновался, не отросли ли у него и ногти на ногах. После поражения Ромни

у него испортилось настроение, и он стал реже показываться даже перед женой и домашними. Повадился спать на раскладном диване в кабинете и поздно вечером заказывать пиццу. По ночам он звонил своим подчиненным, жившим в разных странах (это я так думаю, что подчиненным), а также и на Манхэттене. У него было заведено звонить в любое время дня и ночи, собеседник обязан бодрствовать и быть готовым к обсуждению всего, что Нерон пожелает — бизнеса, женщин, новостей из газет. Он говорил по телефону часами, и никто не смел воспротивиться. Однажды в Саду, застав его в общительном настроении, я нацепил самую свою невинную улыбку и спросил его мнение о Говарде Хьюзе. “Хьюз — фрик, — отвечал он. — Скажите спасибо, что я к вам питаю симпатию, и не вздумайте сравнивать меня с этим фриком”.

Но в то же время он продолжал все чаще скрываться от людских глаз. Василиса могла сколько угодно проводить дни в спа или гулять по Мэдисон из магазина в магазин и перекусывать с подружками в “Бергдорфе” или “Сент-Эмброзе”. Попробуйте некоторое время не уделять красивой женщине внимания, и случится беда. Некоторое время — это сколько? Пять минут. А

если больше часа, то катастрофа неизбежна.

Дом сделался символом и ее красоты, и ее неутоленной нужды. На перламутрово-серых стенах она развешивала большие зеркала, состоявшие из малых квадратов, некоторые из них под углом друг к другу, другие почти черные, и так выражала, подобно кубистам, потребность видеть сразу множество перспектив. В главном зале воздвигли огромный новый камин, грозивший воспламениться в холодную погоду. Под ногами новые ковры, на ощупь шелк, а цветом сталь. Дом говорил от ее имени, она обращалась к мужу, обновляя его дом, она знала, как на этого человека влияет среда обитания, и без слов объясняла ему, что королю нужен дворец, а дворцу, чтоб стать настоящим дворцом, требуется королева.

Постепенно это подействовало. К Рождеству Нерон оправился от победы действующего президента и стал произносить яростные обличения против неудачливого претендента, худшего претендента в истории страны, говорил он за обедом, тыча в нас вилкой, подчеркивая каждое слово, не было еще более слабого претендента в истории выборов, его даже настоящим претендентом не назовешь, гонки настоящей не было. Этот парень сдался еще прежде драки, так что в следующий

раз давайте уж не допустим подобной ошибки, не будем выставлять *клоуна,* подберем серьезного человека, чтобы сразу было видно: прирожденный лидер. В следующий раз. Непременно.

К инаугурации атмосфера в доме Голденов заметно улучшилась. Нам не разрешили смотреть церемонию по телевизору, но король с королевой пребывали в веселом и кокетливом настроении. Я заметил, что внутренняя погода Нерона Голдена также изменчива, его сексуальная зависимость от чар супруги лишь возрастала по мере того, как он старел, и в спальне Василиса неизменно добивалась желанных ей корректив в его личной погоде. Но я не знал того, что знаю сейчас: он уже сдавал. Василиса, мастерица рассчитывать время, поймала свой шанс и сделала нужный ход. Раньше любого из нас она увидела то, что потом сделалось прискорбно очевидно всем: он слабел, и близилось время, когда он уже не будет самим собой. Она почуяла первые признаки надвигавшейся слабости, как акула чует единственную каплю крови, растворившуюся в воде, и ринулась добивать свою жертву.

Все — стратегия. Такова мудрость паука.

Все — пища. Такова мудрость акулы.

Монолог Паука, обращенный к Мухе, Акулы

— к ее добыче

Видишь ли потому что это было так специально сделано специально с такими специальными кристаллами которые так по-особенному сверкают когда отблеск пламени касается их сверкают словно алмазы в пещере Аль-Бабы которая я этого не знала на самом деле называлась Сезам да это было имя пещеры а ты это знал ладно так или иначе вот что я прочла в журнале выходит когда он говорит Сезам Откройся он обращается к пещере по имени а я всегда думала это волшебное заклятие *Сезам!* Но это неважно я говорю про огонь про тот огонь который я развела как подобие огня в твоем сердце огня в тебе который я так люблю. Ты знаешь это. Я знаю ты знаешь. Итак вот мы такие как были уже какое-то время счастлив ли ты твое счастье величайшая цель моей жизни так что я надеюсь ты ответишь да, а теперь ты должен спросить счастлива ли я, и я отвечу да, но. Теперь ты скажешь как я могла сказать *но* когда я знаю где я была когда ты нашел меня и где я теперь и я соглашусь ты дал мне все ты дал мне мою жизнь и все-таки это да но, все-таки остается но.

Ты не должен спрашивать в чем дело ты должен знать. Я молодая женщина я готова стать

больше чем возлюбленной хотя быть твоей возлюбленной для меня всегда на первом месте ты всегда на первом месте для меня, но я хочу также быть, ты знаешь кем я хочу быть, матерью. И я понимаю да понимаю это нарушает условия нашего соглашения потому что я сказала я откажусь от этого ради тебя и наша любовь станет нашим ребенком но тело хочет того чего оно хочет и сердце тоже, его не обманешь. Так что вот к чему я пришла мой дорогой и это трудная развилка и я вижу только один путь дальше хотя это разбивает мое сердце и вот я говорю тебе с разбитым сердцем сердце разбивается когда я это говорю из-за моего безграничного уважения к тебе и из уважения к моей собственной чести которое вынуждает меня соблюдать условия нашего соглашения говорю мой дорогой я должна покинуть тебя. Я так тебя люблю но из-за нужды моего молодого тела и моего разбитого сердца я должна уйти и найти способ каким-то образом получить ребенка хотя мысль остаться без тебя уничтожает меня это единственный ответ какой я нашла, и вот, дорогой мой, я должна это сказать. Прощай.

В шахматах очень редко прибегают к жертве ферзя, опасаясь лишиться наиболее мощной

фигуры ради надежды на позиционное преимущество. Лишь подлинные гроссмейстеры отваживаются на столь дерзкий маневр, они способны просчитать на множество ходов вперед, сопоставить все варианты и потому уверены в успехе своей жертвы — отдают королеву, чтобы убить короля. Юный Бобби Фишер в одной из самых знаменитых игр столетия, играя черными, применил сокрушительный ферзевый гамбит против Дональда Бирна. Крутясь постоянно в Золотом доме, я узнал, что Василиса Арсеньева прилежно изучала "игру королей", она продемонстрировала мне знаменитый шах в двадцать два хода — партию, в которой советский гроссмейстер Михаил Таль, пожертвовав ферзем, загнал в угол своего противника Александра Кобленца. Я играл в шахматы с Василисой досужими вечерами, когда Сучитра уезжала на съемки, и Василиса всегда выигрывала, но потом всякий раз показывала мне, как она это сделала, и требовала, чтобы я повышал свой уровень. Теперь, в ретроспективе, я понимаю, что она учила меня также игре жизни, и даже порой демонстрировала мне ход, который еще только собиралась сделать, до того как его совершить. Когда она попросила у Нерона Голдена развод, я сумел оценить эту блистатель-

ную уловку, ее выигрышный ход.

Ее просьба потрясла мужа, и сначала он искал убежища в грубости, громко пререкался с ней на площадке перед своим кабинетом, призраки, служившие в этом доме, попрятались по углам, он тыкал ее носом в финансовое соглашение, уйдет — лишится полностью содержания, только и возьмет с собой, что модный гардероб да пару побрякушек. “Посмотрим, надолго ли тебе этого хватит!” — рявкнул он, скрылся в своем святилище и захлопнул дверь. Тихо, не пытаясь открыть захлопнувшуюся дверь, она отправилась в гардеробную и начала паковаться. Я пошел поговорить с ней.

— Куда же ты? — спросил я.

И в этот момент, когда она обратила на меня пылающую мощь своего взгляда, я впервые увидел королеву-колдунью без маски и невольно отступил на шаг — назад, прочь. Она рассмеялась, и это был не обычный ее смешок хорошенькой девушки, нечто гораздо более дикое и неукротимое.

— Никуда я не пойду! — оскалилась она. — Он приползет ко мне, на коленях, на четвереньках, будет молить, чтобы я осталась, и поклянется дать мне то, чего желает мое сердце.

Настала ночь — ночь, когда ее власть возрастала. Дом затих. Петя в своей комнате купался в синем свете, уйдя в себя, по ту сторону компьютерного экрана. Василиса в главной спальне при открытой двери сидела очень прямо на своей стороне кровати, полностью одетая, сумка с вещами для ночевки в гостинице собрана, стояла наготове у ее ног, руки она сложила на коленях, выключила весь свет, только небольшой ночник подсвечивал ее изящный силуэт. Я, соглядатай, на пороге своей комнаты жду. И в полночный час ее пророчество сбылось. Старый негодяй повлачился смиренно к ее величеству, признал ее власть, молил ее остаться, согласился на ее условия. Стоял перед ней с поникшей головой и ждал — она подняла руки, притянула его к себе, откинулась на подушку и после этого разрешила ему вновь почувствовать себя господином в собственном доме, хотя он понимал, как и все прочие, что на троне восседает она.

— Ребенок.

— Да.

— Мой дорогой. Иди ко мне.

Она выключила ночник.

18

Таков был план, когда я пускался во взрослую жизнь — пример моих родителей словно флаг, под которым я отчалил, — приложить все силы к тому, чтобы стать (публично произношу слово, которое прежде только шептал самому себе) выдающимся. Кем же еще имеет смысл быть? Отвергая пустяковых, размеренных, односложных, принадлежащих толпе Рене, я обратился к эрудированной, исключительной личности, поднялся на борт воображаемого “Арго” и отправился на поиски золотого руна, понятия не имея, где лежит моя собственная Колхида (разве что ей следовало быть поблизости от кинотеатров) и как плыть в нужном направлении (разве что вместо руля мои руки сжимали камеру). Потом я обнаружил, что любим прекрасной женщиной и стою на пороге жизни в фильме, который стал самым моим заветным желанием. И в этом благополучнейшем состоянии я своими руками едва не уничтожил все, чем обладал.

Репортер на фронте каждый день сталкивается с дилеммой: принимать участие в боях или не принимать? Особенно трудный выбор, если одна

из противоборствующих сторон — твой народ, если твои близкие вовлечены, а тем самым и ты. Но порой перед твоими глазами разыгрывается вовсе не твоя битва, и это даже не война, скорее борьба за приз, и ты случайно занял место у самого ринга. И вдруг один из бойцов раскрывает тебе объятия, зовет присоединиться к треугольнику. *Иди к нам.* В этот момент здравомыслящий или хотя бы осмотрительный человек включит обратную скорость и поспешит убраться оттуда.

Я поступил иначе. Понимаю, в сколь дурном свете это выставляет меня — а еще хуже будет отчет о том, как именно я присоединился к этой войне. Ибо я не только предал гостеприимца в его собственном доме и женщину, которую я любил и которая любила меня, — я и себя предал. Тогда-то и стало мне ясно: вопросы — те, что Нерон Голден советовал мне обдумать, прежде чем судить о нем — относятся и ко мне самому. Может ли человек быть хорошим, если он в то же время плохой? Может ли добро сосуществовать со злом, и если так, много ли смысла осталось в этих словах, после того как их принудили к столь неуютному для обоих и, вероятно, непримиримому сосуществованию? Допускаю, говорил я себе, что когда добро и зло разлучают, оба они стано-

вятся равно деструктивными: святой столь же чудовищен и опасен, как законченный негодяй. Однако если соединить правоту и неправду в точных пропорциях, как виски и сладкий вермут, получим классический манхэттенский коктейль, животное, именуемое человеком (да, и капелька горечи, и натереть корку апельсина, можете и эти ингредиенты использовать в аллегории, и кубики льда в бокале тоже). Но я толком не понимал, как истолковать эту философию инь и ян. Может быть, союз противоположностей, составляющий человеческую природу, — это лишь оправдание, придуманное людьми для своих несовершенств. Может быть, это лишь красивая отговорка, а на самом деле злые дела затмевают добро. Не все ли нам равно, к примеру, что Гитлер любил собак.

Началось это так: Василиса попросила меня, как уже не раз бывало с тех пор, как я переселился в Золотой дом, пройтись вместе с ней по магазинам высокой моды на Мэдисон-авеню, *я так доверяю твоему вкусу, дорогой, а Нерону одно только важно, лишь бы секси, чем больше выставлено напоказ, тем лучше, но это же неправильно, мы-то знаем, иногда скрытое более соблазнительно, чем открытое.* По правде говоря, для меня ходить по модным магазинам

— вовсе не самое любимое занятие: себе одежду я покупал, и то изредка, в интернете, тратя время по минимуму. Когда меня заводили в бутик, мое внимание вскоре рассеивалось. Сучитра не была безусловной противницей моды — многие ее друзья трудились в этой отрасли, их подарки она умела носить с шиком и с благодарностью, — но уж точно зависать в магазинах не собиралась, и эта черта, среди многих прочих, добавляла ей привлекательности в моих глазах. Но для Василисы обитель изысканных платьев была ее подмостками и сценой, а на мою долю выпало стать ее зрителем, аплодировать каждому выходу — она двигалась, выгнув спину, глядя через плечо в зеркало, потом на меня, человеческое зеркало, потом снова на себя, а группка продавщиц хлопала в ладоши и ворковала. И действительно, Василиса выглядела великолепно в любом наряде, она принадлежала к тем двум-трем сотням американских женщин, для кого эту одежду и шили; словно змея, она могла натянуть на себя и скинуть множество разных кож, скользила от одной к другой, маленький раздвоенный язычок облизывал края губ, она приспосабливалась к очередному образу, наслаждалась обожанием, украшалась, как это делают змеи перед тем, как

убить.

В тот день ее красота обрела чрезмерный блеск, слепящее сияние, словно Василиса, которой вовсе не требовалось прилагать дополнительных усилий, вдруг перестаралась. Продавцы множества бутиков, все эти фендивини, гуччисти, прадалинги, отреагировали и сделались еще более льстивыми, чем того требует профессия. Она принимала это как должное, как самое малое, что ей причитается. Искупавшись во всеобщем обожании, она впорхнула в ресторан на седьмом этаже “Бергдорф Гудмен”, называя по именам его служащих, не замечая, но в то же время привлекая к себе восхищенное внимание дорогостоящих стройных дам любых возрастов, заняла место за “своим столиком” у окна, уперлась локтями в стол, сомкнула пальцы под подбородком, посмотрела мне прямо в глаза и задала вопрос-катастрофу:

— Рене, могу ли я довериться тебе? По-настоящему, на все сто процентов довериться? Потому что я должна кому-то довериться и мне кажется, это можешь быть только ты.

В старых латинских грамматиках такие вопро-

сы относятся к категории *nonne*[55], они подразумевают утвердительный ответ, Василиса Голден только такие вопросы и задавала, с заведомым ответом “да”: ты пойдешь со мной по магазинам, я хорошо выгляжу, можешь застегнуть молнию у меня на спине, дом очень красив, правда же, хочешь сыграть в шахматы, ты меня любишь. На это нельзя было ответить “нет”, так что я сказал “да”, но, признаюсь, метафорически скрестил пальцы за спиной. Экой я был юной крысой! Но ничего. Все писатели — воры, а в те дни я усердно трудился.

— Разумеется, — сказал я. — О чем речь.

Она открыла записную книжку, извлекла оттуда сложенное письмо и передала мне через стол.

— Шш, — сказала она.

Два бумажных листка из диагностической лаборатории Верхнего Вест-Сайда, результаты различных анализов, взятых у Василисы и Нерона Голдена. Свою страничку она тут же забрала.

— Это неважно, — сказала она. — Со мной все на сто процентов в порядке.

Я взглянул на тот документ, что оставался у меня в руках. Я не специалист по таким бу-

---

[55] Примечания: 55

Разве не, неужели не (*лат.*). Риторический вопрос, начинающийся с *nonne*, предполагает утвердительный ответ.

мажонкам; Василиса, должно быть, увидела растерянность на моем лице и подалась ближе через стол.

— Это семинограмма, — прошипела она. — Исследование семени.

Ох! Я присмотрелся к многочисленным цифрам и комментариям. Слова без смысла. Подвижность. Олигозооспермия. ХОРОШАЯ витальность.

— Что это значит? — пробормотал я.

Она преувеличенно вздохнула: от мужчин нет никакого прока, даже когда обсуждается вопрос столь важный для их мужской сути. Она заговорила очень тихо, усиленно артикулируя каждое слово, чтобы я сообразил наконец:

— Это значит, что он слишком стар, чтобы стать отцом. С гарантией девяносто восемь процентов.

Теперь я понял, в каком она живет напряжении, отчего так перегревается. Она сделала самую высокую ставку, и Нерон проиграл, сдался — а тут такое.

— Словно он это нарочно, — все тем же невероятно тихим голосом продолжала она. — Только я знаю, что он-то ничего не знает. Он считает себя тигром, машиной, думает, способен зачать ребенка, даже если пристально поглядит на женщину. Это будет для него тяжелый удар.

— Что же ты собираешься делать? — спросил я.

— Ешь свой “Цезарь”, — сказала она. — После обеда поговорим.

В парке уже выпал снег, бездомный оратор что-то вещал, пока мы шли в сторону карусели. Осколок старых времен, этот тип: белый мужчина, кустистая седая борода, шерстяная шляпа надвинута на глаза, джинсовый комбинезон, перчатки без пальцев, круглые очки без оправы, как у Джона Леннона, он выглядел так, словно играл на стиральной доске в шумовом оркестре с Юга. Но в голосе ни малейшего следа южного акцента, и свои мысли он выражал с помощью весьма изобильного лексикона. Частная жизнь мужчин и женщин в Америке, известил он нас, уничтожается публичной активностью оружия, которое сделалось разумным и покушается, ни более ни менее, сократить и в конечном счете поработить род человеческий. Триста миллионов живых пушек обитает в Америке, число, равное числу человеческих ее обитателей, они отвоевывают себе *Lebensraum*[56], уничтожая довольно заметные уже количества людей. Оружие

[56] Примечания: 56

Жизненное пространство (*нем.*). Термин ассоциируется с доктриной Гитлера о том, что немецкому народу жизненно необходимы земли на Востоке.

ожило! Оно обладает собственным разумом! Оно будет делать то, что от природы предназначено делать, то есть, иначе говоря, таким образом — стрелять. Эти живые пушки подстраивают так, что джентльмены отстреливают себе *стручок,* позируя обнаженными для селфи — бах! — и поощряют отцов случайно убивать собственных детей *на стопроцентно безопасной дистанции* — случайно? Лично он в такое не верит! — бах! — и они соблазняют маленьких детей выстрелить матери в голову, когда мать ведет семейный автомобиль — бам! — и он еще не дошел до массовых боен, да, трах-тах-тах! Кампус университета — трах-тах-тах! Торговый центр — трах-тах-тах! Чертова Флорида — трах-тах-тах!

Он даже еще *не затронул* полицейское оружие, которое оживает и побуждает копов отнимать жизнь у черных, и пушки обезумевших ветеранов, которые побуждают обезумевших ветеранов хладнокровно расстреливать полицейских. Нет! К этому он еще даже не приступался. В тот день в зимнем парке он убеждал нас, что *началось вторжение машин-убийц.* Бездушное оружие обрело душу, как игрушки, оживающие в фильме ужасов: представьте себе, ваш плюшевый мишка научился думать — что у него за мысли? Он вам

глотку перерезать хочет, вот что. Какая уж тут маленькая частная жизнь, когда пошло такое дерьмо? Я опустил пару долларов в банку у его ног, и мы двинулись дальше. Некогда нам было обсуждать Вторую поправку.

— Я скажу тебе, что я сделаю, — заявила Василиса. — Я уберегу Нерона от этой информации, и ты мне в этом поможешь. Сядем тут. Мы кое-что подправим в анализах.

Мы устроились за столиком возле карусели. Сама карусель у нас за спиной уже была закрыта на зиму. Василиса достала ручку и методично принялась менять написанные от руки цифры.

— Подвижность I, римскими цифрами, — приговаривала она. — Это плохо. Это означает нулевую подвижность, а без подвижности нет и движения вперед, ты меня понимаешь. Но если я поставлю рядом с I V, получится подвижность IV, это идеально, пять с плюсом. И тут еще, концентрация сперматозоидов 5 миллионов на миллилитр, очень низкая, но я поставлю перед 5 маленькую единицу, и выйдет 15 миллионов, это норма по стандартам Всемирной организации здравоохранения, я проверяла. И так далее. Тут, тут и тут. Совершенство, совершенство, совершенство. Ты понял? Теперь он в порядке. Безусловно способен

стать отцом.

Она даже в ладоши захлопала. По ее лицу расплылась счастливая улыбка такой мощности, что могла бы почти убедить того человека, на которого обрушилась (то есть меня), что фикция равна факту, что, сфальсифицировав диагноз, мы каким-то образом меняем его и в реальном мире. Почти, но не совсем.

— Это спасет его самолюбие, — сказал я, — но ребенка же аист не принесет, а?

— Разумеется, нет, — сказала она.

— И что тогда: будешь какое-то время притворяться, будто делаешь попытки, а потом уговоришь его усыновить?

— Усыновление полностью исключено.

— Тогда я не понимаю.

— Я найду донора.

— Донора спермы?

— Да.

— Но как уговорить его, если он не знает, что его собственная сперма не годится?

— Он никогда не такое не пойдет.

— Ты обратишься к донору, не предупредив его? Разве это возможно? Какие-то документы ведь придется подписывать. Разве не требуется его согласие?

— Он никогда не даст согласия.

— И как же?

Она потянулась через стол, взяла меня за руку.

— Мой дорогой Рене, — сказала она. — Тут-то и сыграешь ты свою роль.

Позже.

— Я не хочу ребенка от анонима, — сказала она. — Не хочу забеременеть от шприца. Я хочу сделать все по-настоящему с кем-то, кому я доверяю, кто для меня как родной, с симпатичным красивым парнем, который может запросто, пусть тебя не смущает, что я так говорю, меня завести. Пожалуйста, прими это как комплимент. Я хочу сделать это с тобой.

— Василиса! — взмолился я. — Это ужасная идея! Не только обмануть Нерона — еще и с Сучитрой сыграть грязную штуку.

— Не обмануть, — возразила она. — И никакой грязи, за исключением того, что наши личные предпочтения подскажут. И в твои любовные дела я не вмешиваюсь. Это всего лишь моя личная просьба, ты сделаешь это для меня приватно.

Позже.

— Нерон, Рене, — мечтательно пробормотала

она. — У вас почти одинаковые имена, те же слоги, почти те же, только переставлены. Сам видишь, это судьба.

Начал слабо присыпать снег. *Легко ложился, ложился легко*[57]. Василиса подняла меховой воротник и, не сказав больше ни слова, глубоко засунула руки в карманы и целенаправленно зашагала на запад. Окутанный белизной ошеломленный рассказчик пережил то, что позднее опишет как внетелесный опыт. Ему показалось, будто он слышит призрачную музыку, словно остановленная карусель заиграла вдруг тему Лары из “Живаго”. Ему чудилось, что он висит у самого себя над правым плечом, следя за собой, пока брел беспомощно следом за Василисой через парк и вниз к Коламбус-серкл, его тело в тот момент отказалось от всякой инициативы и принадлежало ей, пусть распоряжается. Словно гаитянский *бокор*, словно ему за ланчем в “Бергдорф Гудмен” скормили так называемый огурец зомби, и мысли у него помрачились, и он сделался навеки ее рабом. (Я знаю, что уходя в третье лицо

[57] Примечания: 57

Целиком последняя фраза, завершающая рассказ “Мертвые” и сборник “Дублинцы” Джеймса Джойса выглядит так: “Его душа медленно меркла под шелест снега, и снег легко ложился по всему миру, приближая последний час, ложился легко на живых и мертвых”. Перевод С. Хоружего.

и ссылаясь на ошибку воли, я пытаюсь добиться для себя изъятия из-под морального приговора. Я также понимаю, что ссылка на беспомощность — не лучшая из адвокатских уловок. Но хоть это я могу сказать в свою пользу: я понимаю, что творю.)

Его — то есть моя — фантазия с Джули Кристи в роли Лары померкла, и он — я — стали думать вместо этого о фильме Полански “Нож в воде”. Пара приглашает себе в лодку попутчика. В итоге у женщины случился с этим чужаком секс. Очевидно я видел себя — со стыдом — попутчиком, третьим углом в треугольнике. Может быть, у киношной пары был неудачный брак. Женщина явно привязалась к попутчику и не возражала против секса. Попутчик был чистым листом, на котором супруги писали собственную историю. Таков был и я, следовавший по пятам за Василисой, чтобы она могла написать историю своего будущего в том стиле, в каком, она твердо решила, будущее должно быть записано. Мы на Западной Шестидесятой улице, Василиса только что вошла в двери пятизвездочного отеля. Я вошел с ней в лифт, и мы поднялись на пятьдесят третий этаж. У нее уже был ключ от номера. Все было спланировано, и я, охваченный странной

истомой, не нашел в себе воли воспротивиться тому, что должно было произойти.

— Заходи быстро, — велела она.

Позже.

Есть фраза, которую я всегда приписывал Франсуа Трюффо, но теперь, когда поискал, не нашел доказательств, что это сказал именно он. Так что апокриф: “Искусство кино, — якобы сказал Трюффо, — заключается в том, чтобы направлять камеру на красивую женщину”. Когда я таращился на Василису Голден — силуэт на фоне окна, за которым зимние воды Гудзона, — она показалась мне одной из богинь экрана, сбежавшей из какого-то любимого мной фильма, сошедшей с экрана в кинозал, как Джефф Дэниелс в “Пурпурной розе Каира”. Мне представилась Орнелла Мути, очаровывающая Свана в фильме Шлёндорфа по роману Пруста; Фэй Данауэй в роли Бонни Паркер, чувственный изгиб ее рта, покоряющий Уоррена Битти — Клайда Барроу; Моника Витти у Антониони, вжимающаяся эротично в угол, бормоча *No lo so*[58]; Эммануэль Беар в “Очаровательной проказнице”, облаченная только в

[58] Примечания: 58
Я не знаю (*ит.*).

свою красоту. Я думал о героинях Годара, Сиберг в “На последнем дыхании”, Карине в “Безумном Пьеро”, Бардо в “Презрении”, а потом попытался одернуть себя, напомнив о мощной феминистической критике фильмографии новой волны, о теории “мужского взгляда” Лоры Малви, которая утверждала, что публику вынуждают смотреть с точки зрения гетеросексуального мужчины, женщины низводятся до статуса объекта и т. д. И Мейлер заговорил у меня в голове, еще один пленник секса, но я почти сразу его изгнал. Что касается моей постоянной оглядки на себя: да, мне известен тот факт, что слишком большая часть моей жизни происходит у меня в голове, я слишком глубоко погружен в фильмы, книги, искусство, и потому движения собственного сердца, измены реальной моей природы порой мне самому неясны. В событиях, которые мне предстоит описать, я вынужден был лицом к лицу столкнуться с тем, кто я на самом деле, а потом положиться на женское милосердие, видящее меня насквозь. Итак, она стояла передо мной: моя черная королева, моя немезида, будущая мать моего ребенка.

Позже.

Поначалу ее манера была небрежной, почти грубой.

— Выпить хочешь? Это поможет? Не веди себя как школьник, Рене. Мы оба взрослые люди. Налей себе. И мне тоже. Водку. Со льдом. В ведре полно льда. Так! Выпьем за успех нашего предприятия, на свой лад — великого. Мы создаем новую жизнь. Разве не для этого мы приходим в мир? Вид стремится продолжить себя. Давай с этим разберемся.

И после водки, не одной, двух рюмок:

— Сегодня мы просто сломали лед. Сегодня неподходящий день для того, чтобы делать ребенка. С сегодняшнего дня я буду извещать тебя, когда у меня овуляция, и ты предоставишь себя в мое распоряжение. Я всегда точно знаю, когда это происходит, у меня по расписанию, как поезда в Италии при Муссолини. Этот номер забронирован постоянно. Вот твой ключ. Я буду ждать тебя здесь, по три раза в каждый цикл. В остальное время наши отношения остаются прежними. Разумеется, ты согласен.

Таким тоном она обращалась к домашней прислуге, и он едва не пробудил меня от грез.

— Нет, милый, не обижайся, — заворковала она совсем иным голосом, низким, манящим. — Мы с

тобой здесь вместе, это означает, что все важные решения мы уже приняли. Теперь настало время для удовольствия, ты получишь много удовольствия, это я тебе обещаю.

— Да, — ответил я, но, видимо, в мой голос прокралась нота сомнения: тут-то Василиса включила сексуальное обаяние.

— Дорогой, ну конечно же, да, и я тоже, ты только посмотри на себя, такой красивый мальчик. Пойдем скорее в спальню, я не могу больше ждать.

Какой искусный игрок! Как быстро она оправилась, когда ей вдруг сдали плохие карты! Ведь это наверняка было для нее ужасным ударом, этот результат спермограммы, разрушивший ее планы на будущее, и хотя кризис обрушился внезапно, она сразу же, инстинктивно, приняла меры, чтобы утаить информацию от супруга. А потом, без колебаний, сделала рискованную ставку на меня, положившись на свое суждение о моем характере и на собственную привлекательность (она разглядела во мне серьезность, которая гарантировала, что я не разболтаю ее тайну, и слабость, которая гарантировала, что я не устою перед ее весьма могущественными чарами). И все это — понимая, что, если ее интрига

провалится и супруг выяснит правду, ей не удержать свое положение в семье, и сама ее жизнь, возможно, будет в опасности. Да и моя тоже: она вовлекла меня в заговор, вовсе не заботясь о моей безопасности, о моем будущем. Но я не мог ее в этом винить, ибо находил ее неотразимой, не мог отвергнуть предложение воспользоваться ее телом и добровольно вошел в расставленную мне ловушку. Теперь я попался: соучастник заговора, столь же нравственно павший, как и она, и у меня уже не оставалось иного выхода, кроме как пойти до конца и сохранить ее тайну, ставшую также и моей тайной. Я рисковал теперь так же, как и она.

Она притянула меня к себе на постель.

— От удовольствия рождаются красивые дети, — сказала она, — но удовольствие и само по себе приятно.

Снято

19

— Не люблю твоих Голденов, — сказала Сучитра. — Давно собиралась это сказать. Надо тебе поскорее съехать.

За ставшей для нас традиционной вечерней выпивкой в “британском” пабе возле Вашингтон-сквер — ирландский виски со льдом для нее, водка с содовой для меня — она пояснила:

— Вообще-то сыновья у меня однозначно негативной реакции не вызывают, но отец… это не для меня, и его супруга также. И главным образом сам дом. Он меня вымораживает. Не знаю, почему, но вот так. По моим ощущениям — дом семейки Аддамс. Ты сам этого не чувствуешь, когда попадаешь туда? Словно дом с привидениями. Богатые вырванные с корнем люди, отвергшие свою историю, культуру, имена. Проделавшие этот номер лишь потому, что цвет кожи позволяет мимикрировать. Что же это за люди, отрицающие собственный род? Я вовсе не настаиваю на том, чтобы каждый жил в стране своих отцов, не выдвигаю какие-то антииммиграционные нейтивные теории, но притворяться, будто той страны вовсе не существует, будто ты

никогда там не существовал, она для тебя ничто, и ты ей ничто — мне кажется, это значит, они согласились в каком-то смысле умереть. Они словно проводят здесь свою посмертную жизнь, почему-то оказавшись живыми и по ту сторону. По ночам они, должно быть, укладываются в гроб. Нет, не на самом деле, конечно, и все же ты понял, что я хочу сказать.

Сучитра была нетипичной для Нью-Йорка женщиной.

— У меня есть три правила для всех моих бойфрендов, — заявила она мне, как только мы впервые занялись любовью. — Зарабатывай на жизнь сам, живи в собственной квартире и не зови меня замуж.

Сама она снимала скромную двухкомнатную квартиру в Баттери-Парк-Сити.

— Фактически я живу в одной комнате, — подчеркивала она. — Вторую занимают одежда и обувь.

Это была угловая комната с большими окнами, так что картины на стенах тут заменялись образами реки: то заползал предрассветный туман, то нарастали зимние ледяные торосы, а за ними по весне являлись первые паруса, грузовые суда, буксиры, паромы, гоночные яхты под радуж-

ными флагами местного парусного гей-клуба; сердце Сучитры наполнялось любовью к этому городу всякий раз, когда она всматривалась в этот вид, никогда не повторявшийся дважды: ветер и свет и дождь, танец солнца и воды, и квартира в здании через улицу с большим медным телескопом на окне, который был нацелен прямо на ее постель — ходили слухи, что это городское логово Брэда Питта, мол, там он прячется порой от жены, — а чуть дальше Зеленая леди с факелом, просвещающая мир.

— Город — проживающая со мной возлюбленная, — сказала мне Сучитра в самом начале, — и она приревнует, если сюда въедет какой-то парень.

Меня все устраивало. Мне по натуре свойственно предпочитать вокруг свободное пространство и тишину, и независимая женщина мне нравилась, так что я легко согласился с ее условиями. К вопросу брака я подходил не столь жестко, но с готовностью принял ее твердую позицию, вроде бы соответствовавшую моей. Тем не менее теперь я оказался в цугцванге, куда неизменно попадают в свой час все лжецы, обманщики и предатели: цугцванг — такая позиция на доске, при которой у тебя не остается ни одного хоро-

шего хода, а сделать какой-то ход вынуждают правила. Весна только-только настала, рынок недвижимости оживал, на старый семейный дом нашелся покупатель, и сделка уже близилась к оформлению, Василиса превращалась в деловитого риелтора, когда обсуждала со мной эти вопросы, ни намека на тайную нашу жизнь не выдавали ее голос и лицо. Я уже получил капитал, и теперь мое наследство должно было существенно увеличиться, как только завершится продажа. Инстинкт побуждал меня оставаться пока там, где я был, потом что-то арендовать и хорошенько оглядеться, прежде чем подберу и приобрету подходящее жилье. Таким образом, требование Сучитры, чтобы я съехал наконец от Нерона, вполне рациональное, противоречило моим желаниям. По трем очевидным и одной сокровенной причине я воспротивился. Первые три я, разумеется, назвал вслух.

— Во-первых, в доме очень тихо. Удобно работать, у меня есть свое место, и по большей части меня никто не отвлекает. И во-вторых, ты же знаешь, вокруг этих людей строится сюжет сценария, который я пытаюсь написать. Да, Нерон кое в чем странноват, но он уже привык ко мне, и я чувствую, он того гляди решится на откровенность,

стоит подождать ради этого. Думаю, Петя стал для него тяжким бременем, да и возраст сказывается. Порой он ведет себя как глубокий старик. И в-третьих, надо учесть, что в Саду прошла вся моя жизнь, и когда я съеду из Золотого дома, я утрачу доступ в Сад. Не знаю, готов ли я уже к такому — жить вне этого магического места.

Она не стала спорить.

— Ладно, — сказала она. — Просто выговорилась. Сообщи, когда будешь готов.

Предатель страшится, что вина проступит у него на лице. Родители часто говорили мне, что я не способен утаить секрет, когда я лгу, они видят, как у меня на лбу загорается красный свет. Я уж стал опасаться, не замечает ли и Сучитра этот красный свет, не проистекает ли настойчивое требование покинуть дом Голденов из подозрения, что я не так уж невинно провожу там время. Более всего я страшился, как бы она не обнаружила некие перемены в моих сексуальных привычках. Прежде я вовсе не считал секс олимпийским видом спорта: возбуждение и привлекательность обусловлены глубиной чувства с обеих сторон, силой их связи. Такого же мнения придерживалась и Сучитра. В любовном акте она была не слишком терпелива (ее распи-

сание было столь плотным, что и удовольствие некогда растягивать). Предварительные ласки сводились к минимуму. Ночью она притягивала меня к себе и говорила: “Просто войди в меня, вот чего я хочу” — и вскоре заявляла, что полностью удовлетворена: она принадлежала к тому типу, кто достигает оргазма быстро и часто. Я решил ни в коей мере не чувствовать себя униженным таким обращением, пусть порой мне и казалось, что моя роль в этом процессе второстепенна: Сучитра была очень добрым человеком и ни в коем случае не пыталась намеренно меня задеть.

Но с Василисой все пошло совершенно по-другому. Встречи назначались неизменно днем, классический французский промежуток с пяти до семи. Мы не спали вместе. Мы вообще не спали. К тому же наши занятия любовью полностью были направлены к определенной цели, к сотворению новой жизни, и это ужасало меня и возбуждало, пусть даже Василиса постоянно меня заверяла, что малыш не станет для меня бременем, что моя жизнь ни в малейшей степени не переменится. Размножение без ответственности. Как ни странно, при этой мысли мне становилось не малость лучше, а малость хуже.

— Вижу, — сказала она на первом свидании в

номере отеля с видом на парк, — мне придется постараться, чтобы тебе стало по-настоящему хорошо.

Она была твердо убеждена, что сделать ребенка возможно лишь на пике наслаждения, и считала себя профессионалом по этой части.

— Малыш, — хрипловато заговорила она, — я умею быть капельку проказницей, так что ты поведай мне свои секреты, и я сделаю так, чтобы тайные желания сбылись.

И за этим последовал секс такого рода, какого у меня никогда в жизни не было — безоглядный, открытый экспериментам, экстремальный и, как ни странно, основанный на взаимном доверии. Кому же еще могли довериться мы, соучастники-предатели, если не друг другу?

Сучитра — могла ли она во время наших не столь затейливых актов подметить какие-то новые движения моего тела, новые привычки, немое требование иных способов удовлетворения? Как могла она этого не заметить? Ведь я, конечно же, изменился, все вокруг казалось мне иным, чем прежде, эти три дня в месяц все для меня переменили. А как насчет полного изнурения в ночь после такого дня? Как объяснить это мое регулярно повторявшееся из месяца в месяц

состояние? Конечно, она подозревала. Должна была подозревать. Невозможно скрыть такие перемены от нее, моего интимного друга.

Но вроде бы она так ничего и не заметила. По ночам мы болтали о работе и засыпали. Наш роман никогда не предполагал еженощный секс или конец всему. Нам было друг с другом хорошо и удобно, мы чувствовали себя счастливыми, просто обнявшись и вместе засыпая. Чаще всего в ее квартире (она всегда рада была принять меня, лишь бы я не покушался переехать). В Золотой дом она приходила неохотно. В итоге мы проводили вместе не каждую ночь, вовсе нет. И потому оказалось, что не так уж трудно замести следы. Но Сучитра время от времени вновь поднимала вопрос: когда же я расстанусь с Макдугал-стрит.

— Ты в любой момент можешь попасть в Сад с помощью других соседей, — указывала она. — Твоих родителей любили, у них осталось там много друзей.

— Мне нужно больше времени проводить с Нероном, — отвечал я. — Сама идея: человек стирает все значимые точки своей жизни, хочет, чтобы его ничто не связывало с собственным прошлым. Я должен добраться до сути. Можно ли вообще такое существо именовать человеком?

Этот субъект в свободном полете, без якоря, без каких-либо уз? Интересно ведь?

— Ага, — сказала она. — Хорошо.

Отвернулась и уснула.

Позже.

— А как насчет куртизанки? — спросила меня Сучитра. — С ней ты часто общаешься?

— Она покупает одежду, — ответил я, — и продает пентхаусы русским.

— Я как-то подумывала снять фильм о куртизанках, — сказала она. — Мадам де Помпадур, Нелл Гуинн, Мата Хари, Умрао Джан. Большое исследование провела. Возможно, я вернусь к этому проекту.

Точно, она что-то заподозрила.

— Окей, — сказал я, — скоро съеду.

Снято.

Глядя на мир вокруг, я видел, как в нем отражается моя собственная нравственная слабость. Мои родители выросли в сказочной стране, последнее полностью занятое поколение, последняя эпоха секса без опасений, последний миг политики без религии, но каким-то образом эти годы, прожитые в сказке, укрепили их дух, дали им чувство

реальности, воспитали в них убеждение, что собственным прямым действием они способны изменять и улучшать мир. Им было дозволено съесть райское яблоко и обрести познание добра и зла, не подпадая под чары мерцающих глаз Каа из “Книги джунглей”, рокового Змея, звавшего: “Идите ко мне”. Теперь ужас распространялся во все стороны на страшной скорости, и мы отводили глаза или пытались его умиротворить. Это не мои слова. В один из типичных для Манхэттена моментов “маленького города” тот самый оратор из Центрального парка прошел по Макдугал-стрит под моим окном, на этот раз он рассуждал о предательстве, его предали близкие, работодатели, друзья, город, страна, Вселенная, и ужас распространяется, а мы отводим глаза… Как будто моя совесть воплотилась в этом юродивом бомже, который болтал сам с собой, даже для вида не вставив в ухо наушник мобильного телефона. Теплая погода, холодные слова. Был ли он из плоти и крови или это моя вина вызвала его к жизни? Я закрыл глаза и снова открыл. Он уходил в сторону Бликер-стрит. Может быть, это не тот парень, другой.

Со мной все еще случались моменты, когда сиротство словно выходило за пределы меня и

заполняло мир, по крайней мере ту его часть, что находилась в моем поле зрения. Моменты потерянности. Я снисходительно разрешил себе думать, что именно в такой момент утраты равновесия принял опасный план Василисы Голден. Я позволил себе думать, будто все более занимавший мои мысли плач по нашей планете проистекает лишь из моей личной утраты, а о мире в целом не стоит думать так дурно. Если мне удастся вынырнуть из собственной нравственной бездны, то и мир справится, дыра в озоновом слое затянется, фанатики уползут обратно в темные лабиринты под корнями деревьев, в окопы на дне океана, и солнце воссияет вновь, и радостная музыка заполнит эфир. Да, пора двигаться дальше. Но что даст переезд? Я все еще зависел от наркотика, от трех дней в месяц на пятьдесят третьем этаже. Наш заговор медлил принести плод, которого с нетерпением ожидала Василиса, и она уже начинала ворчать. Она обвинила меня в том, что я не вкладываюсь в общее дело. Что-то я делаю не так. Нужно сосредоточиться, сконцентрироваться, а главное — я должен этого хотеть. Ребенок не появится на свет, если не будет полностью и безусловно желанным.

— Не отказывай мне в этом, — уговаривала

она. — Может быть, тебе просто понравилось трахать меня? Да? Потому ты и затягиваешь? Так, хорошо, я могу устроить, чтобы и потом трахаться с тобой. По крайней мере, время от времени.

Когда она заводила такой разговор, мне хотелось плакать, но слезы только укрепили бы ее уверенность в том, что я по какой-то причине придерживаю наиболее действенную составляющую своей спермы, что я по отношению к ней поступаю биологически бесчестно. Я оказался внутри безумия и мечтал, чтобы это наконец завершилось, мечтал, чтобы это никогда не кончалось, хотел сделать ее беременной и не хотел, да, хотел, нет, не хотел. А потом это случилось.

И Василиса навсегда отвернулась от меня, оставив меня опустошенным. Я любил другую женщину, и все же был опустошен, утратив это изменническое, немыслимое блаженство.

В том фильме, который мне грезился, в произведении, которое увенчало бы собой измену, в тот момент сюжет смещался с Василисы на ее супруга. Итак: она вышла из люкса на пятьдесят третьем этаже, дверь за ней закрылась, и на том конец.

Искусство нуждается в предательстве и похваляется предательством, потому что преда-

тельство преобразуется в искусство. Это верно — верно же? Верно?

Наплыв.

— Ты знаешь, откуда я родом, — прищурившись, заговорил Нерон Голден. — Я знаю, что ты знаешь. Никто по нынешним временам не может сохранить тайну *sub rosa*[59].

Поздней ночью он привел меня в свое святилище, хотел поговорить. Я был и взбудоражен, и напуган. Напуган мыслью, что он готов обличить меня, все разузнав о том, чем я занимаюсь с миссис Голден. Может быть, за нами следили, у него на столе уже лежит папка с фотографиями, которые отснял частный сыщик? От такой мысли бросало в дрожь. И я был взбудоражен, потому что это могло оказаться тем моментом истины, которого я ждал, исповедью, когда стареющий человек, устав влачить на себе чуждое и неведомое Я, пожелает вновь быть узнанным.

— Да, сэр! — ответил я.

— Не надо этого! — добродушно прикрикнул он. — Продолжай делать вид, будто ты — мелкий выскочка, знать ничего не знаешь, притворись

[59] Примечания: 59

Под розой (*лат.*). Еще в Древнем Риме в пиршественном зале вешали розу в знак того, что все сказанное должно оставаться тайной.

изумленным, когда я тебе кое-что расскажу. Идет?

— По мне, годится, — ответил я.

За время беременности его жены всем нам стало постепенно очевидно, что здоровье Нерона Голдена слабеет. Восьмое десятилетие его жизни близилось к завершению, и ум уже исподволь затевал измену. Нерон по-прежнему выходил каждое утро в безупречно-белом теннисном костюме с белой бейсбольной кепкой на голове, разгонял ракеткой воздух с привычным “со мной шутки плохи” выражением лица и по-прежнему возвращался через полтора часа, употев, испуская мужское (подбородок выпячен) удовлетворение. Но однажды, всего за несколько дней до того, как он призвал меня поздним вечером, произошел прискорбный эпизод. Нерон переходил дорогу, и вдруг автомобиль, винтажный “корвет”, прорвался на красный свет через перекресток Бликер — Макдугал и врезался в него. Только слегка его коснулся, только сбил с ног, но кости остались целы. Реакция Нерона: вскочил, тут же полностью простил водителя, отказался от заявлений и жалоб и пригласил водителя, безответственного белого мужчину с копной волнистых светлых волос, *к себе в дом на кофе.* Это поведение так

явно выбивалось из привычного для Нерона, что все переволновались. Но полностью глубину проблемы опознали чуть позже.

— Со мной все в порядке, — заявил Нерон по завершении инцидента с “корветом”. — Хватит суетиться. Я приласкал парня лишь потому, что он был так растерян. Это был правильный поступок.

И вот я остался с ним наедине в его логове после наступления темноты. Что меня ждало? Он предложил мне сигару, я отказался. Коньяк — я опять отказался. Никогда не был любителем бренди.

— Выпей что-нибудь, — скомандовал он, и я согласился на рюмку водки.

– *Прозит!* — сказал он, величественно поднимая свой бокал. — До дна.

Я осушил рюмку и заметил, что он лишь коснулся губами края коньячного бокала, скорее для вида.

— По второй! — сказал он, и я подумал, уж не собирается ли он снова напоить меня.

— Чуть позже, — ответил я, прикрывая рюмку левой ладонью. — Не стоит спешить.

Он подался вперед, похлопал меня по колену и кивнул:

— Верно, верно. Разумный человек.

— Давай я расскажу одну историю, — приступил он. — Некогда в Бомбее — вот видишь? Я называю старый город его старым именем, это имя впервые сошло с моих губ с тех пор, как мы переселились в Америку, ты должен оценить мое доверие — жил-был человек по имени Дон Корлеоне. Разумеется, это не настоящее его имя, однако его имя все равно тебе ничего не скажет. Да и то имя, которым он себя называл, тоже. Имя — ничто, это ручка, так здесь говорят, способ открыть дверь. “Дон Корлеоне” дает достаточное представление о том, что это был за человек. Таким способом я открываю его дверь. С той оговоркой, что он никогда не убивал, никогда не стрелял. Я хочу подробно рассказать тебе о нем. Он родился на юге, но, как все прочие, перебрался в большой город. Скромного происхождения, самого скромного. Отец держал велоремонтную мастерскую поблизости от Кроуфорд-маркета. Мальчишка помогал отцу чинить велосипеды и смотрел, как мимо проносятся большие машины. “Студебеккер”, вууууш! “Кадиллак” — и он говорил себе: когда-нибудь, когда-нибудь… как все прочие. Мальчик вырос, работал в доках, разгружал суда. Простой носильщик, семнадцати-восемнадцати лет, но всегда настороже,

высматривал свой шанс. Паломнические суда возвращались от мусульманских святынь, пилигримы везли контрабанду. Транзисторные приемники, швейцарские часы, золотые монеты. Товар, подлежащий растаможиванию. Задорого. Дон Корлеоне проносил эти вещи в трусах и в тюрбане и так далее. Получал вознаграждение. У него завелись деньги.

И вот — удачное знакомство с рыбаком-контрабандистом из Дамана. Некий мистер Бакхиа. В ту пору Даман был португальской колонией. Надзор ослаблен. Бакхиа и Дон Корлеоне занялись контрабандой из Дубая и Адена через Даман, через плохо охраняемую границу, в Индию. Хороший бизнес. Дон Корлеоне поднимался по социальной лестнице. Подружился с главами других криминальных семейств. В. Мудалиар, К. Лала и так далее. Потом сблизился с политиками, в том числе с неким Санджаем Ганди, сыном Индиры. Таковы факты. К семидесятым он сделался большой шишкой, царем горы. Ему на хвост сел молодой офицер полиции, который не желал брать взятки. Честный парень. Честный в этой профессии — недостаток. Некий инспектор Мастан. Дон Корлеоне устроил ему перевод в никуда, и когда офицер сидел в самолете, Дон

Корлеоне поднялся на борт пожелать счастливого пути. Благополучно приземлиться, Мастан. Удачи на новом месте. Чмок-чмок. В таком духе. Так он был самоуверен в ту пору.

Он жил хорошо, но и трезвенно. Лучшие костюмы, лучшие галстуки, лучшие сигареты — “Стейт экспресс 555” — и “мерседес-бенц”. Большой дом на Уорден-роуд, дворец, но занимал он только одну комнату на террасе верхнего этажа. Пять метров на три. Не более того. Внизу приходили-уходили кинозвезды, он вложил немало денег в съемки, понимаешь. По меньшей мере три фильма по его собственной жизни, в главных ролях знаменитости. И женился на старлетке. Ее имя по-английски было бы Голди. А потом в середине семидесятых он пал. Ганди оказался неверным другом, и Дон Корлеоне отправился на полтора года в тюрьму. Это из него начинку вышибло. Бросил контрабанду раз и навсегда. Сначала сделался религиозным, как те пилигримы, что провозили запрещенный товар и снабдили его первыми деньгами. Потом сунулся в политику. В середине девяностых, когда из всех семейств на самый верх поднялась “З-компания” Замзамы Аланкара и в Бомбее впервые произошел теракт, многие думали, что он тут замешан, но для таких

дел он был слишком трусоват. Невиновен, невиновен, невиновен. Следующий год — инфаркт и смерть. Ужасная история.

— Это была естественная смерть? — уточнил я. — У него же, наверное, были враги?

— К тому времени его уже не стоило убивать, — ответил Нерон Голден.

Затяжная пауза.

— Эту историю вы и хотели мне рассказать? — произнес я наконец. — Могу я спросить почему?

Затяжная пауза.

— Нет, — сказал он.

Снято.

Он словно умышленно меня дразнил. Отчасти явно хотел дать мне понять, в каком мире он вырос, но признавал ли он соучастие в этом мире или же объяснял, почему в итоге отверг его и отряс его прах? Или и то, и другое? Он был в этом замешан, а потом решился уйти из этого мира, пришлось уехать далеко, так далеко, чтобы никто не мог его настичь. Из того, что он говорил, однозначный вывод сделать было трудно. И поскольку я почувствовал большое облегчение, поняв, что

мне не будет предъявлена папка из моих страшных снов, где хранятся доказательства связи с его супругой, я легко принял историю Дона Корлеоне в том виде, в каком мне ее пожелали сообщить, выпил еще рюмку водки и удалился. Старик, ударившийся в воспоминания о былом — не он первый, не он и последний. Он начинал забывать настоящее, мелочи — куда положил ключи, с кем хотел встретиться, дни рождения, — однако у него имелись помощники, напоминавшие ему почти обо всем, а память о прошлом, казалось, даже укреплялась. Я подозревал и надеялся, что будут новые ночные беседы вроде только что завершившейся. Я хотел заполучить все его истории, нуждался в них, чтобы в итоге создать из него свой персонаж.

Известие о надвигающемся отцовстве тоже вроде бы ободрило Нерона, оно подтверждало — будто он нуждался в таком подтверждении — его неукротимую мужскую силу. И в бизнесе его сила, по крайней мере в ту пору, тоже не убывала, что доказывали всем нам масштабные работы, начавшиеся в Западной части Манхэттена. Проект перестройки “Гудзон ярдз” осуществляли совместно “Рилейтед компаниз ЛП” и “Голдман Сакс” в сотрудничестве с “Оксфорд пропертиз

груп Инк". В основание проекта лег строительный заем на 475 миллионов долларов, который совместное предприятие "Рилейтед/Оксфорд" получило из "разных источников". Я практически на сто процентов уверен, что Нерон Голден под прикрытием той или иной компании стал одним из кредиторов наряду с большими игроками, "Старвуд кэпитал груп" Барри Стернлихта и торгующей предметами роскоши "Коуч". Первоначальный взнос в освоение этих 26 акров земли он внес за много лет до того, внутри инвестиционной программы EB-5, которая позволяла иммигрантам получать грин-карту и со временем гражданство в обмен на капиталовложения. Тут-то я понял наконец, каким образом Нерон с сыновьями сумели почти мгновенно перебраться в Америку и явились сюда с полным правом работать и проживать. Впоследствии, в год беременности Василисы, Голден сделал очередной взнос в виде завершающего займа — это сходно со второй закладной, но обеспечивается акциями компании, которая владеет собственностью, а не самой недвижимостью. Так что теоретически, если бы владелец собственности перестал платить проценты по займу, Нерон мог бы за несколько недель вступить во владение акциями и, полу-

чив контрольный пакет, распоряжаться всей собственностью. Насколько мне известно, этого не случилось. Но, с заемными средствами или собственными, суперинвестор или должник на миллиард, он играл по самым высоким ставкам в самой крупной игре с недвижимостью в нашем большом городе.

Юридическое лицо, выдавшее завершающий заем, именовалось “ГОВВ холдинг”. После гибели императора Нерона (68 н. э.), завершившей правление римской династии Юлиев-Клавдиев, за 69 год сменилось четыре императора: преемника Нерона Гальбу сверг Отон, его убрал Вителлий, но тоже не удержался на троне, и его уничтожил тот, кто стал основателем новой династии Флавиев — Веспасиан. Гальба-Отон-Вителлий-Веспасиан: ГОВВ.

Год спустя Василиса родила сына, и Нерон назвал его Веспасианом, словно угадав, что это дитя иной крови и со временем создаст собственную династию.

Я, разумеется, промолчал.

В ожидании Веспасиана

Как раз в пору беременности его жены, когда он ожидал появления маленького императора Веспасиана, Нерон Голден сделался вдруг одержим

пенисом Наполеона Бонапарта. Это само по себе в достаточной степени указывало на ухудшение интеллектуального состояния и могло бы послужить нам предостерегающим сигналом, но семья отнеслась к его затее снисходительно, пусть себе старикан забавляется. Когда он не был занят делами, жизнью, зарождавшейся в Василисином чреве, или трудностями, сопряженными с ролью отца уже взрослых сыновей, Нерон отправлялся в погоню за членом французского императора. О котором сообщается следующее: после смерти Бонапарта на Святой Елене было проведено вскрытие, и ряд органов, включая невыразительный фаллос, были устранены по причинам, кои теперь нам неведомы. Крошка-Наполеон попал в итоге в руки (надо бы как-то это перефразировать) итальянского священника, а затем был продан, некоторое время принадлежал лондонскому книготорговцу, перебрался через Атлантику, сначала пребывал в Филадельфии, потом в Нью-Йорке, где его в 1927 году выставили в Музее французского искусства: одна газета сравнивала его со “съежившимся угрем”, а такой авторитет, как журнал “Тайм”, назвал “подвергшимся дурному обращению обрывком кожаного шнурка”. В 1977 году его приобрел на аукционе известный уролог

Джон Латтимер, желая повысить авторитет своей профессии. После его смерти пенис перешел к дочери Латтимера наряду с прочими курьезами, в том числе с подштанниками Германа Геринга и окровавленным воротником, который находился на шее у президента Линкольна, когда тот погиб в театре Форда. Все эти реликвии хранились теперь в Инглвуде, штат Нью-Джерси: орган Наполеона, завернутый в ткань, покоился в маленькой шкатулке с монограммой N на крышке, внутри сундука, в кладовке, и это раззадоривало Нерона, который мечтал, чтобы пенис получил подобающие ему императорские почести.

— Вот как должно быть, — говорил он мне, — я куплю его, мы вернем его народу Франции, и вы снимете об этом документальный фильм, ты и твоя девушка. Я самолично отвезу контейнер в Париж, войду с ним в Дом Инвалидов и приближусь к саркофагу Бонапарта, где меня будут ждать высшие чиновники Республики, может быть, даже сам президент, и я попрошу разрешения возложить контейнер на крышку саркофага, чтобы Наполеон воссоединился наконец со своим утраченным мужским достоинством. Я произнесу небольшую речь, что делаю это, ибо я американец, как бы в ответ на дар Франции

Америке — Статую Свободы.

Он не шутил. Он каким-то образом выяснил номер телефона того дома в Инглвуде и названивал дочери Латтимера, а та сразу же клала трубку. Затем он поручил это двум драконшам, мисс Суматохе и миссис Сумятице, и они усердствовали, пока на том конце линии им не пригрозили иском о преследовании. Тогда Нерон задумал сам поехать в Нью-Джерси с чековой книжкой, чтобы заплатить и заключить сделку. Вся способность Василисы убеждать понадобилась, чтобы его отговорить.

— Владелица не хочет продавать, дорогой, — говорила она. — Если ты явишься к ней, она будет в своем праве вызвать копов.

— Деньги многое могут, — ворчал он. — Можно купить дом, в котором человек прожил всю жизнь, стоит лишь предложить верную цену поутру — и к обеду он съедет. Можно купить правительство, если денег хватит. А я не смогу купить письку в полтора дюйма длиной?

— Оставь это, — повторяла жена. — У нас сейчас другие заботы.

В тот год мы все старались отвлечь Нерона от любимой темы. Несомненно, чувства Нерона к сыну, которого его вынудили породить, были

противоречивыми, и также несомненно, что я, подлинный автор побочной сюжетной линии, ощущал самые противоречивые чувства, оказавшись, так сказать, теневым творцом этой новой жизни. О чувствах Василисы ничего сказать не могу. Порой она становилась загадочнее сфинкса. Что же касается реакции уже существовавших сыновей Голдена, про нее следует поговорить подробнее. В тот год, к примеру, Апу Голден принялся разбивать вещи, создавая все более политизированное искусство, он выставлял эти сломанные объекты, в которых отражался слом общества и гнев народа, спровоцированный сломом общества.

— Человеческие жизни рушатся, — говорил он. — И люди готовы крушить все, потому что почему бы, черт побери, и нет.

Куда бы я в тот год ни пошел, я налетал на того болтуна из парка. Во второй триместр Василисиной беременности он вторгся на съемочную площадку на Двадцать третьей улице перед театром Школы визуальных искусств, где Сучитра и я записывали вживую интервью с Вернером Херцогом для моей серии классических моментов в кино. Только я провозгласил “Агирре, гнев

Божий”[60] — старый бродяга прошел у нас с Херцогом за спиной, в точности, *в точности* похожий на великого безумца с широко раскрытыми глазами, на самого Клауса Кински в фильме “Агирре, гнев Божий”, он бормотал о набирающем *скорость* зле, о *растущей горе* зла прямо тут, *в центре города,* а всем наплевать. Разве хоть один человек в Америке об этом *думает?* Дети отстреливают отцам пенисы прямо в спальне — кто-нибудь это *замечает*? Это похоже на *глобальное потепление,* адский огонь растапливает огромные ледяные пласты зла, и уровень зла вздымается по всему миру, никакими шлюзами не сдержать потом. Бам! Бам! — орал он, возвращаясь к первоначальной теме. Монстры-игрушки идут за вами, десептиконы и терминаторы, остерегайтесь игрушек, которыми забавляются ваши дети, остерегайтесь на площадях, и в торговых центрах, и во дворцах, остерегайтесь на пляжах, и в церквах, и в школах, они уже двинулись в поход — бам! бам! — и они умеют *убивать.*

— Потрясный чел, — с искренним восхищением промолвил Херцог. — Надо вставить его в фильм, давай я возьму у него интервью.

---

[60] Примечания: 60

“Агирре, гнев Божий” (1972) — фильм Вернера Херцога о конкистадорах. Заглавного героя играет Клаус Кински.

20

— Вот в чем я с готовностью исповедуюсь тебе, красивый черт, — мрачно произнес Петя Голден. — Во мне не осталось ни ошметка братской любви. Более того, я уверен, что широко распространенное мнение, будто глубокая привязанность братьев и сестер является врожденной и неизбежной, а отсутствие таковой дурно говорит об индивидууме, которому ее недостает, неверно в корне. Это не генетический факт, вернее, это своего рода социальный шантаж.

Посетители редко допускались в логово Пети, но для меня он сделал исключение, возможно, потому, что я оставался (исключительно в его глазах) самым красивым парнем на земле, и вот я сидел в синем свете его комнаты среди компьютеров и шарнирных ламп, соглашался на тост с дабл-глостером прямиком из гриля и старался поменьше говорить, поскольку к его болтовне всегда имело смысл прислушаться, даже когда он, сходя с катушек, забредал далее обычного.

— В Древнем Риме, — продолжал он, — фактически во всех великих империях, на любом континенте и в любую эпоху, братья — те, кого

в первую очередь следует опасаться. Наступает время престолонаследия, и тут уж убить или быть убитым. Любовь? Эти принцы расхохотались бы, услышав подобные слова.

Я спросил, как бы он ответил Уильяму Пенну, что мог бы сказать по поводу идеи, воплощенной в названии города Филадельфия[61], который с первых лет своего существования процветал именно как убежище толерантности, привлекавшее к себе людей самых разных вер и дарований, да и отношения с индейскими племенами здесь сложились получше, чем в среднем по штатам.

— Идея человеческого братства заложена во многих философиях, почти во всех религиях, — отважился я напомнить.

— Может быть, нужно постараться любить человечество в целом, — отвечал он тоном, свидетельствовавшим о крайней скуке. — Но *в целом* это для меня слишком общо. Я предпочитаю говорить о конкретной нелюбви. Двое уже рожденных и один пока нерожденный — вот мишени моей враждебности, и она, вероятно, окажется безграничной, пока не знаю. Я говорю, что настала пора развязать эти узы крови, а не о том, чтобы отвер-

---

[61] Примечания: 61
Филадельфия по-гречески означает “братская любовь”.

нуться от всего распроклятого человечества, и не напоминай мне, будь добр, об африканской Еве и о Последнем всеобщем предке, три с половиной миллиарда лет как обратившемся в прах. Я осведомлен о родословном древе человечества и о той жизни, что предшествовала гомо сапиенсу, и рассуждать об этих генеалогиях в данный момент значит умышленно пренебрегать тем, что я пытаюсь сказать. Ты знаешь, о чем я. Только братья — только их я ненавижу. Это выяснилось, когда я стал думать о младенце, которого нам в скором времени предстоит приветствовать.

Я не мог заговорить, хотя в моем сердце забушевал родительский гнев. Очевидно, пока мой сын, мой секретный Золотой мальчик, вызревал в чреве матери, его будущий брат Петя уже успел его невзлюбить. Я хотел спорить, защитить дитя, обрушиться на его обидчика, но тема обрекала меня на молчание. Да и Петя уже заговорил о другом, он поставил меня в известность, что намерен излечиться от страха перед внешним миром и затем навеки покинуть дом на Макдугал-стрит, став таким образом последним из трех сыновей Нерона Голдена, самостоятельно пролагающим свой путь. Ему было труднее всех осуществить этот шаг, но внезапно в нем обнаружились неведомые

источники воли. Некая сила направляла его, и, слушая Петю, я сообразил, что это ненависть, прежде всего обращенная против Апу Голдена, зародившаяся на берегах Гудзона в ту ночь, когда его брат соблазнил (или сам был соблазнен ею) скульптора по металлу, сомалийскую красотку Убу. Ненависть возрастала в долгие одинокие ночи, пропитанные синим светом, и наконец побудила к действию. Он излечится от агорафобии и уйдет из дома. Петя ткнул в табличку над дверью в свою комнату: “Оставь свой дом, юноша, взыскуй чуждых берегов”.

— Я прежде думал, это о переезде в Америку, — сказал он, — но здесь, в этом здании, мы по-прежнему дома, словно привезли дом с собой. А теперь я наконец-то готов следовать наставлениям моего великого тезки, и если не буквально к чуждым берегам, то по крайней мере прочь отсюда, в отдельную квартиру.

Я просто принял эту информацию к сведению. Оба мы понимали, что агорафобия — наименьшая из Петиных проблем. О более тяжелой проблеме он в тот раз предпочел не заговаривать. Но я видел на его лице величайшую решимость. Он явно собирался преодолеть и барьер этой более тяжкой проблемы.

На следующий день в доме Голденов появился новый человек, и далее он наведывался ежедневно, ровно в три часа дня: крепко сбитый мужчина с пышной светлой шевелюрой, в кедах-конверсах, с улыбкой принципиальной искренности, с австралийским акцентом. А также — напоминал нам Нерон Голден — явно похожий на бывшего чемпиона Уимблдона Пэта Кэша. На этого человека возлагалась задача избавить Петю от страха перед открытым пространством. Личный гипнотерапевт Пети. Звали его Мюррей Летт.

— Позовете меня и не промахнетесь, — говаривал он: шуточка теннисиста, лишь увеличивавшая сходство с былой австралийской знаменитостью.

Петя с трудом поддавался гипнозу, потому что непременно хотел препираться с гипнотерапевтом, отвергая его внушение, к тому же какие-то свойственные антиподам нотки в голосе этого человека его раздражали, а также специфический юмор и так далее. Первые сеансы дались тяжело.

— Я не в трансе, — прерывал Петя пассы мистера Летта. — Я расслабился и в хорошем настроении, однако полностью себя контролирую.

Или в другой раз:

— Ох ты, я почти уже вошел в транс, наконец-то.

И тут муха залетела мне в нос.

Петя был слишком наблюдателен, вот что́, среди прочего, наносило ему серьезный ущерб. Как-то раз, заглянув в освещенную синими лампами комнату, когда Петя согласился наконец поговорить о синдроме Аспергера, я назвал знаменитый рассказ Борхеса “Фюнес, чудо памяти”, о человеке, неспособном забывать, и Петя ответил:

— Да, это и со мной, только не ограничивается тем, что случилось или что люди сказали. Этот писатель, он слишком увлечен словами и делами. Добавь-ка еще запах и вкус, звук и осязание. Взгляды, формы, схемы, в которые складываются автомобили на улице, движение пешеходов относительно друг друга, паузы между нотами и воздействие собачьего свистка на собак. Все это все время крутится у меня в голове.

Сверх-Фюнес, обреченный на сенсорную перегрузку всех органов восприятия. Трудно даже вообразить себе, из чего состоял его внутренний мир, как Петя справлялся с осаждавшими его ощущениями, они толпились, словно пассажиры метро в час пик, оглушительная какофония всхлипов, гудков, взрывов и шепотов, калейдоскопический промельк образов, забивающие

друг друга запахи. Ад, карнавал пр́оклятых, вот на что это похоже. Я понял тогда, как неправильно было присловье, что Петя живет в аду — все наоборот, ад помещался внутри него. Только тут я осознал — а осознав, был смущен тем, как не видел этого до сих пор, — с какой величайшей отвагой и силой Петроний Голден каждый день предстоит миру. Поняв это, я проникся большим сочувствием к прорывавшемуся порой неистовому протесту против своей жизни, как тот эпизод на подоконнике и в метро на подъезде к Кони-Айленду. Я также начал задумываться: если эта огромная сила воли теперь будет подчинена его ненависти к еще нерожденному и вскоре собирающемуся появиться сводному брату (вообще-то вовсе не кровному, но пусть так), к его младшему запутавшемуся полубрату и более всего к предателю, полнородному брату, то на какие подвиги мести может он решиться? Не пора ли мне обеспокоиться безопасностью моего ребенка или же это инстинктивное опасение выражает рефлективное ханжеское (не) приятие Петиного состояния (и вправе ли я называть это “состоянием”? Может быть, правильнее — “Петиной реальностью”? Как трудно теперь дается язык, сколько в нем скрытых мин, и добрыми

намерениями, как прежде, не оправдаешься).

Лучше поговорим об алкоголизме, тут все надежнее. У Пети были явные проблемы со спиртным, их не замаскировать. Он пил в одиночестве, пил много и превращался в меланхолического пьяницу, однако таким образом ему удавалось отключить внутренний ад и немного поспать, точнее, отрубиться и провести несколько часов в блаженно-бессознательном ступоре. И в час перед наступлением этого ступора, в тот единственный раз, когда он позволил мне стать свидетелем ночного обряда ухода в беспамятство, это было в начале третьего триместра Василисы, и Петя сказал, что “нуждается в моей поддержке”, я выслушал с нарастающей тревогой и даже неприязнью (он не мог контролировать поток слов, вливавшийся в него со всех сторон или цензурировать собственный речевой поток, когда к информационной сутолоке добавлялся алкоголь) непрекращающийся монолог на грани бессознательного, раскрывший мне, до какой степени Петя интегрировал в себе междоусобно враждующие фрагменты американской культуры и обратил их себе во вред. Проще говоря, его пьяное ночное Я рвалось к крайностям жесткого консерватизма, двойник, брейтбартовское дру-

гое Я, пенился у него на устах, подкрепленный вышивкой, порожденный изоляцией и вполне оправданным гневом на весь мир: Обамакэр — полное безобразие! Бойня в Мэриленде — нечего тут политизировать! Повышение минимальной зарплаты — скандал! Однополые браки — противоестественны! Отказ церквей Аризоны, Миссисипи допускать ЛГБТ-людей на службу — свобода! Полицейские стреляют на поражение — самозащита! Дональд Стерлинг — свобода речи! Стрельба в университетском кампусе Сиэтла, стрельба в Вегасе, стрельба, затеянная старшеклассником в Орегоне — людей убивает не оружие! Вооружите учителей! Конституция! Свобода! Отрубание голов в ИГИЛе, джихадист Джон — омерзительно! У нас нет плана! Прикончить их всех! У нас нет плана! О, и к тому же — Эбола! Эбола! Эбола! — и так и более того бессвязным бурливым потоком, смешанным с враждебностью к Апу, если Апу склоняется влево, значит, Петя назло ему двинется вправо, где Апу за, там Петя против, он выстроит моральную вселенную, выворачивающую наизнанку реальность брата, черное станет белым, правда ложью, низ верхом, и что внутри, то снаружи. Апу несколько раз выслушивал монологи Пети вживую, но отвечал

мягко, не ловился на живца.

— Пусть себе болтает что хочет, — сказал он мне, — ты же знаешь, там беда с проводкой. — И он постучал себя по лбу, намекая на Петины мозги.

— По мне, он один из самых умных людей, кого я знаю, — ответил я совершенно честно.

Апу скорчил рожу.

— Ум-то надтреснутый, — сказал он. — Так что не в счет. Мне вот с целым кракнувшимся миром приходится иметь дело.

— Он старается изо всех сил, — решился я добавить. — С гипнотерапевтом работает, и так далее.

Но и от этого Апу отмахнулся:

— Сообщи мне, когда он перестанет рассуждать так, словно сидит на собрании Партии чаепития в дурацком колпаке на голове. Сообщи, когда он перестанет рассуждать, как республиканский слон в посудной лавке.

Еще больше, чем Петина многословная враждебность к Апу, меня тревожила его открывшаяся по пьяни фобия против иных гендеров. И это тоже проистекало из семейной динамики. Судя по неистовым оборотам речи (я воздержусь приводить их здесь), мирный договор, заключен-

ный много лет назад, был расторгнут, решение простить Д Голдену то, как он обошелся с матерью своих братьев, было отменено, и гнев Пети нашел выражение в яростной враждебности, направленной на гендерные поиски и смятение полубрата. Он обрушивал на полубрата слова-снаряды: *противоестественный, извращенный, больной.* Каким-то образом он узнал, что Д наведывался в гардеробную Василисы, и поскольку она оказалась соучастницей в экспериментах Д с другой ипостасью, Петя получил возможность направлять вербальную агрессию в ее сторону. Объектом этой составляющей его гнева стал эмбрион, и я вновь затревожился насчет безопасности еще не родившегося младенца.

Зато наконец-то сработал гипноз. Конверсы пышноволосого гипнотерапевта мистера Летта отныне ступали пружинистее.

— Как дела? — спросил я его, когда он вышел из комнаты после сеанса, и от возбуждения он наговорил много слов:

— Очень хорошо, спасиибо, — сказал он. — Я всееегда был увееерен, что это сработает. Просто прииишлось потерпееть. Я примениил собственный мееетод в такой сииитуации, я называю это пееерсонально программиии-

руемая сиииила, коротко ППС. Нужно работать постепееенно, шаг за шагом наращивая у пациееента увееееренность в себе, то, что я называю самоактуализация! Каждый шаг по пути ППС укрепляет веееру человееека в сееебя. Тепееерь мы двиииинемся по этому пути. Совершееееенно определенно. Это закреееепится. Нужно дать вашему другу ощутиииимое доказательство, которое он сможет воспроизводиииить время от вреееемени, доказательство его способности контролиииировать свои мееентальные процеессы. Взять на сееебя ответееетственность за телееесные и эмоциональные реееакции. Когда он поймет, как это деееелать, он почувствует увееееренность и сможет контролировать свой опыт во внееешнем мире. Шаг за шагом. Вот в чем секреееет. Я дам ему способность выбирать, как он будет реагировать на людееей вокруг, на всякое деееерьмо, какое случится сеейчас или в будущем, на любые ситуации. Я очееень оптимистиииичен. Доброго дня.

В процессе исцеления Петя изучал структуру “огражденных пространств”, как он это называл, пентаграммы у оккультистов, эрувы у иудеев. Если он сумел принять частный остров у берегов Майами как одно из таких огражденных пространств, а как другое — закрытый сад Убы

Туур (где случилось то несчастье), то конечно же он сумеет сконструировать для себя такие пространства. Отсюда возникла идея обвести остров Манхэттен меловым кругом. Петя сделает это самостоятельно, а чтобы усилить власть кольца, будет по пути разбрызгивать чесночный сок. Чтобы справиться со страхом, он наденет самые темные очки, закроется капюшоном. Еще он будет слушать громкую музыку, и наушники полностью отсекут внешние шумы. Он будет все время пить воду. Справиться с этим заданием он должен один. Никто не может ему помочь. Все надо совершить самому.

Гипнотерапевт Летт обеими руками поддержал этот план и как мог подготовил его осуществление: предложил сходить за покупками, принести мела и зубцы чеснока. Нерон же Голден тревожился и кому-то звонил.

Настал назначенный день, с утра жаркий и душный, на небе ни облачка. Петроний Голден вышел из залитой синим светом комнаты, одетый, как заранее описал, на лице угрюмая решимость эфиопского марафонца. Мюррей Летт ждал его у выхода, и прежде, чем Петя ступил за порог, терапевт постарался ему напомнить, сколь многого он уже достиг, перечислил его достиже-

ния на пальцах, задействовав и большие:

— Помниии. Большой прогрееееесс увееееренности в сееебе! Укрепииили фокус и сосрееедоточенность. Огромные улучшееения автономности и увееееренности. Намного лучше мееенеджмент стреееса. Намного лучше мееееенеджмент гнееева. Большой шаг вперед в сфееере контроля импульсов. Ты справишься!

Петя, в состоянии укрепленного фокуса и сосредоточенности, которые так восхвалял Летт, слушал в наушниках *Nine Inch Nails* и не разобрал ни слова из сказанного. На одно плечо он повесил мешок с мелом, за плечами в рюкзаке болтались картонные пакеты с кокосовой водой, фрукты, бутерброды, батончики и жареные куриные ножки. Имелись там и три пары сменных носков: опытные ходоки в интернете предупредили Петю, что влажные ноги в пропитанных потом носкам натираются до пузырей, и тогда придется сойти с дистанции. В одной руке Петя сжимал пакет с давленым чесноком, в другой — трость, к концу которой был прикреплен первый кусок мела. В карманах лежали еще рулоны скотча, чтобы приматывать по мере необходимости все новые куски мела.

— Следи за своим поведееением! — заорал

Мюррей Летт, поняв наконец, что его не слышат. — Избегай интровееерсии! Контакт глазами! Вот хорошие веееещи, о которых надо помнить.

Но Петя ушел в свой собственный мир и едва ли планировал контакт глазами.

— Напослееееедок! — завопил Мюррей Летт, и Петя наконец-то любезно стянул с головы наушники и прислушался.

— Надеюсь, твоя схееема сна удовлетворительна, — понизил голос Мюррей Летт, — и прости, что спрашиваю, но энурееез, с ним мы справились, веееерно?

Петя аж закатил глаза и вернул наушники на место, видимо довольный тем, что вместо Трента Резнора поет Эксл Роуз, и, наклонив голову, шагнул за порог в “Убер”, которому поручалось отвезти Петю до избранного отправного пункта, порта на Саут-стрит, а мистер Летт оставался его ждать.

— Доброго путиии! — прокричал вслед гипнотерапевт. — Я тобой горжусь. Молодееец!

Нерон Голден тоже стоял у двери, при нем госпожи Сумятица и Суматоха, а также я.

— Не торопись, — посоветовал он сыну. — Не загоняй себя. Соблюдай приемлемый темп. Это не соревнования.

Машина с Петей отъехала, Нерон что-то скомандовал в телефонную трубку. Его люди были расставлены в автомобилях на всем маршруте. Каждый шаг Пети под наблюдением.

Тридцать две мили плюс-минус составляет “большой обход” вокруг острова Манхэттен. Семьдесят тысяч шагов. Двенадцать часов, если ты не супербыстр. Двадцать парков. Я не пошел вместе с Петей, но я сразу же понял, что этот момент — одна из кульминаций фильма, о котором я мечтал, моего воображаемого фильма о Голденах. Громкая музыка саундтрека, “Металлическая машина” Лу Рида, *Zeppelin*, *Metallica*, и эти, которые ставят над гласными умлаут *Motörhead* и *Motley Crüe.* Наш пешеход шагает, и каждый его шаг сопровождается (каким-то образом слышным сквозь тяжелый металл, я еще не придумал, как это осуществить) ударом по тамбурину. В парках он минует значимые фигуры из своей жизни, они следят за ним — фантомы? Эктоплазма его поврежденной фантазии? Вот его мать в парке Нельсона Рокфеллера, она, безусловно, призрак или воспоминание. А вот Апу пробегает трусцой по променаду Ист-Ривер. Далее в парке Риверсайд Д Голден и Рийя, неподвижные, смотрят, как он проходит, таращатся пристально, как

свойственно призракам. Вокруг них испуганные, захваченные привидениями деревья. Уба Туур стоит часовым в парке Инвуд-Хилл, рядом с валуном Шораккопоч, который отмечает место, где в былые времена Петер Минёйт купил под самым развесистым тюльпановым деревом на Манахата весь остров за шестьдесят гульденов; а в парке имени Карла Шульца рядом с Грэйси-Мейшн пышноволосый Летт самолично поощряет своего подопечного. Возможно, Летт был как раз реальный. Петя шагает вперед, под звуки тамбурина, подальше от извилистых щупалец безумного горя. И пока идет, преображается. На десятой миле, в парке Вест-Гарлем-Пиэс, Петя отбрасывает мел, прекращает чертить линию, которая до сих пор следовала за ним, а проходя мимо резиденции мэра, отбрасывает и чеснок. Что-то в нем изменилось. Больше нет нужды размечать свою территорию. Сам его путь по кругу служит границей, и когда Петя его завершит, то получит невидимый и неуничтожимый эрув.

К тому времени, когда он возвращается, слегка спотыкаясь, в исходную точку, небо успевает потемнеть, и на глазах последних наблюдателей, шхун “Летти Говард” и “Пионер” и фрегата “Уэйвертри”, он начинает — на своих стертых,

перевязанных ногах — медленно и не замечая внимательных глаз танцевать. Под небом в алмазах, свободно помахивая одной рукой. Он избавился от проклятия. По крайней мере, от одного из них. И кое-что узнал, наверное, о своей силе, своей способности столкнуться лицом к лицу с остальными проблемами, их тоже преодолеть. Посмотрите сейчас на его лицо: это раб, который обрел свободу.

— А ненависть?

— А ненависть остается.

21

После великого похода Пети Голдена мы вынуждены были признать в гипнотерапевте Мюррее Летте чудотворца — вопреки его прическе, акценту, обуви — и усвоили урок эмпатии: истина часто залегает намного глубже поверхности, и человек может оказаться чем-то существенно бóльшим, чем его легко пародируемые свойства. Петя походил теперь на человека, освобожденного от приговора за преступление, которого никогда не совершал и за которое отбывал пожизненный срок. Его лицо светилось сумрачной радостью, отражавшей разом и несправедливость перенесенного страдания, и постепенно осознаваемое, сквозь отступающее неверие, избавление. Вступая в новую жизнь, Петя опирался на Летта, единственного, кто мог вывести его в мир, чья доступность все еще казалась недостижимым сокровищем, в тот самый мир, где мы, все прочие, жили небрежно, порой бездумно, вовсе не замечая ежедневного карнавала чудес, а Петя все это прижимал ныне к сердцу, словно дары. Он выходил вместе с Мюрреем Леттом покупать продукты в “Д’Агостино”, “Гристедис” и “Хоул

фудз"; он сиживал вместе с Мюрреем Леттом на открытых террасах кафе Юнион-сквер и парка Бэттери; он отправился с Мюрреем Леттом на первый в своей жизни рок-концерт под открытым небом, на Джонс-Бич, где играли *Soundgarden* и его любимые *Nails*, он побывал с Мюрреем Леттом на стадионе "Янкиз" и скандировал "Спасибо, Дерек", отсчитывая последние мгновения Дерека Джетера в "Бронксе". И вместе с Мюрреем Леттом он выбрал себе квартиру, меблированные и готовые к въезду жильца апартаменты в аренду на год — "а дальше посмотрим, сказал он доверительно, возможно, тогда уже наступит время покупать" — на четвертом этаже шестиэтажного здания в духе Мондриана, из стекла и стали, на восточной стороне Салливан-стрит.

Только тут выяснилось, и я почувствовал себя дураком — как можно было раньше этого не знать, — что Петя зарабатывал все это время огромные суммы как создатель и единственный владелец множества чрезвычайно успешных игр, которые весь мир уже освоил на смартфонах и на компьютерах.

Для меня это стало сенсацией. Мы все знали, что он постоянно играл, порой по четырнадцать-пятнадцать часов в день, но мы и не подозревали,

что он не просто растрачивает часы тревоги, занимаясь тем, в чем его странный, блистательный ум мог лучше всего себя проявить. Как же мы не догадались, что он самостоятельно освоил коды, быстро и глубоко проник во все тайны, и не только бесконечно гонял игры по монитору, но и сам их писал? Как мы были слепы вопреки очевидности и не заметили момент, когда в Пете раскрылся подлинный гений XXI века и он далеко обогнал нас всех, застрявших во втором тысячелетии! Это само по себе показывает, что мы подвели его, ежедневно предоставляя подолгу развлекать самого себя, жить взаперти, мариноваться в своей комнате, словно он был для нас вариацией на старую готическую тему, сумасшедшей на чердаке, нашей личной Бертой Антуанеттой Мейсон, первой миссис Рочестер, которая Джейн Эйр показалась похожей на вампира! И все это время! Все это время! Скрытный и экономный, Петя ничего не менял в своей жизни, себе ничего не покупал, карабкался на Эвересты этой тайной вселенной и, правду говоря, обставил всех нас. Вот и еще урок: нельзя недооценивать другого человека. Что для тебя потолок, другому — лишь пол под ногами.

У них у всех имелись секреты, у каждого из

Голденов. За исключением разве Апу, открытой книги.

То был год безобразного скандала “Геймергейт”: мир игроков разделился, мужчины против женщин, “геймерская идентичность” против разнообразия, и лишь такие недавно посвященные неандертальцы, как я, ухитрялись не замечать всю эту шумиху. Каким-то образом, как именно, этого я не понимал, Петя сумел оставаться в стороне, хотя, когда он наконец согласился поговорить со мной, он высказал весьма однозначные мнения насчет того, как мужское сообщество игроков реагирует на критику женщин, спесивиц, всех этих критиков в СМИ и независимых разработчиц игр, как обнародуют номера их телефонов и адреса, как эти женщины подвергаются еще худшим гонениям, в том числе сыплются угрозы убийства, из-за чего некоторые женщины вынуждены бежать из дома.

— Проблема не в технологиях, — пояснял он, — и технического решения тут нет. Проблема человеческая, человеческой природы в целом и мужской природы в частности, и той вседозволенности, которую обеспечивает людям анонимность: тут-то и выпускают на волю худшую сторону своей природы. Я-то просто сочиняю

развлекалки для детей, я нейтральная страна, Швейцария. Никто меня не трогает. Приезжают погостить и покататься на моих склонах.

Высокофункциональный аутизм способствовал превращению Пети в чудо среди создателей игр, и я попытался подсчитать, какое же он получает вознаграждение. Лучшие "командные приложения" (позволяющие соединиться с друзьями, чтобы играть вместе) приносили по 11–12 миллионов долларов в месяц. Старушка "Кэнди краш сага", про которую даже я слыхал, все еще приносила пять с половиной миллионов. Стратегии, которые главным образом зарабатывали на продажах приложений и менее десяти процентов дохода получали от рекламы, и то давали по два, два с половиной миллиона. Ежемесячно. Я зачитал Пете вслух список из пятидесяти топовых игр для *iOS* и *Android*.

— Твои среди них есть? — спросил я.

Широченная улыбка расплылась по его лицу.

— Я же не умею лгать, — сказал он, тыча пальцем в первый номер списка. — Я сделал это моим маленьким топориком.

Итак, более ста миллионов долларов только за эту игру.

— Знаешь что? — сказал я. — С этой минуты я

перестаю беспокоиться о тебе.

Существуют исследования, доказывающие, что аутизм возможно “перерасти”, что некоторые везучие пациенты способны перейти в группу ОИ, то есть “оптимального исхода”, и перестанут проявлять какие-либо симптомы аутистического спектра, причем высокий уровень интеллекта повышает вероятность такого исхода. Разумеется, результаты исследования оспаривались, но многие семьи приводили домашние доказательства в его пользу. Случай Пети иной. Он не вошел в группу ОИ да и не стремился к этому. Его достижения были тесно связаны с его высокофункциональным аутизмом. Зато после этого прорыва, похода вокруг Манхэттена, он все лучше справлялся с симптомами, реже впадал в депрессию, его не затягивало в очередной кризис, и уже не так тревожила идея жить отдельно. Он обрел в Мюррее Летте надежного друга, отец ежедневно заглядывал к нему в гости, Петя продолжал принимать лекарства, как предписано, и был… высокофункционален. Что же касается только что обретенной свободы от страха перед внешним миром, тут не угадаешь, надолго ли он избавился и как далеко будет отрываться от “базы”. Но в целом он обрел прекрасную форму,

такой он много лет уже не знал. Появилась перспектива не бояться за него.

Пил он по-прежнему слишком много. Но как-то (вероятно, потому что это куда более привычная проблема) это нас беспокоило куда меньше, чем должно бы. И на какое-то время все мои тревоги переключились на меня самого. Малыш уже был на подходе, и, по правде говоря, я не мог перенести больше ситуацию, куда себя загнал, так что поспешил выполнить требования Сучитры и выбраться из дома Голденов. И ведь правда, у моих родителей хватало друзей в Саду, так что к моей величайшей радости их друг-дипломат из Мьянмы, которого на этих страницах я, чтобы легче было его выдумывать, переименовал в У Лну Фну, этот вдовец с печальным лицом, с запавшими глазами под стеклами очков, недавно проигравший У Танту в попытке стать вторым генсеком ООН родом из Бирмы, пригласил меня в свой дом.

— Для меня это удовольствие, — сказал он. — Помещение большое, и в одиночестве я чувствую себя мухой, жужжащей внутри колокола. Слушаю эхо самого себя, и этот звук мне не нравится.

Оказалось, что и со временем я угадал: у дипломата в свободной комнате какое-то время

проживал арендатор, но как раз в тот момент, когда я додумался спросить, нельзя ли мне занять эту комнату, жилец собрался ее освободить. Этот покидающий сюжет персонаж, летчик по имени Джек Бонни, похвалялся, будто работает "на крупнейшую авиакомпанию из тех, чьего названия вы никогда не слыхали", на "Геркулес эйр", которая прежде перевозила грузы, но теперь бралась доставлять и солдат, и других клиентов.

— Недавно, — повествовал он, — мы взяли на борт британского премьер-министра со всеми его охранниками, и я такой: разве ему не полагается борт номер один? А охранники говорят, у нас такого самолета нет. И я перебрасывал наемников в Ирак, это было нечто. А самый серьезный мой груз — из Лондона в Венесуэлу, на двести миллионов долларов венесуэльской валюты, ее печатали в Британии, кто бы подумал, ага. И вот заковыка: в Хитроу грузили эти ящики безо всякой охраны. Я головой покрутил: нет, только обычные служащие аэропорта, ни тебе вооруженного сопровождения, ничего. Прилетаем в Каракас — вау, полномасштабная военная операция. Базуки, танки, устрашающие парни в бронниках, стволы торчат во все стороны. А в Лондоне — по нулям. Вот что меня ошарашило.

Когда он съехал, а я удобно обустроился на его месте, У Лну Фну зашел ко мне в комнату и деликатным, заботливым тоном произнес:

— Я был рад, пока он составлял мне компанию, но я также рад, что ты по характеру спокойнее. Мистер Бонни хороший человек, но ему бы последить за своим чересчур болтливым языком. У стен имеются уши, дорогой Рене, у стен имеются уши.

Он беспокоился обо мне, и однажды, смущаясь, испросив на то предварительно разрешения, высказался, как уважал моих родителей и как понимает боль моей утраты. Он сам, напомнил он смиренно, пережил боль утраты. Сучитра была рада, что я обустроился, однако, заметив, что я по-прежнему пребываю в унынии, подступилась ко мне:

— Что-то ты спал с лица с тех пор, как съехал от семейки Аддамс. Уверен, что не вздыхаешь по кусочку сладкого русского пирога?

Тон ее был легок, Но Сучитра явно требовала ответа.

Я сумел ее уболтать: она была доверчива и вскоре уже сама смеялась над своими подозрениями.

— Хорошо, что тебе удалось остаться в любимом Саду, — сказала она. — Представляю себе, как бы у тебя рожа вытянулась, если бы это не вышло.

Но мой сын, мой сын! Невозможно быть вдали от него, невозможно быть и рядом. Василиса Голден, уже сильно беременная, на сносях, выходила в Сад ежедневно, и с ней повязанная платком “бабушка”, якобы ее мать, еще одно клише на службе у мелодрамы, и я думал: мой сын достанется тем, кто даже не говорит толком по-английски. Недостойная мысль, но в безумии обманутого отцовства только недостойные мысли и лезли в голову. Может, выплеснуть всю правду? Или хранить молчание? Что лучше для мальчика? Разумеется, лучше знать, кто его настоящий отец. Но я и сам, признаюсь, побаивался и сильно побаивался Нерона Голдена, это был страх юного, только начинающего художника перед полностью развившимся и достигшим могущества человеком реального мира, пусть даже этот человек понемногу начинал сдавать позиции. Что он сделает? Как отреагирует? Не подвергнется ли угрозе ребенок? А Василиса? А я? Уж я-то безусловно. За всю доброту, оказанную сироте, я отплатил тем, что обрюхатил жену хозяина. Действовал, правда, по ее просьбе, но он таких оправданий не примет, и я страшился его кулаков — самое малое кулаков. Но как всю жизнь хранить молчание? Ответа не было, а вопросы осаждали меня днем и

ночью, и негде было искать бомбоубежище.

Я чувствовал себя дураком, хуже дурака, заблудившимся ребенком, виновным в какой-то серьезной шалости и ждущим от взрослых наказания — а поговорить ни с кем не мог. Впервые в жизни я оценил католическое изобретение, исповедь и следующее за ней прощение от Бога. Если бы я сумел в тот момент найти священника — если бы многократно повторенная *mea maxima culpa*[62] заглушила бы неумолчное вопрошание внутри, — я бы с радостью воспользовался такой лазейкой. Но где его взять! С церковным миром связь давно утрачена. Родители умерли, а новый мой домохозяин, У Лну Фну, безусловно, спокойный и успокоительный и опытный дипломат в придачу, был измучен словоохотливостью прежнего постояльца и уж конечно отшатнулся бы от того радиоактивно эмоционального материала, который я мечтал на кого-нибудь сгрузить. Сучитра, по понятным причинам, исключалась. Я, кстати, понимал, что, если не сумею достаточно быстро прийти в себя, вскоре она почует неладное и это будет наихудший вариант обнаружить правду. Нет, эта правда не должна

[62] Примечания: 62
По моей величайшей вине (*лат.*).

выйти наружу. Она слишком многих погубит. Нужно найти способ заткнуть собственнический голос, голос отцовской любви, который орал мне в ухо, требуя разгласить тайну. Так что же — к психотерапевту? К светскому аналогу исповедника наших дней? Мне всегда казалась мерзкой идея обращаться за помощью к постороннему человеку и с ним вместе анализировать свою жизнь. Вот я — будущий рассказчик историй, и противно даже думать, что кто-то разберется в моей истории лучше, чем я сам. Без испытания и жизнь не в жизнь, сказал Сократ и выпил цикуту, но я-то всегда считал, что испытывать должно самому и самого себя, что индивидуум независим и ни к кому не обращается за объяснениями или отпущением грехов, он свободен. Здесь заложено гуманистическое представление Ренессанса о человеке, например, мы обнаруживаем его у Пико делла Мирандола в *De hominis dignitate* — "О достоинстве человека". Что ж! Вся эта высокоумность вылетела в форточку, когда Василиса объявила о своей беременности. С той минуты во мне бушевала буря, и не в моей власти было ее унять. Так не пора ли проглотить свою гордыню и обратиться за помощью к специалисту? Я даже подумал, не попросить ли консультацию у Мюр-

рея Летта, но сразу же отбросил эту дурацкую мысль. В кругу друзей моего отца было несколько блестящих психотерапевтов. Возможно, следовало бы поговорить с кем-то из них. Возможно, мне требовался человек, который снял бы с меня бремя моего знания и сложил его в нейтральном, безопасном месте — психологический аналог сапера, того, кто умеет разряжать бомбу правды. Так я боролся с демонами в себе, но после долгой внутренней борьбы предпочел — к добру или худу — не искать помощи извне, а как-то справляться с этими бесами в одиночку.

Тем временем население Сада было полностью поглощено драмой, разворачивавшейся в особняке Тальябуэ, напротив Золотого дома: изобиженная Бланка Тальябуэ, устав сидеть дома и смотреть за детьми, пока ее супруг Вито рыскал по городу, и наскучив его (вполне искренними, полагаю) уверениями в безусловной ей преданности, затеяла интрижку с богатым аргентинским соседом Карлосом Херлингемом, которого я в одном из набросков переименовал в “мистера Аррибисту”, бросила детей на попеченье нянек и умчалась на его Пи-Джи любоваться знаменитыми водопадами Игуасу на аргентино-бразильской границе и, разумеется, заодно

поучаствовать во всякого рода развлечениях к югу от границы, раз уж она там оказалась. Вито неистовствовал в гневе и скорби и носился по Саду — скорбно и гневно, — доставляя тем самым неописуемое наслаждение всем соседям. Не будь я так погружен в собственные проблемы, я бы черпал некоторое удовлетворение в том обстоятельстве, что все разрозненные персонажи моего сюжета о Саде стали соединяться и сочетаться уже во вполне последовательный узор. Но в тот момент меня интересовали только мои печали, и я не следил в режиме реального времени за телесериалом Тальябуэ — Херлингем. Это казалось не столь важным. Они в лучшем случае третьестепенные персонажи, а может, и вовсе останутся на полу монтажной. Гораздо хуже другое: в горести своей я перестал следить за Петей Голденом. Я вовсе не утверждаю, будто смог бы предотвратить дальнейшие события, прояви я большую бдительность. Скорее уж это следовало предусмотреть Мюррею Летту — а еще вернее, тут никто ничем не сумел бы помочь. И все-таки я сожалею о своей невнимательности.

Галереи Соттовоче, два обширных помещения далеко к западу от нас, на Двадцать первой и на Двадцать четвертой улице, полностью были

предоставлены под одно из крупнейших событий сезона, свежие работы Убы Туур. Огромные скульптуры — немного похожие на металлических монстров Ричарда Серра, но прорезанные, преображенные огненными кинжалами в тончайшее кружево, так что они в то же время казались гигантскими гибкими ржаво-металлическими двойниками каменного кружева индийских *джали* — стояли, подсвеченные прожекторами, словно игривые и более фантазийные родичи суровых иноземных “часовых” из фильма “2001 год: Космическая одиссея” Кубрика. На Двадцать первой улице я столкнулся с праздничным Фрэнки Соттовоче, розовощеким, белые волосы разметал ветер, он размахивал руками и хихикал от счастья.

— Мощный хит. Сплошь богатейшие коллекционеры и музеи. Она — звезда.

Я огляделся в поисках художницы, но нигде ее не увидел.

— Разминулся на минуту, — сообщил мне Соттовоче. — Она была здесь с Апу Голденом. Приходи еще. Они тут все время тусуются. В основном по утрам. Ты же ее узнаешь, помнишь, по той вечеринке в Саду. Она великая. Невероятно умная. И красивая, боже ты мой. — Он потряс

рукой, словно остужая ожог от соприкосновения с пламенем ее красоты. — Она — сила, — завершил он и скользнул прочь, обхаживать шишку поважнее.

— О! — Приостановившись, он обернулся ко мне, страсть сплетничать превозмогла на миг его деловой инстинкт. — Другой Голден тоже побывал, знаешь, старший из братьев. — Он постучал по виску, обозначая “безумца”. — Он увидел ее тут с Апу и едва ли был рад. Вылетел отсюда, словно летучая мышь из ада. Похоже, кто-то ревнует? Хи-хи. — Он испустил свой дурацкий пронзительный смешок и был таков.

Тогда-то мне и следовало догадаться. Тогда-то следовало мысленно представить себе, как алая кровь прихлынула к лицу Пети, едва он понял, что женщина, которую он любил, все это время оставалась в руках его брата, женщина, которую его брат украл, сгубив Петин шанс стать счастливым. Та изменническая ночь — в доме Убы давным-давно — возродилась в его памяти ярко, будто все происходило прямо в эту минуту. И ярость возродилась, и вместе с ней жажда мести. Достаточно было одного взгляда на Убу и Апу, рука в руке, и то, что последовало, последовало с ужасающей неизбежностью выстрела, когда

спущен курок. Мне следовало сообразить, что недалеко до беды. Но меня занимали другие мысли.

В Нью-Йорке пожарные диспетчеры высылают на пожар пятого уровня сложности 44 расчета общим числом в 198 бойцов. Возможность двух возгораний в трех кварталах друг от друга в одну и ту же ночь крайне мала. Вероятность, чтобы такие два пожара были результатом несчастного случая… стремится к нулю. К вопросам безопасности в галереях Соттовоче относились серьезно. В часы работы присутствовали охранники, работали камеры, по тревожной кнопке все выходы закрывались за двадцать секунд. Это называлось “ситуация А”. “Ситуация Б”, от закрытия до утра, контролировалась лазерами: если лазерный луч прерывался, наткнувшись на помеху, включался сигнал тревоги, информация с камер наблюдения передавалась на контрольный пульт охранной компании, где перед мониторами двадцать четыре часа напролет сидел дежурный. Кроме того, галерея была оснащена титановыми решетками и опускающимися стальными дверями, каждая из которых отпиралась двойной системой замков и ключей: два отверстия для электронных пропусков и под ним клавиатура, причем ни

один служащий не знал всех пин-кодов. Чтобы открыть галерею, требовалось присутствие разом двух старших смотрителей, каждый из которых пользовался своим пропуском и вводил индивидуальный код. Чтобы взломать систему, говаривал Фрэнки Соттовоче, нужно быть гением. “Это крепость, — похвалялся он. — Даже я сам не смог бы проникнуть туда, если б проходил мимо ночью и вздумал зайти отлить”.

Что же произошло? Глухой ночью, примерно в 3.20, шевроле с затемненными окнами и без номеров остановился возле галереи на Двадцать четвертой улице. Водитель, очевидно, бывал в галерее и раньше и воспользовался, как сказано в опубликованном полицейском рапорте, “изощренным шпионским оборудованием”, с помощью которого сделал дубликаты пропусков и подсмотрел пин-коды. Стальные двери поднялись, титановые решетки распахнулись, с пластиковых канистр, заполненных бензином, были сняты крышки, и канистры были заброшены внутрь и подожжены, вероятно, такой же паяльной лампой, как та, что использовалась для создания выставленных в галерее скульптур. Автомобиль умчался, когда пламя стало пробиваться наружу, и та же процедура повторилась

на Двадцать первой улице. Нашелся свидетель, пьяница, так что не слишком надежный, описавший водителя как мужчину в черной толстовке с капюшоном и темных очках.

— Выглядел, как Человек-Муха, — заявил свидетель. — Даа. Если подумать, помнится, у него из рукавов торчали сплошь заросшие волосами руки. Точно Муха.

Когда показания окончательно свернули в сторону фантастики, свидетеля поблагодарили и отпустили. Других не появилось. Основные надежды следствие возлагало на опознание автомобиля, но его не сразу удалось отыскать. А скульптуры к тому времени, как погасили пожар, были полностью уничтожены.

Съемки в помещении. Ночь. Квартира Пети Голдена. Спальня.

Сидя на постели все еще в черной толстовке и очках, Петя *подтягивает простынь к подбородку. Его сотрясают рыдания. Он стаскивает с себя очки, бросает их в сторону. Возле кровати на тумбочке открытые бутылки с алкоголем.*

Съемки в помещении. Ночь. Квартира Пети Голдена. Гостиная.

Все еще рыдая, чуть ли не в голос вопя от горя,

Петя *начинает разрушать свое новое жилье. Он швыряет через всю комнату лампу, она разбивается о стену. Следом за лампой летит стул. Петя опускается на пол, сжимая обеими руками голову.*

Съемки в помещении. День. Квартира Пети. Гостиная.

Быстрая смена кадров до следующего утра. Петя *не двигается с места.* звонок *в дверь. Снова и снова.* Петя *не двигается.*
Снято.

Наружные съемки. День. У двери "Здания Мондриана" Нерон Голден *нажимает звонок. Камера* наезжает *на его лицо, когда он начинает говорить прямо в нее. Закадровый* голос *перебивается трелью звонка.*

Нерон:

Разумеется, я сразу понял, что это он. По телевизору показали фоторобот, и я сразу понял. Это не Муха, это Петроний. И машина. Он снял номера, но это моя машина. Я сам отдал ему ключи, когда он переехал в квартиру. Он хорошо водит, осторожно водит. Разве отец ожидает такого поступка от сына? Мы держим автомобиль на

подземной парковке под номером 100 на Бликер, это высотка Нью-Йоркского университета, мы арендуем машино-место у профессора журналистики, живущего на двадцатом этаже. Я знаю машину, я знаю моего сына, я знаю эту женщину. Все понятно. Та самая женщина, которую увел у него брат. Это месть. Кошмар, но ведь он мужчина в конце-то концов.

Снято.

Внутренние съемки. Ночь. Квартира Пети. Квартира в разгроме, но Петя *хотя бы впустил* Мюррея Летта. *Сам* Петя *так и сидит на корточках, на заднем плане.* Летт *сел рядом с ним, положил руки ему на плечи.* Петя *говорит без умолку. Его монолог мы не слышим.*

Рене (*за кадром*):

Он купил паяльную лампу в интернете. Это просто. Снял с автомобиля номера, съездил в ларек в Квинсе и взял там пластиковые канистры для бензина. Потом поехал в другой магазинчик, на заправке в Нассау, и там залил в канистры бензин. Что же касается охранной системы галерей, это, сказал он, было проще всего. По-видимому, он не ожидал, что сразу после поджога нахлынет

с такой силой вина. Он чуть не утонул в этой волне. Последствия были очень тяжелыми. Он много пил, впал в тревожность, истерию, депрессию. Психотерапевт считал вероятной попытку суицида и советовал стеречь его. Отец нанял круглосуточных сиделок.

В кадре Петя, *говорящий без умолку, но мы по-прежнему слышим только рассказ* Рене. *Время от времени движение губ* Пети *совпадает со словами* Рене.

Рене:

Ярость его была направлена главным образом на самого себя, порождена виной и стыдом. Но он также часто говорил о ненависти к брату. Его чувства к Апу сгустились в такие плотные комки ненависти, что растворить их может лишь кровь брата, говорил он, да и того едва ли будет достаточно, может быть, ему понадобится также после этого регулярно и часто испражняться на вонючую могилу Апу. В криминальной хронике дешевых газетенок он читал о мужчинах, похищавших женщин и державших у себя в плену годами. Я бы тоже так мог, наверное, говорил он, я бы его связал и сунул в рот кляп и держал бы в подвале, поблизости от бойлера и котла с горячей

водой и пытал его, сколько вздумается. В эти дни после поджога Петя чудовищно много пил. И совершенно сошел с ума.

Снято.

Съемки в помещении. День. Кабинет Нерона в Золотом доме.

Нерон Голден, *на лице гроза, стоит спиной к окну, две его* драконши *ожидают указаний.*

Нерон:

Мне требуется лучший в Америке адвокат по уголовным делам. Добудьте его сегодня — и доставьте сюда.

Дверь открывается, на пороге стоит Василиса Голден, *прижав руки к животу.* Нерон *поворачивается к ней, сердясь, что его прервали, но замолкает при виде гримасы на ее лице.*

Василиса:

Пора.

Снято.

22

Весна, последний лед сошел с Гудзона, радостные парусники скользят по воде в выходной. В Калифорнии уже засуха, “Бёрдмэн” собирает “Оскаров”, а в Готэме супергероев нет как нет. Джокер явился в телевизоре и заявил об участии в президентской гонке вместе со всем Отрядом самоубийц. Действующему президенту оставалось еще более полутора лет, но я уже тосковал по нему, ностальгировал по настоящему, по добрым старым временам, легализации гей-браков, новой паромной линии на Кубу, семикратной победе “Янкиз”. Не в силах смотреть, как зеленовласый клоун произносит свои немыслимые декларации, я сунул нос в криминальную хронику и стал читать про убийства. В Эль-Пасо мужчина застрелил врача и застрелился. Другой мужчина, в Северной Каролине, убил своих соседей, целую мусульманскую семью — поспорили из-за парковки. Пара из Детройта, штат Мичиган, созналась, что пытала своего сына в подвале (строго говоря, это не было убийством, но сюжет хорош, пойдет в ту же копилку). В Тайроне, Миссури, стрелок убил семерых и восьмой пулей

разделался с собой. Там же в Миссури некий Джеффри Уильямс застрелил двух полицейских прямо перед полицейским участком города Фергюсон. Полицейский по имени Майкл Слейгер выстрелом из револьвера убил Уолтера Скотта, чернокожего мужчину, при себе оружия не имевшего (Норт-Чарльстон, Южная Каролина). Поскольку Бэтмена так и не нашлось, в качестве альтернативы Отряду самоубийц предложили свои услуги миссис Клинтон и сенатор Сандерс. В ресторане “ТвинПикс” в Вако, штат Техас — “Еда! Выпивка! Сказочный вид!” — девять человек погибли в результате свары между байкерами, и еще восемнадцать раненых отправились в больницу. Техас и Арканзас, наводнения и торнадо, семнадцать трупов и сорок пропавших без вести. И это всего лишь май.

— Достоевский все сюжеты добывал из газет, из криминальной хроники, — размышляла Сучитра. — СТУДЕНТ УБИЛ РОСТОВЩИЦУ. Как там это по-русски… И — бинго! — “Преступление и наказание”.

Мы завтракали вместе кофе макиато и пончиками, за которыми пришлось постоять в очереди, чтобы купить их в 5.30 на Спринг-стрит. Сидели за столиком в углу, где сходились два окна — с

видом на юг, на гавань, и на запад, на тот берег реки. Я вдруг понял, что счастлив: я нашел женщину, которая дарила мне радость — или она позволила мне ее найти. И это, видимо, означало, что я никогда не посмею рассказать ей о ребенке, и это, в свою очередь, означало, что Василиса Голден имеет надо мной власть, из-под которой мне, похоже, не уйти. Разумеется, открыв свою тайну, Василиса погубила бы не только мой единственный шанс на хорошую жизнь, но и свои бы собственные планы подорвала, но кто знает, вдруг она уже так уверена в себе, что ее ничего не страшит. Справилась же она с той драмой — когда попалась на флирте с тренершей Машей. А Нерон с каждым днем дряхлел и все больше страшился остаться в одиночестве, умереть в одиночестве… Я гнал от себя такие мысли, понимая, что близок к паранойе. Никому Василиса ничего не скажет. И пока что, уплетая пончики и просматривая в воскресной “Таймс” кинорецензии, я был всем доволен, был счастлив, предоставив Сучитре думать вслух, как она порой делала в редкие моменты затишья посреди своей круговерти. Из таких воскресных мозговых штурмов, когда ее разум свободно играл, перебрасывая вольные ассоциации от темы к теме, порой возникали

и проекты, которыми Сучитра занималась уже всерьез.

— Это правда? — спросил я. — Про Достоевского?

Ей только это и требовалось. Она серьезно закивала, помахала мне пончиком, одновременно дожевывая тот кусок, который уже был во рту, проглотила и пустилась:

— Правда — концепция XX века. Сейчас вопрос в том, сумею ли я убедить тебя, добьюсь ли, чтобы это повторили столько раз, чтобы стало не хуже правды. Вопрос в том, могу ли я лгать лучше, чем истина. Знаешь, как сказал Авраам Линкольн? “В интернете полным-полно вымышленных цитат”. Может быть, про документальные фильмы пора забыть. Пора смешивать жанры, стать немного жанрово-квиром. Может быть, теперь основная форма искусства — псевдодокументальная, мокьюментари. Полагаю, в этом виноват Орсон Уэллс.

— “В эфире «Театр Меркурия»”, — подхватил я. — “Война миров”. Это случилось так давно — в те времена, когда люди еще верили в правду.

— Наивные, — сказала она. — Поверили Орсону. У всего есть начало.

— А теперь примерно 72 процента республи-

канцев верят, что президент исповедует ислам.

— И если мертвая горилла из зоопарка Цинциннати будет выдвигаться в президенты, ей гарантированы по меньшей мере десять процентов голосов.

— Сейчас столько австралийцев указывает в переписи свою религию как “джедай”, что ее признали официально.

— Сейчас единственный, кому ты не веришь, — специалист, который как раз мог бы что-то знать. Ему верить не полагается, потому что он принадлежит к элите, а элита антинародна, только и думает, как бы нанести народу ущерб. Кто знает истину, тот элита. Если ты скажешь, что видел в арбузе лик Божий, тебе поверят больше, чем если ты скажешь, что обнаружил недостающее звено, потому что ученые — элита. Реалити-шоу — фейк, зато не элитарно, можно купиться на него. А вот новости — для элиты.

— Я не хочу быть элитой. Разве я элита?

— Тебе нужно поработать над собой. Принять постправду.

— Постправда и фиктивное — одно и то же?

— Фикция, вымысел — элита. Этому никто не верит. Постправда — массовый рынок, информационный век, генерируется троллями. Вот что

нужно людям.

— Я обвиняю правдоподобность. Обвиняю Стивена Колбера.

Обычная наша воскресная трепотня, только в этот раз миг озарения случился у меня. Мой великий проект, построенный вокруг Голденов, следует писать и снимать как документальный фильм, но исполняться он будет актерами. В тот момент, когда мне в голову пришла эта мысль, сценарий сложился, и через несколько недель был уже готов первый черновик. В конце года его отберут для Лаборатории сценаристов Сандэнса, а еще через год… но я в восторге забегаю далеко вперед.

Отмотаем обратно к тому воскресенью, весной. Во второй половине того же дня у меня была назначена встреча с сыном.

Да, я играл с огнем, но в человеке установлена мощная программа, и чего он хочет, того хочет. Остаться без общения с моей собственной плотью и кровью — сама эта мысль возмущала меня, и потому, покинув Золотой дом, я стал бессовестно подлизываться к Нерону Голдену, который тоже свихнулся на новорожденном, после огромного перерыва словно впервые сделавшись отцом. Сказав Нерону, что после всей выказанной мне

доброты я хочу непременно поддерживать с ним близкие отношения, после такой его щедрости, словно я был членом его семьи, да я, мол, и чувствую себя членом семьи (я вас предупредил, что отбросил всякий стыд), я предложил сохранить традицию встречаться — например, за чаем? — в "Русской чайной".

— О, и будет замечательно, если вы прихватите с собой паренька, — невинно добавил я.

Старик поддался, и так я получил возможность следить, как растет мой малыш, играть с ним и брать его на руки. Нерон приходил в "Чайную" с парнишкой и его няней, а няня без спора вручала мне мальчонку и удалялась в уголок.

— Поразительно, как хорош ты с мальчиком, — говорил мне Нерон Голден. — Похоже, ты и сам уже подумываешь? Твоя девушка просто фантастика. Пора тебе ее обработать.

Я прижимал к себе сына.

— Да ладно, — говорил я. — Пока с меня вполне достаточно этого мужчинки.

Мать моего ребенка осталась недовольна выбранной мною стратегией.

— Я бы предпочла, чтобы ты не маячил тут, — сказала мне Василиса по телефону. — У мальчика есть прекрасные родители, которые могут обес-

печить его всем, в чем он нуждается, в том числе многим таким, чего у тебя, естественно, нет. Не знаю, какой у тебя мотив, но подозреваю — финансовый. Я допустила ошибку, следовало это заранее обсудить. Так что окей, если у тебя есть на уме какая-то цифра, назови ее и посмотрим, как она согласуется с цифрой у меня на уме.

— Я не хочу твоих денег, — ответил я. — Я всего лишь хочу иногда выпить чаю вместе со своим сыном.

В молчании я отчетливо различал и ее недоверие, и облегчение. И наконец:

— Ладно, — сказала она с заметным раздражением. — Только он не твой сын.

Сучитра в то же воскресенье удивилась, откуда у меня вдруг такой интерес к малышу.

— Это что, намек? — спросила она (как всегда, стреляя прямо от бедра). — Потому что я, позволь мне сказать, только начинаю свою карьеру и останавливаться ради того, чтобы стать чьей-то мамой, в данный момент в мои планы не входит.

— Ну что тебе сказать? Мне просто нравятся маленькие, — сказал я. — А с чужим малышом вот еще какое преимущество: когда наиграешься, отдаешь его обратно.

Петю удалось спасти от тюрьмы. Поскольку в здании в тот момент никого не было и тем самым физически никто не пострадал, его деяние было классифицировано как поджог третьей степени, правонарушение класса С. По закону штата Нью-Йорк преступление класса С влечет за собой минимальное наказание от года до трех тюремного заключения, а максимум от пяти до пятнадцати лет. Однако если приведены смягчающие обстоятельства, судья вправе налагать альтернативное наказание, существенно сокращая срок пребывания в тюрьме и даже вовсе его не назначая. “Лучшие уголовные адвокаты Америки” сумели вполне успешно доказать, что в качестве смягчающего обстоятельства следует принять во внимание Петин диагноз, высокофункциональный аутизм. Аргумент о “преступлении по страсти”, который сработал бы во Франции, здесь не использовался. Пете вменили пройти обследование у психиатра и затем лечение, он был помещен под общественный надзор, заплатил штраф, а также должен был полностью компенсировать нанесенный ущерб. Нерон пригласил Мюррея Летта на круглосуточную работу с проживанием, и психотерапевт, забросив всех прочих пациентов, перебрался

в квартиру к Пете, чтобы оберегать его от возможного членовредительства и прорабатывать многочисленные его проблемы. Суд согласился с тем, что лечение Петя будет проходить у Летта, и это сняло проблему с принудительным обследованием. Оставалось лишь регулярно являться к полицейскому инспектору, проходить внезапную проверку на наркотики; Петя согласился также носить на лодыжке электронный браслет, отслеживавший его перемещения, принял суровые условия испытательного срока, молча и без протеста отбывал часы общественных работ, трудился на ремонте и уборке общественных зданий — с учетом его агорафобии Пете разрешили работать в помещении, он красил, штукатурил, стучал молотком, без слов, без жалоб, пассивно, словно отрешаясь от собственного тела (во всяком случае, так это выглядело): позволял своим рукам и ногам делать все, что велено, а мысли тем временем бродили где-то далеко или вовсе отсутствовали.

Сложнее обстояло дело с материальной компенсацией. Гражданский иск по нанесенному ущербу Фрэнки Соттовоче предъявил не только Пете, но и Нерону как соответчику, и суд еще продолжался. Уба Туур в этом не участвовала.

Выяснилось, что Соттовоче скупил ее скульптуры оптом перед началом выставки, то есть на момент поджога они уже принадлежали ему, а Уба успела получить свои деньги. Галерея была застрахована, однако юристы утверждали, что выплаты страховой компании окажутся намного меньше, чем принесли бы работы Убы на аукционе. К тому же предстоял полный ремонт, а это означало, что галерея лишится существенного дохода от выставок, которые могла бы проводить в это время. Итак, многомилионный иск пока что завис в суде: хотя предусматривалось, что доходов Пети от игровых приложений с запасом хватит для полной компенсации, адвокаты Голденов использовали все предоставляемые законом лазейки, чтобы, затягивая дела, усадить Соттовоче за стол переговоров в надежде заключить более выгодное соглашение, а заодно пускали в ход все мыслимые юридические уловки или (наверное, так лучше будет сказать) приемы, уберегая Петю от тюрьмы, пока решались финансовые вопросы.

В итоге Апу Голден первым догадался, что независимо от исхода гражданского иска огонь, разожженный Петей, существенно повредил не только две галереи Соттовоче, но и Дом Голденов

(прикончив заодно и отношения самого Апу с Фрэнки Соттовоче: тот без дальнейших церемоний велел ему искать новое прибежище для своего искусства). Я зашел к Апу в студию на Юнион-сквер, он угостил меня зеленым китайским чаем из Ханчжоу, порезал кусками на тарелке твердый итальянский сыр.

— Хочу поговорить с тобой как с братом, — приступил он, — как с названым братом, ты уже стал им. Посмотри на наше семейство. Понимаешь, о чем я? Только посмотри. Мы, как ни печально мне так откровенно об этом говорить, на грани развала. Падение дома Ашеров уже началось. Не удивлюсь, если дом на Макдугал-стрит треснет пополам и обломки посыплются на землю, понимаешь, о чем я? Да, вот так. Предчувствие рока.

Я молчал. Он пока еще только разгонялся.

— Ромул и Рем, — сказал он. — Вот как воспринимал нас Д. Он так обижался на то, что мы не включали его в свои игры, и не заметил другого: каково мне приходилось быть братом Пети, сколько сил я положил на то, чтобы у него было счастливое детство, по возможности счастливое, с учетом его обстоятельств. Я уже вырос, но продолжал играть в поезда и гоночные машинки, потому что он это обожал. Мы все с ним играли. И

отец тоже. А теперь, похоже, мы все провалились, не справились, он разбился, сгорел. Он разбился, а сгорели галереи. Он в кусках, сидит взаперти со своим австралийцем, кто знает, удастся ли его собрать. И Д тоже — кто поймет, что с ним творится. Или с ней? Я уже не знаю. Знает ли он сам? Или она сама? Безумие. А знаешь ли ты, что уже и слово “безумие” вслух нельзя говорить? Нельзя говорить “сумасшедший”, и “придурок”, я полагаю, тоже нельзя. Оскорбительно для умственно отсталых. Теперь есть специальное дурное слово для всех этих дурных слов, знаешь ли ты это? Вот и я не знал. Даже если ты всего лишь скажешь, что, мол, за безумный срач, нисколько при этом не думая про умственно отсталых, господи боже, ты уже оскорбил их этими словами, так оно выходит. Откуда все это берется? Нет бы людям попробовать пожить какое-то время, ничего не меняя, и посмотреть, не стоит ли им немножко сбавить тон. Посмотреть, не придется ли признать: да, очень жаль, но есть такая вещь, как здравый рассудок, так что и сумасшествие тоже существует. Есть люди в своем уме, и отсюда следует, что есть и не в своем, есть безумцы. Если что-то существует реально, мы так и должны это называть. На то нам и дан язык. Верно я говорю?

Или я плохой человек? Я сам придурок?

Тема разговора сменилась внезапно. В последние дни протеста в Зуккоти-парке Апу рассорился со многими людьми из “Оккупай Уолл-стрит” отчасти потому, что разочаровался в анархических, без лидера, колебаниях туда и сюда, отчасти же, как он говорил, “их больше интересует поза, чем результат. И эта штука с языком оттуда же. Извините, но если так яростно вычищать язык, в итоге он сдохнет. Грязь — это свобода. Оставьте нам немного грязи. Зачистка? Не нравится мне это слово”. (Позднее мои расследования свели меня кое с кем из участников протеста, в большинстве своем они и помнить не помнили об Апу. Но один мне сказал: “А, да, богатенький художник, приходил к нам, чтобы приобрести уличный авторитет. Не нравился мне этот парень”.)

Я сразу догадался, что монолог Апу проистекает из каких-то личных причин, сам-то он не склонен был идеологизировать. *Cherchez la femme*[63], сказал я себе, и эта фам выскочила у него изо рта минуту спустя.

— Уба, — сказал он, — она с головой во все это окунулась. Ты понимаешь? Все время нужно

---

[63] Примечания: 63
Ищите женщину (*франц.*).

следить за языком. Будь осторожнее со словами. Будто по горящим углям ступаешь. Каждую секунду под ногой может оказаться мина. Бум! Бум! Каждый раз, когда открываешь рот, твой язык подвергается опасности. Ужасно утомительно, можешь мне поверить.

— Так вы больше не встречаетесь?

— Не дури, — ответил он. — Ничего, я могу так выразиться, не оскорбив менее интеллектуально одаренных персон? Вот говорю. Разумеется, мы видимся. Она такая необычная, не могу с ней расстаться. Если ей надо, чтобы я следил за языком или еще что, хорошо, я буду следить, по крайней мере рядом с ней, а потом ты, бедняжка, получишь двойную порцию, потому что я спешу оторваться, пока она не слышит.

Однако не так-то просто было сохранить отношения после того, как мой чертов братик уничтожил всю ее выставку. Всю ее выставку — буквально. Теперь это металлолом. Ты хоть понимаешь, сколько времени уходит на каждую такую штуку? Месяцы! Разумеется, она взбесилась, а он мой брат, господибожетымой. Какое-то время она и говорить со мной не могла. Но теперь пошло на лад. Она успокоилась. Она в принципе спокойный человек и справедливый человек.

Она знает, что это не моя вина. Вот что я хочу сказать, мы же никогда не были Ромулом и Ремом, мы с Петей. Я всего лишь пытался удержать все вместе, семейную жизнь, детство, а теперь прошлое пропало, все вдребезги.

Он покачал головой и вспомнил, о чем изначально говорил.

— А, да. Извини меня. Понесло малость, свернул на дорогу гнева. Возвращаюсь к теме. Что я хотел сказать с самого начала, единственная причина, по которой я сижу тут с тобой и с этим чаем и сыром, в том, что вся моя семья вдребезги и ты, мой брат, который не родился моим братом, ты единственный член семьи, с кем я могу это обсудить. Один брат пироманьяк, другой не знает, полубрат он мне или полусестра. А отец, помимо того, что он стареет и, кажется, помаленьку теряет разум, то есть он его полностью утратил с этой женщиной, со своей *женой*, то есть мне даже вслух выговорить это слово нелегко, а теперь еще ребенок, я даже мысленно его не могу назвать братом. Мой полубрат. Мой полурусский младенец-полубрат. Я вроде как виню этого младенца за все, что происходит: он явился, и мой мир развалился на куски. Словно проклятие. То есть я хочу сказать, это сводит меня с ума, а я-то

наиболее тут нормальный. Но это я все ворчу, а брюзжать, как все знают, нормально. Я тебя не затем пригласил, чтобы это обсуждать. Я знаю, ты в такое не веришь, но все же выслушай меня. Мне стали призраки мерещиться.

Так завершился политический период в жизни Апу. Я чуть не расхохотался. Впервые в тот день я позволил себе присмотреться к его новым работам и с радостью обнаружил, что он стряхнул с себя чересчур сильное влияние современного агитпропа — "Дайк Экшн Машин!", Отебенга Джонс, Коко Фуско — и вернулся к прежней, гораздо более насыщенной и живой образности родом из мистических традиций разных культур. В особенности меня поразил большой, альбомного формата рисунок ярко-оранжевыми и зелеными штрихами, тройной портрет в человеческий рост его любимой ведьмы мае-де-санто Гринпойнтской и по бокам от нее божества, которым она служила, Ориша и Олудумаре. Мистика и психотропные средства в творчестве Апу обычно не разлучались, чем, вероятно, можно было объяснить и начавшиеся у него видения.

— Ты теперь за аяуаску принялся, да? — спросил я.

Апу отшатнулся, притворяясь шокированным.

— Шутишь? Я никогда не изменяю моей *мае* и ее парням.

(Аяуаска в шаманизме связана с культом Санто-Дайме, который происходит из Бразилии, некоторые и сам наркотик именуют “дайме” в честь этого святого.)

— К тому же мне вовсе не Господь является в видениях.

Иногда бывало трудно понять, насколько буквально или метафорически он что-то подразумевает.

— Иди, посмотри, — пригласил Апу.

На дальнем конце галереи висело большое полотно, занавешенное простыней в брызгах краски. Апу отодвинул занавеску, и я увидел невероятную картину: просторный, детально выписанный ландшафт Манхэттена, с которого были удалены все машины и пешеходы, в пустом городе обитали только прозрачные фигуры, мужские в белом, женские в шафране: зеленокожие, одни парили над землей, другие повыше в воздухе. То есть и в самом деле призраки, но чьи призраки? Призраки кого?

Апу закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Потом выдохнул, улыбнулся слегка и открыл шлюзы прошлого.

— Долгое время, — заговорил Апу, — он контролировал нас с помощью денег, которые выдавал нам на жизнь, и тех денег, которые обещал нам в качестве наследственной доли, а мы делали, как он велел. Но контролировал он нас и другим средством, более могущественным, чем деньги: идеей семьи. Он голова, а мы — конечности, которые поступают так, как приказывает голова. Так нас воспитали, на старый манер. Безусловная преданность, безусловное послушание, без препирательств. Постепенно это рассеялось, но долгое время действовало, даже когда мы уже давно выросли. Уже не дети, но еще долго мы подпрыгивали, когда он прыгал, садились, когда он командовал “сидеть”, смеялись и плакали по его знаку. Сюда мы переехали главным образом потому, что он сказал: снимаемся и уезжаем. Но у каждого из нас имелись и собственные причины согласиться с его планом. Петя, разумеется, нуждался в поддержке, в немалом количестве. Для Д, пусть он тогда этого и не знал, Америка стала ключом к той метаморфозе, которую он желает или не желает, я не знаю, или он сам не знает, но по крайней мере здесь он может в этом разобраться. А что касается меня, я хотел убраться подальше от некоторых людей. От осложнений. Не финансо-

вых: хотя одно время у меня были игорные долги, этот период остался уже позади. Но имелись романтические проблемы. Одна женщина разбила мое сердце, другая была малость сумасшедшей, по большей части в хорошем смысле слова, но не всегда в хорошем, и могла представлять для меня опасность, не физическую, опять-таки сердечную, и еще третья, которая любила меня и так меня к себе прижимала, что я уже и вздохнуть не мог. Я порвал с ними всеми, или же они порвали со мной, это все равно, только они все не уходили. Никто никогда не уходит. Они кружили надо мной, точно вертолеты, слепя меня прожекторами, и я попался в перекрестье лучей, словно преследуемый полицией беглец. А потом мой друг-писатель, хороший писатель, сказал то, что насмерть меня перепугало. Он сказал: жизнь надо представлять себе как роман, допустим, из четырехсот страниц, а теперь сообрази, сколько страниц в этой книге ты уже исписал своим сюжетом. И помни, что с определенного момента уже не стоит вводить новых героев. С определенного момента ты остаешься с теми персонажами, которыми успел обзавестись. Так что тебе стоит подумать, как бы ввести в свою историю нового персонажа, пока не стало слишком поздно, ведь

все стареют, даже и ты. Он сказал мне это как раз перед тем, как отец собрался переезжать. Так что, когда мой отец принял это решение, я подумал — это прекрасно. Даже лучше, чем обзаводиться новым персонажем здесь, где вокруг меня кружат бывшие, наводя прожектора. Теперь я сумею отбросить старую книгу и начать всю историю сызнова. Старая книга не так уж была хороша. И я сделал это, и вот он я, и теперь мне мерещатся призраки, потому что, когда пытаешься бежать от себя, тащишь себя с собой, вот в чем беда.

На его картине я разглядел теперь фигуры нависающих женщин-вертолетов и увидел маленький черный силуэт мужчины, съежившегося под ними, единственную фигуру с тенью на этом полотнище без теней. Преследуемый человек, призраки утраченного прошлого гнались за ним. А настоящее, понял я теперь, нестабильно, здания искривлены, искажены, словно увидены сквозь старое неровное стекло. Городской ландшафт напомнил мне “Кабинет доктора Калигари”, и это в свою очередь возвратило меня к первоначальному образу Нерона Голдена — главы преступного мира вроде доктора Мабузе. Я не стал об этом говорить, но спросил Апу насчет влияния немецкого экспрессионизма. Он покачал головой.

— Нет, искажения не условны. Это моя реальность.

У него начались проблемы с сетчаткой, дегенерация желтого пятна, “к счастью, влажного типа, потому что сухой тип неизлечим, просто теряешь зрение. И, к счастью, только в левом глазу”.

— Если закрыть левый глаз, все видится как обычно. А когда я закрываю правый глаз, мир превращается вот в это, — он ткнул большим пальцем в картину. — Вообще-то, я полагаю, левый глаз видит истину, — добавил он. — Он видит все искаженным, безобразным, как оно и есть на самом деле. Правый глаз видит фикцию — нормальность. Так что у меня есть теперь истина и есть неправды, по глазу на то и на то. Удачно.

Несмотря на эту обычную для Апу сардоническую манеру, я видел, как он возбужден.

— Призраки реальны, — сказал он, раздухарившись. — По некоторым причинам мне удобнее сказать об этом такому антидуховному созданию, как ты.

(Я как-то признался ему, что эпитет “духовный”, который применяется ныне ко всему от религии до физкультуры и фруктового сока, надо бы отправить на покой лет так на сто.)

— И это не наркотики, клянусь. Они просто

появляются посреди ночи, но и посреди дня, у меня в спальне или на улице. Никогда не бывают плотными. Я вижу насквозь через них. Иногда они расплывчатые, растрескавшиеся, дефектные, как испорченная видеозапись. А иногда четко очерченные и ясные. Я просто тебе говорю, что вижу. Мне кажется, я теряю рассудок.

— Расскажи мне в точности, как это происходит, — попросил я.

— Иногда я ничего не вижу, — сказал он. — Иногда просто что-то слышу. Слова, которые трудно разобрать — или же совершенно отчетливые. Иногда являются также образы. Что странно, они могут и не разговаривать со мной. Необязательно. Эти кружащие над головой бывшие — да уж, непременно, однако в целом это выглядит так, словно там где-то жизнь продолжается, а я исключен из этой жизни, потому что сам устранился, и возникает сильное чувство, будто я что-то сделал неправильно. Все они оттуда, из прежней моей страны, понимаешь? Все.

Улыбка с его лица исчезла. Он выглядел очень расстроенным.

— Я читал насчет природы видений, — сказал он. — Жанна д'Арк. Иоанн Богослов. Есть сходство. Иногда это мучительно. Иногда это возникает

как будто изнутри, из области пупка, и словно выдирается из твоего тела. В другой раз они кажутся полностью внешними. После видения обычно вырубаешься. Очень изнурительно. Вот что я хотел тебе сказать. А теперь скажи, что ты об этом думаешь.

— Не так важно, что я думаю, — возразил я. — Скажи мне, что думаешь сам: отчего это происходит?

— Думаю, я плохо расстался с ними, — сказал он. — Я был в скверной форме. Уехал, не примирившись. Тут тебе непросто будет понять, про что я. Семейные духи гневаются на нас, божества места. Есть правильный способ делать такие вещи и есть неправильный: я, все мы, мы просто выдрались оттуда, оторвали тот край страницы, где были нарисованы, это своего рода насилие. Нужно примириться с прошлым. Сейчас у меня сильнейшее ощущение, что я больше не различаю свой путь. Как будто бы и нет пути вперед. Или — для того чтобы найти путь вперед, нужно проделать путь назад. Вот что я думаю.

— О чем ты говоришь? — спросил я. — То есть можешь ли ты совершить какие-то приношения, чтобы умилостивить это — что бы оно ни было? Для меня эти воды чересчур глубоки. Я не вижу

дна.

— Я должен вернуться, — сказал он. — В любом случае Уба хочет посмотреть страну. Так что это будет два в одном, туристическая поездка и исцеление от ностальгии. Считай, меня гонит потребность понять, есть ли где-то некое “где-то” для меня. Будешь думать так, и твое рационалистическое мировоззрение не подвергнется опасности.

Последние слова он произнес почти гневно. Однако тут же улыбнулся, извиняясь, корректируя резкость своего тона.

— А что с тобой, как ты считаешь, произойдет, если ты не поедешь?

— Если я не поеду, — произнес он, — тогда, я думаю, темная сила из прошлого перелетит сюда с другого конца света и, возможно, уничтожит нас всех.

— Ох!

— Может быть, уже слишком поздно. Может быть, темная сила уже приняла решение. Но я должен попытаться. А Уба тем временем будет гулять вечерами по Марина-драйв, любоваться висячими садами на Малабар-Хилл, наведается в киностудию, и, вероятно, мы смотаемся сверх программы посмотреть гробницу Тадж-Биби в

Агре, почему бы и нет.

— Скоро едете?

— Сегодня, — сказал он. — Пока еще не поздно.

23

Каждый раз, когда я узнавал что-то о прошлом этой семьи, все отчетливее проступали зияния в семейном нарративе Голденов. О многом умалчивалось, и трудно было понять, как проникнуть за окутывавший эту историю покров. Апу вроде бы чего-то боялся, но что бы это ни было, это явно не было привидение. Скорее скелеты в шкафу. Я заметил, что вновь обдумываю, далеко не в первый и не в последний раз, ту историю, которую Нерон Голден поведал мне в “Русской чайной” при первом нашем совместном туда визите, историю “Дона Корлеоне”.

В тот день — позже — я сказал Сучитре:

— Хотел бы я поехать вместе с ними. Вероятно, это важная часть сюжета.

— Если ты снимаешь псевдодокументальный фильм, — ответила она, — то выдумай эту часть.

Это меня слегка шокировало.

— Просто взять и выдумать?

— У тебя достаточно воображения, — сказала она. — Пусти его в ход.

Золотая история, припомнилось мне. Так римляне обозначали вымысел, безудержный полет

фантазии. Ложь.

Так случилось и так не случилось, что великий ситарист Рави Шанкар за всю свою жизнь играл только на четырех ситарах, и на одном из четырех он показывал кое-какие приемы битлу Джорджу Харрисону, их занятия проходили в гранд-отеле возле гавани. Рави Шанкара уже нет на свете, но ситар остался в стеклянной витрине и благосклонно следил за тем, как входят и выходят постояльцы сьюта. Гранд-отель был роскошно отстроен после нападения террористов, старое каменное здание оказалось достаточно крепким и устояло, а интерьер выглядел лучше прежнего, однако бóльшая часть номеров пустовала. Вход был загроможден ограждениями, металлодетекторами и прочим скорбным антуражем безопасности, эти меры защиты напоминали о пережитом ужасе и вовсе не манили зайти внутрь. Знаменитые магазины, арендовавшие помещения в торговых галереях отеля, сообщали о падении продаж на 50 и более процентов. Последствие террора — страх, и сколько бы люди ни выражали решимость поддержать гранд-отель у гавани в пору его возрождения, суровый язык чисел сообщал: мало кто это сделал. Влюбленные парочки и достойные леди уже не тратились

на чай и закуски в Морской гостиной, многие иностранцы тоже перебрались кто куда. Можно восстановить тело здания, но ущерб, нанесенный его волшебству, компенсировать труднее.

Зачем я здесь? — спрашивал Убу Туур мужчина, который теперь называл себя Апулеем Голденом, а ситар Рави Шанкара внимал его словам.

Это здание, где погибла моя мать. Это город, который я разлюбил. Неужто я безумен и верю в призраков и полетел за океан — ради чего? Какого-то подобия экзорцизма? Это глупо. Я как будто жду, пока что-то произойдет. А что может произойти? Ничего. Давай побудем туристами и поедем домой. Сходим к Леопольду за кофе, а за искусством в музей имени Бхау Даджи Лада, а также в музей принца Уэльского, который я отказываюсь именовать музеем Чхатрапати Шиваджи, потому что Шиваджи плевать хотел на искусство. Давай угостимся уличной едой на Чоупатти-Бич и будем жаловаться на брюхо, как настоящие иностранцы. Давай купим серебряные браслеты на базаре Чор и посмотрим фризы, созданные отцом Киплинга, съедим крабов в чесночном соусе в Кала-Года и будем сокрушаться о том, что закрыт “Ритм-Хаус”, оплачем также кафе “Самовар”. Сходим в “Блю фрог” ради музыки и

в “Аэр” ради вида с высоты, в “Аурус” ради моря, в “Трист” ради освещения, в “Трилоджи” ради тамошних девиц и в “Хайп” ради хайпа. Черт побери! Мы здесь. Так вперед!

— Успокойся, — попросила она. — Это уже похоже на истерику.

— Что-то случится, — сказал он. — Не зря же меня потянуло на другой конец света. Есть причина.

В холле к нему метнулась роскошная дама.

— Граучо! — закричала она. — Ты вернулся!

Затем она разглядела высокую сомалийскую красотку, молча за ней наблюдавшую.

— О, извините меня, — сказала она. — Я знала вот этого с тех пор, как он был мальчиком. Его старшего брата звали Харпо, знаете ли. — Она постучала себя по виску. — Бедолага. А этого — Граучо, потому что он всегда ворчал и гонялся за девушками.

— Расскажите мне все! — попросила Уба Туур.

— Надо закатить вечеринку! — сказала роскошная дама. — Позвони мне, дорогой! Позвони мне! Я всех соберу!

И она помчалась дальше, на ходу треща в телефон.

Уба Туур вопросительно приподняла брови.

— Я не помню ее имени, — сказал Апу. — Словно и не видел ее никогда в жизни.

— Граучо, — повторила Уба Туур, забавляясь.

— Да, — ответил он. — А Д прозвали Чико. Чертовы братья Маркс, вот кто мы. “Бериииите тутси-фрутси”. “Я не желаю принадлежать ни к какому клубу, который принимает таких, как я”. “Во всех договорах пишут про форс-мажор. Никогда его не встречал, а вот друг у меня — тамбурмажор”. “Сколько возьмете за то, чтобы спрыгнуть в открытый люк? Только плату за вход”. “У меня был отличный вечер, только не в этот раз”. “За деньги я тебя убью. Ха-ха-ха. Нет, ты же мой друг. Я готов убить тебя и задаром”. Вот от чего стоило бежать на другой край света.

— Вот ради чего точно стоило сюда приехать, — сказала она. — Я уже столько узнала о тебе, чего не ведала прежде, а мы еще даже из отеля не вышли.

— Я искал такую женщину, как ты, — сказал он на манер Граучо. — Не именно тебя, но похожую.

Снято.

Они не успели пройти и двух шагов по Аполлону-Бундеру, как Уба остановилась и указала Апу на квартет из почти комически бросавшихся в

глаза мужчин — они потели в черных шляпах и строгих костюмах с белыми рубашками и узкими черными галстуками, глаза скрыты тонированными очками. Двое шли за ними по пятам, двое по другой стороне улицы.

— Похоже, за нами бешеные псы увязались, — сказала она. — Или братья Блюз[64]. Выбирай сам.

На их обличения четверка ответствовала почтительно:

— Сэр, мы партнеры деловых партнеров вашего великого отца, — сказал тот, кто более всего смахивал на Тарантино в роли мистера Коричневого. — На нас возложили заботу о вашей личной безопасности и просили соблюдать максимальную осторожность и деликатность.

— Кто возложил? — уточнил Апу, раздосадованный, недоверчивый, все еще ворчливый, как Граучо.

— Сэр-джи, ваш достопочтенный отец-джи, по своим каналам. Ваш достопочтенный отец не был осведомлен о вашем намерении вернуться и, узнав, что вы уже вернулись, озаботился ва-

---

[64] Примечания: 64

“Бешеные псы” (1992) — фильм Квентина Тарантино. “Братья Блюз” (1980) — киномюзикл Джона Лэндиса, герои которого пытаются раздобыть деньги, ускользая от всевозможных преследователей.

шим благополучием и желает, чтобы все прошло хорошо.

— Так будьте добры уведомить моего достопочтенного отца по тем же каналам, что я в няньках не нуждаюсь. И на том будьте любезны покинуть нас, джентльмены.

Мистер Коричневый принял еще более скорбный вид.

— Не наше дело давать указания, — сказал он. — Мы только повинуемся.

Переговоры зашли в тупик. В конце концов Апу, пожав плечами, отвернулся.

— По крайней мере держитесь позади, — сказал он. — Соблюдайте дистанцию. Когда я оборачиваюсь, отпрыгивайте. Оставайтесь вне поля зрения. И по отношению к моей подруге то же самое. Отпрыгивайте.

Мистер Коричневый с нежной печалью склонил голову.

— Хорошо, сэр-джи, — сказал он. — Мы будем стараться.

Парочка стояла и смотрела на корабли в гавани.

— Это просто смешно, — ворчал Апу. — Когда он велел следить за Петей во время обхода Манхэттена, понятно, Петя есть Петя, но со мной пора

обращаться как со взрослым.

Уба захихикала — ей все нипочем.

— Когда мы сюда летели, — заговорила она, — я думала, в Индии меня шокирует бедность, наверное, там еще хуже, чем у меня в стране, или так же плохо, но иначе, в общем, придется адаптироваться. Я не догадывалась, что, едва попав в этот город, мы войдем в болливудский фильм.

Снято.

Когда они после ужина вернулись в отель, в холле их дожидался джентльмен: орлиный профиль, серебристые волосы, кремовый костюм с галстуком крикетного клуба, шляпа борсалино в руках. Он говорил по-английски, словно английский джентльмен, хотя и не был англичанином.

— Прошу прощения, мне очень неловко. Разрешите ли вы — надеюсь, вы не сочтете бестактностью, если я позволю себе с вашего разрешения занять несколько минут вашего времени?

— В чем дело?

— Не могли бы мы все-таки, если вы не против, в более укромном месте, если мне будет позволено вас попросить? Подальше от чужих глаз и ушей?

Уба Туур, не сдержавшись, зааплодировала.

— Уверена, ты все это подстроил, — сказала она

Апу. — Чтобы меня развлечь, одурачить, чтобы я думала, будто здесь всегда так.

— Разумеется, сэр, — добавила она, обращаясь к человеку в кремовом костюме. — Рады будем принять вас у себя в номере.

Наплыв.

В номере. Мужчина застыл в неловкой позе возле стеклянной витрины с ситаром Рави Шанкара, он поигрывал полями шляпы и отвергал приглашения сесть.

— Мое имя вам незнакомо, я полагаю, — сказал он. — Мастан. Я — мистер Мастан.

— Нет, извините, этого имени я не знаю, — ответил Апу.

— Я уже немолод, — произнес мистер Мастан. — Бог даровал мне более семидесяти лет. Почти полвека назад, когда я только начинал служить в полиции, в отделе расследований, у меня сложились, можно сказать, определенные отношения с одним партнером вашего отца.

— Еще один партнер партнера, — проворчал Апу. — Это их день.

— Позвольте мне задать вопрос, — сказал мистер Мастан. — Ваш достопочтенный отец когда-либо рассказывал вам о своем партнере, о

человеке, шутливо именуемом Доном Корлеоне?

Теперь Апу смолк, и молчание сгустилось так, что само превратилось в разновидность речи. Мистер Мастан уважительно кивнул.

— Я часто думал, — сказал он, — много ли сыновьям вашего отца известно об отцовских делах.

— Я художник, — сказал художник. — Я в финансовые вопросы не лезу.

— Разумеется, разумеется. Это вполне естественно. Художник обитает на более высоком уровне, грязная роскошь чужда ему. Я и сам всегда восхищался духом богемы, хотя, увы, моя натура его лишена.

Уба отметила, что после слов “отдел расследований” и “Дон Корлеоне” Апу стал очень внимательно вслушиваться.

— Могу ли я поведать вам о моих собственных отношениях с партнером вашего отца, с Доном? — спросил мистер Мастан.

— Будьте добры.

— Если вкратце, сэр, то он разрушил мою жизнь. Я преследовал его, сэр, за многочисленные серьезные преступления и уголовно наказуемые деяния. Если позволите так выразиться, я шел по горячему следу. И по молодости я еще не усвоил мудрость этого города. Я не брал взяток, сэр, я

был неподкупен. Несомненно, многие великие мужи назвали бы меня помехой, препятствием, которое мешает хорошо смазанным колесам общества гладко вращаться. И, вероятно, так оно и есть, но таков я был в ту пору. Неподкупным — не берущим взяток — мешающим. Партнер вашего отца обратился к не столь несговорчивым людям в высших эшелонах власти, и меня отстранили от дела, а затем изгнали. Вы читали поэта Овидия, сэр? Он имел несчастье не угодить императору Августу и был сослан к Черному морю, никогда уже не вернулся в Рим. Такова была и моя участь, томиться годами без надежды на повышение в маленьком городке в горах, в Хималач-Прадеш, знаменитом массовой добычей грибов и красного золота, то есть помидоров, и тем, что в во времена мифологические там пребывали в изгнании Пандавы. И я был меньшим из Пандавов, в этой грибово-помидорной ссылке. Много лет спустя фортуна обернулась ко мне лицом. Судьбе угодно было, чтобы тамошний помещик, чье имя я не стану сейчас упоминать, разглядел во мне честного человека, и я, оставив полицейскую службу, стал надзирать за сбором урожая грибов и помидоров, препятствовать контрабандному вывозу. Со временем, сэр, мне удалось покинуть

горы, и я добился успеха в сфере безопасности и расследований. Благодарю Бога за свое благополучие. Теперь я на пенсии, вместо меня работают сыновья, но я держу ухо востро, сэр, я не перестаю вслушиваться.

— Почему вы пришли сюда и рассказываете мне свою историю? — перебил Апу.

— Нет-нет, сэр, вы не поняли, и это моя вина, я говорил слишком много и пространно, а нашу встречу не следовало затягивать. Я пришел сказать вам две вещи. Во-первых, хотя я больше не служу в полиции, а Дон Корлеоне, загубивший мою жизнь, и вовсе умер, я все еще взыскую справедливости.

— Какое отношение это имеет ко мне?

— Относительно вашего великого отца, сэр. Он поднялся высоко, намного выше, чем я мог бы мечтать для себя, но даже в моем преклонном возрасте с помощью Божьей и силы закона я сумею его низвергнуть. Он был партнером моего злейшего врага, Дона, и соучаствовал в его делах, и он тот, кто жив и поныне, и посему…

— Вы явились сюда угрожать мне и моим близким? Думаю, вы злоупотребляете гостеприимством.

— Нет, сэр. Снова я говорю слишком много и

отклоняюсь от главного. Не угрожать я пришел, а предостеречь.

— О чем?

— Если семья так тесно сотрудничает с донами, — сказал мистер Мастан, — а потом вдруг, не прощаясь, снимается с места и отбывает — то позади, в этом городе, вполне могут остаться люди, чьи чувства были задеты. Чьи-то задетые чувства, какие-то незавершенные дела. И, пожалуй, кто-то думает, что оказался в дурном положении отчасти в связи с действиями вашего почтенного отца. Эти люди, чьи чувства задеты, не такие великие мужи, как ваш отец. Может быть, на своем месте они кое-что значат, но для мира в целом — пустяки. Обладают кое-каким весом в местной общине, однако это лишь локальное влияние. Он, вероятно, теперь для них стал недосягаем. Но вы — по своей невинности или глупости, заносчивости или упрямству — вернулись сюда.

— Думаю, вам пора уйти, — сказала Уба Туур.

И как только мистер Мастан откланялся и вышел, она обернулась к Апу:

— Думаю, и нам пора уехать. Как можно скорее.

— Все вздор, — сказал он. — Обиженный человек, пытается поквитаться. Пустые угрозы.

Ничего за ними не стоит.

— И все-таки я хочу уехать. Кино закончилось.

Внезапно он перестал спорить.

— Хорошо, — сказал он. — Согласен. Уедем.

Снято.

Джордж Харрисон играл на ситаре “Внутри тебя и без тебя”, “Завтрашний день никогда не знает”, “Норвежское дерево” и “Люблю тебя”. Все рейсы отправлялись посреди ночи, так что пока они уложили вещи, уже стемнело, и они сидели в сумраке, воображая, как на этом же месте сидели Джордж и Рави Шанкар, создавали музыку. Некоторое время они даже не разговаривали друг с другом, но потом прервали молчание.

— Я хочу рассказать тебе о том, что мой отец сказал мне, когда я был еще очень молод, — сказал Апу. — “Сын мой, — сказал он, — величайшая сила, которая правит этой страной — не власть, и не религия, и не инстинкт предпринимательства. Это взяткиикоррупция”. Он произнес это в одно слово, как “электромагнетизм”. Без взяткиикоррупции не происходит ничего. Взяткиикоррупция смазывают колеса общества и решают проблемы нашей страны. Терроризм? Садимся за стол с главой террористов, подписываем

чек, не проставляя сумму, передаем его через стол: напишите столько нолей, сколько хотите. Как только он примет чек, проблема решена, потому что в нашей стране мы блюдем честь взяткиикоррупции. Стоит человеку продаться, и он куплен навсегда. Мой отец был реалистом. Когда кто-то достигает такого уровня, как он, ему в дверь непременно стучится тот дон или иной, либо предлагает взятку, либо взятку требует. Невозможно сохранить руки чистыми. В Америке все не так уж отличается, говорил мне отец после переезда за океан. Тут у нас тоже есть Цыпленок Маленький и Маленький Арчи, Безумный Фред и Жирный Фрэнки. И они тоже верят в честь. Так что, может быть, эти миры не столь различны, как мы притворяемся.

— Он говорил с тобой об этом?

— Не часто, — сказал Апу. — Но раз-другой произносил эту речь про взяткиикоррупцию. Мы все слышали ее неоднократно и хорошо усвоили. Сверх этого я не пытался узнать.

— Тебя не огорчает, что мы так быстро собрались обратно? Мы поговорили — с двумя людьми всего? Ты не показал мне свою школу. Мы не купили пиратское видео. Мы толком и не побыли тут.

— Я чувствую облегчение.

— Почему облегчение?

— Нет больше надобности быть тут.

— А как ты воспринимаешь это чувство облегчения? Эту радость по поводу того, что ты окончательно уезжаешь? Разве это не странно?

— Не так уж.

— Почему?

— Потому что я уверился: человек способен меняться полностью. Под давлением жизни он может попросту перестать быть тем, кем был, и быть впредь тем, кем стал.

— Не могу согласиться.

— Наши тела все время меняются. Волосы, кожа, все. За семилетний цикл все клетки, из которых мы состоим, обновятся. За семь лет мы становимся на сто процентов уже не теми, кем были. Почему же этого не может происходить с нашим Я? Как раз семь лет назад я уехал отсюда. И я теперь другой человек.

— Не уверена, что с научной точки зрения все так.

— Я не про науку говорю. Я говорю о душе. О душе, которая состоит не из клеток. О духе в машине. Говорю, что со временем старый дух выселяется, а его место занимает новый.

— Так что через семь лет я не буду знать, кто ты такой?

— А я не буду знать, кто ты. Может быть, придется начать заново. Может быть, мы непостоянны. Так обстоит дело.

— Может быть.

Снято.

Ночь выдалась душная. Уснули даже вороны. Печальноликий мистер Коричневый и прочие бешеные псы ждали у парадного входа — в солнечных очках, несмотря на темноту.

— Мы отпустили ваше такси, — сказал мистер Коричневый. — Наш долг — доставить вас в международный аэропорт Чатрапати Шиваджи, бывший Сахар.

— Что за назойливость! — возмутился Апу. — Нам вы ни к чему.

— Это честь для нас, — сказал мистер Коричневый. — Видите, вас ждут три “мерседес-бенца”. Головная машина, ваша машина и машина прикрытия. Прошу вас. Все лучшее для вас, сэр-джи. “Майбах” С-класса — словно частный джет для дороги. Так пишут. Я лично поеду с вами в этом первоклассном автомобиле.

Ночной город скрывал от него свою суть, по-

скольку он его покидал, повернулся спиной к тому, кто повернулся спиной к городу. Лики зданий были хмурыми, замкнутыми. Они пересекли залив Махим по мосту Си-Линк, но слишком рано съехали с шоссе Вестерн-экспресс, прежде развилки на аэропорт.

— Почему вы сюда поехали? — спросил Апу Голден, и тогда мистер Браун обернулся и снял темные очки, и ответа уже не требовалось.

— Это бизнес, — сказал мистер Коричневый. — Ничего личного. Все дело в том, что один клиент перебил ставку другого. Приходится выбирать между клиентом, который давно уже не предоставлял работу, и другим, постоянным. Сэр, это делается затем, чтобы послать известие вашему достопочтенному отцу-джи. Он поймет, я уверен.

— Не понимаю! — вскричала Уба. — Какое сообщение?

Мистер Браун отвечал сурово:

— Сообщение гласит: “Ваши поступки, сэр, осложнили наше положение, хотя мы предостерегали вас от таких поступков. Но после того, как вы так поступили, вы уехали, и нас разделяли континенты и океаны, а мы не имели средств или желания последовать за вами. Но теперь вы неразумно позволили своему сыну приехать

сюда”. Примерно такое сообщение. Приношу извинения, мадам, вы невинная жертва, все так, побочный ущерб. Об этом я глубоко сожалею.

Автомобили проехали по маловажному мосту над рекой Мити у края знаменитых трущоб Дхавари, в серебристом “майбахе” музыка гремела на полную мощность. Богатые люди развлекаются. Их дело. Выстрелов никто не услышал. К тому же пистолет был с глушителем.

24

В тропиках похороны происходят быстро, но расследование убийства неизбежно затягивает дело. Я проводил в Золотом доме каждый день с тех пор, как пришло это известие, и казалось, будто катастрофа остановила время. Никто и ничто, казалось, не двигалось в той комнате, где мисс Сумятица и мисс Суматоха подготовили все к возвращению тел, и даже их кабинет словно окутывала ткань молчания. Петя вернулся домой, чтобы поддержать отца, но по большей части сидел взаперти с австралийским терапевтом в той комнате, залитой синим светом. Д Голден тоже по большей части находился дома, почти невидимкой — в углу, весь в черном, держал Рийю за руку. Никто не разговаривал. За пределами дома эта история какое-то время гремела. Фрэнки Соттовоче на каждом углу оплакивал смерть лучшего своего скульптора. Семейство погибшей женщины, все высокие, изящные, горделивые, как гвардейцы короля, стояли у Соттовоче за спиной на экране телевизора, скорбели с сухими глазами. Нерон Голден на публике не появлялся, но для нас, бывших в доме, стало очевидно: что-то

надломилось в нем, от полученного сообщения он так легко не оправится. На другом конце мира тоже были — и шум, и молчание. Были полицейские, было вскрытие, весь шум и треск, что полагается при насильственной смерти, но те, кто знал семью прежде отъезда в Нью-Йорк, оставались невидимы, ни слова от них, словно молчание окутало пеленой и утраченный мир Голденов заодно с новым. Неизвестная женщина, которая приветствовала Апу в холле отеля возгласом “Граучо”, исчезла, и ее не могли найти. Другие женщины, о которых он упоминал, три прежние любови, кружившие над ним бывшие, вроде бы его и не оплакивали. Город, похоже, повернулся спиной к тем, кто его покинул — и к эмигрантам, и к мертвецам. Если даже мистера Коричневого и его подручных арестовали, мы об этом ничего не слышали. А потом эти новости пропали со страниц газет. Граучо умер. Жизнь продолжалась.

Две дамы-охранительницы Золотого дома, как и ожидалось, отлично справились с проворной доставкой домой тел, как только мумбайские власти это разрешили. Почтенная компания с громоздкой аббревиатурой МПДОП — Международная программа доставки и организации похо-

рон — взялась за дело и быстро подготовила все необходимое для транспортировки, включая два закрытых гроба и разрешенные правительством США бортовые контейнеры. Компания собрала все документы, получила апостилированный английский перевод свидетельств о смерти и письменное разрешение местных властей забрать тела, нашла место на ближайшем самолете, так что Апу и Уба без промедления отправились в Нью-Йорк. В аэропорту ДжФК произошло последнее расставание: Фрэнки Соттовоче и родичи сомалийской художницы забрали тело Убы, чтобы похоронить его по национальному обычаю, Апу вернулся на Макдугал-стрит.

Странное это было, неправильное прощание. Гроб не открывали. Тело не было вовремя забальзамировано, поэтому закон штата запрещал снимать крышку с гроба. Нерон отказался от любых религиозных церемоний и потребовал вместо погребения кремацию — директор МПДОП склонил голову и предложил оставить семью на час с усопшим. Позднее он обещал принести кремированный прах. Или же он сам распорядится.

— Нет, — сказал Нерон. — Отдайте его.

Директор похоронной конторы вновь склонил голову.

— Позвольте вас уведомить, — тихо заговорил он, — в этом штате нет закона, регулирующего, как вам хранить или рассыпать прах. Вы можете хранить его в склепе, нише колумбария, могиле или же в контейнере дома, как сочтете наилучшим. Если пожелаете развеять прах, поступайте, как пожелаете, единственное ограничение — позаботьтесь о том, чтобы останки не оказались в публичном месте, на виду. Кремация полностью обеззараживает прах, так что никакой угрозы здоровью людей не возникает. Чтобы развеять их в частном владении, требуется разрешение владельца, а перед тем, как рассеять их на государственной земле, рекомендуется изучить местные правила для разных городских зон. Если захотите развеять прах на берегу или в гавани Нью-Йорка, следует принять во внимание инструкции Агентства по охране окружающей среды, касающиеся погребения в море…

— Стоп! — сказал Нерон Голден. — Замолчите немедленно и убирайтесь прочь.

В следующий час никто не промолвил ни слова. Василиса с маленьким Веспасианом ушла наверх, а мы остались сидеть или стоять подле гроба, каждый наедине с собственными мыслями. За этот ужасный час я осознал, что Апу своей

смертью сумел-таки окончательно убедить меня в том, чему я противился во все годы нашего общения: непостижимое в человеке неизменно сосуществует с вполне познаваемым, в людях всегда есть тайны, которые никакими объяснениями не объяснить. Как бы я ни старался, я не мог постичь легкость, с какой он, именно он из всех Голденов, согласился стряхнуть с себя индийскую кожу и устремиться на Запад, в Виллидж. У Старика было достаточно темных дел в прошлом, у Пети достаточно былых и нынешних травм, у Диониса — достаточно тайных мечтаний о будущем, чтобы объяснить такой выбор, но Апу был с головой погружен в жизнь родного города, он любил, и его любили, горестная потеря казалась неудовлетворительным объяснением такой готовности все бросить. Голос разума шептал мне, что из всех сыновей Нерона Апу яснее прочих различал то, что его отец прятал в тени, он боялся того, что там видел, — может быть, в этом часть правды. Может быть, отчасти правда и то, что он мне сказал о воспитании в традиционном духе, что решение отца было для них законом, который попросту следовало исполнять. Но другой голос, голос, который он внедрял в меня, а я сопротивлялся, теперь вызывал перед моими

глазами иную сцену: Апу сидел, возможно, скрестив ноги, медитируя, на широкой мраморной террасе старого семейного дома на холме, глаза его закрыты, взгляд обращен внутрь или туда, где он искал руководства, и он слышал иной голос, не тот голос, который бормотал что-то мне, а может быть, тот же самый, или, может быть, это был его собственный голос или голос, который он выдумал, или, как он сам выразился бы, он подключался к тому, во что всегда верил, к вселенскому гулу, к мудрости всей совокупности всего, голосу, которому он доверял, и этот голос сказал: “Иди”. И вот, как Жанна д’Арк, как Иоанн Богослов, как выдуманный им “Апу Голден”, к которому в Нью-Йорке являлись духи его прежнего Я — как мистик, прислушивающийся к голосам или же повинуясь импульсу, как сказали бы мы, скептики, он отправился в путь.

Мистический опыт существует. Теперь я это понял. Когда мое рациональное Я брало верх, оно говорило: да, соглашусь, но это внутреннее переживание, а не внешнее, субъективное, не объективное. Если бы я стоял рядом с Апу в его студии на Юнион-сквер, я бы не увидел его призраков. Если бы я опустился рядом с ним на колени на той террасе в Валкешваре семь с поло-

виной лет назад, Сила не заговорила бы со мной. Не каждому дано стать джедаем. Многие австралийцы, правда, утверждают, что им это по плечу. И Апу, возможно, учился доверять тому, что он как-то назвал духовным уровнем, и пользоваться им. Но я — нет, нет, нет.

На сорок дней и ночей после возвращения Апу Дом Голденов погрузился в траур, сделался неприступным, гардины были задернуты и днем, и ночью, и если кто-то входил или выходил, то двигаясь воздушно, словно призрак. Нерон укрывался от всех глаз. Я мог лишь предполагать, что Петя вернулся к себе и с ним вместе, наверное, терапевт Летт, но это были только мои догадки. Петя Голден не наведывался к гробу брата, пока тот стоял в большом зале Золотого дома, не простил его, никогда больше не произносил его имя и ни разу не спросил, что сделали с телом Убы, есть ли у нее могила, которую он мог бы посетить, — не спрашивал никогда. Иные раны не могут исцелиться. Соседи по Саду жили своей жизнью и с почтительным пониманием относились к тому, что подраненный дом закрылся от их маленького мира. Я не ходил туда, хотя мне все так же сильно хотелось видеться с малышом Веспасианом. Разок я даже подумал, не выпросить

ли у Василисы свидания с ним, но я прекрасно понимал, какой меня ждет ответ наотмашь, и придержал язык. Тем более и времени у меня в ту пору было в обрез, и у Сучитры, и у меня полно дел. В тот политический сезон мы попали в мир политической рекламы, особенно для женских групп и организаций, в защиту планируемого родительства, против грубой бесчувственности республиканцев по отношению к женским вопросам. Мы приобретали славу, в тот год наши видео были награждены премиями Полли, предназначенными для политической рекламы, особенный успех имел ролик с девочкой — жертвой секс-контрабанды, — рассказывавшей свою историю. Сучитра (для краткости она звалась теперь Сучи Рой) превращалась в медиазвезду, и я был счастлив ролью ее помощника. Итак, я отвернулся от смерти к жизни. Однако жизнь сделалась в тот год шумной и даже пугающей. За пределами закрытого Сада все было очень странно.

Выходишь из этого заколдованного — а ныне трагического — кокона и обнаруживаешь, что Америка порвала с реальностью и переселилась во вселенную комикса. Комиксы атакуют, говорила Сучитра. Год Джокера в Готэме и повсюду. Рыцаря в маске нигде не видно — время героев

миновало, зато его главный враг в лиловом фраке и полосатых панталонах сделался вездесущ, явно смаковал пребывание в свете прожекторов и с очевидным наслаждением заграбастал всю сцену. Он быстро затмил Отряд самоубийц, жалких конкурентов, зато позволял некоторым из своих подручных воображать себя в будущем членами администрации при Джокере. Пингвин, Двуликий, Ядовитый Плющ, Загадочник выстраивались позади Джокера перед битком набитыми залами. Раскачивались, словно бэк-вокалисты дувоп, пока их глава ораторствовал о несравненной красе белой кожи и красных губ перед восторженной аудиторией, сплошь в зеленых фриковых париках, распевавшей в унисон: “Ха! Ха! Ха!”

Происхождение Джокера было спорно, он и сам, похоже, охотно поощрял противоречивые версии, пусть сражаются в эфире, но один факт признавали все, и страстные последователи, и ожесточенные противники: он был законченный, со справкой, псих. Что изумительно, из-за чего этот год выборов так отличался от всех прочих — безумец получал поддержку именно потому, что был безумен, а не вопреки. Любого другого безумие должно было дисквалифицировать — а его сделало героем в глазах приверженцев. Так-

систы-сикхи и бесшабашные ковбои, неистовые блондинки из Старой правой и чернокожие нейрохирурги дружно признавались: мы влюблены в его безумие. Он не лепечет эвфемизмы, словно Каспар Милктоуст, стреляет прямо от бедра, говорит то, что хочет сказать, черт побери. Грабит любой банк, который ему приспичило ограбить, убивает всякого, кого ему припадет убить, вот наш парень. Тот черный рыцарь — летучая мышь улетел! Наступил новый день, то-то будет весело! Гип-гип-ура Соединенным Штатам Джокера! СШД! СШД! СШД!

Год двух пузырей. В одном пузыре вопил Джокер, и толпы статистов смеялись как по команде. В том пузыре не менялся климат, и таяние арктического ледника означало всего лишь новые возможности для застройщиков. В том пузыре стрелки-убийцы осуществляли свои конституционные права, а родители убитых детей вели себя не по-американски. В том пузыре, когда его обитатели победят, президент страны к югу от границы, откуда в Америку насылают насильников и убийц, принужден будет заплатить за строительство стены между обеими странами, чтобы убийцы и насильники оставались к югу от границы, где им самое место, и преступления

прекратятся, и все враги страны будут сокрушены мгновенно и окончательно, и массовые депортации будут благом, а женщинам-журналистам никто не станет доверять, потому что у них кровь течет сами-знаете-откуда, и родители погибших на войне героев окажутся шпионами радикального ислама; международные договора больше не придется чтить, Россия станет союзником, и вовсе не потому, что российские олигархи участвуют в теневых предприятиях Джокера; значения многих понятий изменятся, многократные банкротства станут доказательством великой предприимчивости, и если против тебя подали три с половиной тысячи исков, значит, ты достиг высот в бизнесе; удушение партнеров и есть деловая хватка сурового парня; диплом от университета придурков свидетельствует о похвальной заинтересованности в образовании; Вторая поправка священна, а Первая нет, так что все, критиковавшие Лидера, за это поплатятся, и афроамериканцы это скушают, потому что им нечего, на хрен, терять. В этом пузыре знание приравнивалось к невежеству, верх стал низом, и самый подходящий человек, кому доверить коды от ядерного оружия — зеленовласый белокожий с красным, как рана, ртом смехунчик, четыре

раза переспрашивавший военную комиссию, почему, собственно, так уж плохо пустить в ход ядерное оружие. В этом пузыре игральные карты с бритвенным лезвием — шутка, и цветок в петлице, брызгающий кислотой в лицо собеседнику — шутка, и хотеть секса с собственной дочерью — веселуха, и сарказм — шутка, даже когда то, что назвали сарказмом, не было саркастично. И ложь — шутка. И ненависть, и ханжество, и травля, и дата у нас на календаре была, или почти была, или скоро настанет, если шутки сработают, как задумано — 1984.

В другом пузыре, как давно объяснили мне родители, находился город Нью-Йорк. В Нью-Йорке, по крайней мере на тот момент, еще сохранялось что-то вроде реальности, жители города еще опознавали мошенника, если видели его воочию. Мы в Готэме знали, кто таков Джокер, и не желали иметь дела с ним и с дочерью, которую он вожделел, и с дочерью, о которой он никогда не упоминал, и с сыновьями, которые “спортивно” убивали слонов и леопарда.

“Я овладею Манхэттеном!” — вопил Джокер, свешиваясь с крыши небоскреба, а мы смеялись над ним самим, не над его шутовством и похвальбой, и ему приходилось вновь тащить свой

бродячий цирк в те места, где люди еще его не разгадали или, хуже того, прекрасно все поняли и потому-то его полюбили — в ту часть страны, которая была безумна, как и он. К своему народу. Слишком многочисленному, чтобы мы могли спать спокойно.

То был год великой битвы между слетевшей с катушек фантазией и серой реальностью, между, с одной стороны, *la chose en soi*[65], возможно, непознаваемой, но, вероятно, существующей вещью в себе, миром, как он есть, независимо от того, что о нем говорится и как он воспринимается, *Ding an sich*[66], используем термин Канта, и, с другой стороны, тем мультяшным персонажем, который пересек границу между жизнью и страницей — тоже ведь нелегальный иммигрант, говорил я себе — и собирался превратить всю страну, псевдоразвлекательно, в пошлый комикс на современный лад, заполненный преступлениями черномазых, и жидами-предателями, и заднеприводными, и дырками, все эти слова он охотно пускал в ход, и пусть либеральная элита корчится; в комикс, где выборы подстроены, СМИ

---

[65] Примечания: 65
Вещь в себе (*франц.*).

[66] Примечания: 66
Вещь сама по себе, вещь как таковая (*нем.*).

извращены, все, что нам ненавистно, в заговоре против нас, но в конце! Йеееc! Мы побеждаем, пугало-парик превращается в корону, Джокер становится королем.

Оставалось дождаться и увидеть, когда наступит ноябрь, разделяет ли страна умозрение ньюйоркцев или все нацепят зеленые пугало-парики и захохочут: “Ха! Ха! Ха!”

25

Драма, вернее, трагедия Дома Голденов приближается к последним актам, и я вновь сосредотачиваю внимание — только теперь! Плохо же я выполнял свои обязанности! — на все более мучительной жизни Диониса Голдена. Трудно было поддерживать какой-либо контакт с [ним]. (Я все еще использовал местоимения мужского рода, когда думал о [нем], хотя это казалось все более неправильным, поэтому как знак признания [его] неоднозначности я заключаю местоимения в квадратные скобки. Не получив от [него] ясных указаний — “Я сам пока не знаю своих местоимений”, сказал [он] мне с очевидной растерянностью, — я принял для себя такое промежуточное решение.) Мир вокруг Д, мир, в котором Д обретал хоть какую-то безопасность, сводился теперь к двум с половиной местам: женскому клубу “Два моста” на Маркет-стрит возле трех игровых площадок на углу Манхэттенского моста и моста ФДР, где [он] волонтерил четыре вечера в неделю, и квартире в Чайнатауне, где [он] жил с Рийей З. Иногда они выходили в ночное заведение на Орчард-стрит, где пела огненновласая

Айви Мануэль, и это было еще полместа в [его] зоне комфорта, но тут возникал вопрос, как одеться, и кто может к ним подойти, и что сказать, и Д страдал от усиливавшейся, непереносимой застенчивости. В “Двух мостах” проблема с одеждой решалась благодаря униформе сотрудников клуба, строгий унисекс: белая рубашка с воротником, надеваемая поверх свободных черных штанов в китайском стиле, и черные кеды на ногах, но в любой другой ситуации Д терялся: как себя подать? После вылазки в гардеробную Василисы [он] признался [самому себе] в том, что получает удовольствие от женской одежды, и собрался с духом рассказать Рийе о том, что произошло, и Айви тоже рассказал, и они это обсудили.

— Хорошо, — сказала Рийя. — Это первый шаг. Смотри на это как на начало ближайших трех лет примерно. Представляй себе переход как магию замедленного действия. Твои личные тысяча и одна ночь, за которые ты перестанешь быть лягушкой, которой не хочешь быть, и станешь, например, принцессой.

Айви уточнила:

— И нет нужды заходить дальше, чем сам захочешь. Может быть, ты как раз лягушка, просто хочешь одеваться в розовое.

[Он] получал профессиональную помощь, но это не помогло. [Его] так и подмывало поспорить со специалистом. Кто именно его лечил, Д так и не сказал мне, вместо этого [он] использовал меня как отдушину для фрустраций, которые [ему] приходилось скрывать от Рийи, слишком увлеченной идентичностью, полностью предавшейся идее трансформной флюидности личности: порой казалось, что она чересчур торопит Д с переходом М в Ж и требует непременно полной метаморфозы. Я обязан был как-то помочь [ему]. Может быть, я сумел бы предотвратить то, что произошло. Может быть, все вместе мы сумели бы. А может быть, Д Голден не был создан для жизни на этой планете.

Представляю себе разговор в пустой, черно-белой похожей на камеру комнате, говорящий сидит с неподвижным лицом на металлическом стуле с прямой спинкой, а [его] собеседник, Специалист, андроид высочайшего уровня, сочетание Алисии Викандер в “Ex Machina”[67] и *суперком-*

[67] Примечания: 67
В фильме *Ex Machina* (2015) Алисия Викандер исполняет роль искусственной женщины Авы, убивающей влюбленного в нее программиста.

пьютера Альфа-60 в “Альфавиле” Годара[68]. Мы не слышим ни одного из них. Синхронный звук отсутствует. Мы слышим только Монолог, однако, поскольку Монолог воспроизводит прямую речь, движение губ у обеих фигур порой — не всегда — совпадает с произносимыми словами. Что-то в этой сцене напоминает встречу узника с адвокатом в тюрьме. Никто бы не удивился, если бы говорящий был одет в оранжевый комбинезон (если бы сцена снималась в цвете) или был в цепях на запястьях и лодыжках. Есть также в этой сцене что-то такое, что, если бы удалось снять правильно, могло бы показаться забавным.

Монолог Д Голденао [его] сексуальности анализ специалиста

Часть первая. Она спросила меня в самом начале, Специалист спросила, прямо к этому и приступили, первый вопрос: в детстве тебе нравился больше розовый цвет или голубой?

Меня этот вопрос удивил, честно говоря. Разве в нашу эпоху этим интересуются? Что, правда? Голубой или розовый?

Пойдите мне навстречу, говорит она, это моя

---

[68] Примечания: 68

“Альфавиль” (1965) — антиутопия о городе, где все человеческие чувства запрещены. Альфавилем управляет компьютерная система Альфа-60.

просьба, как будто она — пациент, а мозгоправ тут я.

Я отвечаю, потому что у меня теперь такое настало упрямое настроение: Дайана Вриланд, издатель “Вог”, сказала однажды, что для Индии розовый — это голубой, так что, полагаю, розовый там от голубого не отличали.

Почему тебя так беспокоит этот вопрос, тут же спрашивает она, это же просто выбор между двумя цветами, я могла бы спросить, во что больше нравилось играть, в паровозы или куклы. Предпочтешь ответить на такой вопрос?

Замечу в скобках, что я никогда не был марксистом, но ее подход пробудил во мне сильные антикапиталистические чувства. Мне казалось, возразил я, что мы уже ушли от материалистических категорий, навязанных рынком, розовый для девочки, голубой для мальчика, мальчикам поезда и пистолеты, девочкам куклы и платьица. Зачем же толкать меня обратно в этот устаревший, скомпрометированный дискурс?

Я слышу в этом ответе нарастающую враждебность, сказала она. Я нащупала некий триггер, вызывающий вспышку эмоций?

Ладно, сказал я, по правде говоря, мой любимый цвет — желтый, рыжий, всегда был и остался.

Одно время я пытался даже ругаться *рыжим,* как приятель Стивена Дедала, “Да провались эта рыжая палка!”[69], но так и не удалось возвести это в привычку.

Хорошо, сказала она, это прогресс, желтый в спектре находится посередине между голубым и розовым. Я подумал — как это глупо, неандертальски глупо, кроманьонски глупо, но я прикусил язык и промолчал. Может быть, это не для меня, подумал я.

Что же до второго вопроса, игрушечной железной дороги у меня никогда не было. У братьев была, и я смотрел, как они играют, хотя они-то уже давно выросли из игрушек. И с электрическими моделями машин играли, стыдобища, не по возрасту. Я же сводный брат и намного моложе. Все, что у меня было, — парочка зверюшек из сандалового дерева, класть в ванну, чтобы они отдавали свой аромат воде. Слон из сандалового дерева и верблюд. Я придумывал приключения для моих сандаловых друзей, каждый вечер новую сказку в ванне. Что слон прятал в хоботе, почему верблюд ненавидел пустыню и так далее. Может быть, следовало их записывать, почти

[69] Примечания: 69

“Да провались эта рыжая палка” — Джеймс Джойс, “Улисс”. Перевод В. Хинкиса и С. Хоружего.

все с тех пор забылись. Так что на ваш вопрос, если нужно сделать выбор между куклами и поездами, ответ выходил — куклы-животные из сандалового дерева. Но я никогда их не наряжал. Я только рассказывал им сказки и пускал в воду.

Так оно и шло, она напирала, я давал отпор. В какой-то момент я рассказал ей про мачеху и ключи от дома. Я признался: худшее, что я сделал в жизни. Так и сказал Специалисту. Сказал, что я сожалею. Сожаления ее не интересовали, она тут же понеслась по тому же пути, что и Рийя в тот раз, когда мы поссорились и я выскочил из машины. Одной лишь ненависти для объяснения моего поступка недостаточно, сказала она. Допустим, я выскажу предположение: тебе хотелось стать хозяйкой этого дома. Допустим, я выскажу предположение, что в основе было именно это. Какова будет твоя непосредственная реакция? Моя непосредственная реакция? Бааам! Хлопнуть дверью, это не для меня, я ухожу, но уже на пороге она тихонько вслед спрашивает: а что ты собираешься делать вместо этого, и я останавливаюсь, вытянутая рука отпускает дверную ручку, я возвращаюсь, и сажусь, и говорю: наверное, это так и есть, пожалуй. И что это говорит обо мне? Кто я?

Часть вторая. Я спрашиваю подробнее об иг-

рушках и выборе цвета. В прежние времена, говорю я, если мальчик тянулся к розовому и к куклам, родители пугались, не гомосексуал ли он, и старались приучить его к мальчишеским вещам. То есть у них возникали сомнения насчет его ориентации, но им и в голову не приходило озаботиться его гендером. А теперь вы, похоже, впадаете в другую крайность. Вы не считаете ребенка педиком, но вы пытаетесь убедить его, что он — девочка.

Ладно, говорит она, так ты — гей? Тебя физически привлекают другие парни?

Нет, говорю я. Это, наверное, единственное, что я знаю о себе, что это не я.

Хорошо, говорит она. Тогда не станем углубляться в мотивации воображаемых родителей и пытаться их распутать, сосредоточимся на текущей задаче, то есть на тебе. Ты не мужчина-гомосексуал, но, может быть, ты гомосексуальная женщина?

Что, переспросил я.

Не лесбиянка ли ты, спросила Специалист.

Я еще даже не начинаю переход, и я живу с гетеросексуальной женщиной, сказал я.

Во-первых, мы не обсуждаем здесь сексуальность твоей партнерши, которая тоже может

оказаться сложной и которую ты, возможно, упрощаешь ради собственного удобства, но вопрос не в этом. А во-вторых, важно не то, как ты живешь, а кто ты. Есть разница между выражениями “Я работаю в пиццерии” и “Я люблю хорошую еду”.

Вы очень странная, сказал я Специалисту.

Меня мы тоже не обсуждаем, сказала она.

Как я могу быть лесбиянкой, запротестовал я, это же физически невозможно.

Почему?

По очевидным причинам.

Тогда еще два вопроса. Первый: тебя когда-нибудь привлекала лесбиянка? Женщина, которая предпочитает заниматься любовью с женщиной?

Случалось раз или два, сказал я. Я не стал их добиваться.

Почему.

По очевидным причинам. Они не захотели бы спать со мной.

Почему?

Да полно же.

Хорошо. Тогда второй вопрос. Что такое женщина?

Этот загадочный вопрос вдруг вызвал у меня такое ощущение, словно я здесь иностранец. В

большинстве стран мира его бы никто не додумался мне задать. Неужто американцев этот вопрос смущает? Не собираетесь ли вы расспросить меня про устройство туалетов? Или припомните, как в колледже Маунт-Холиок запретили "Монологи вагины"?

Это *тебя* смущает такой вопрос.

Я знаю, что такое женщина. Я не знаю только, женщина ли я. И хочу ли ей стать. Или достанет ли мне храбрости ею стать. Я очень боюсь, что мне недостанет храбрости. И вообще я очень боюсь.

Чего ты боишься?

Обнаженности перемены. Этой драмы, крайности метаморфозы, ее чудовищной наглядности. Чужих взглядов. Чужого суда. Уколов. Операции. Операции больше всего. Это же естественно, верно?

Я не знаю значения этого слова — "естественно". Этим словом так долго злоупотребляли, что лучше теперь им не пользоваться. Так же, как и словом "секс".

Я живу с человеком, который разделяет это мнение.

Позволь предложить тебе для обдумывания фразу: "Нет такой вещи, как тело женщины".

Это же, очевидно, не подразумевает, будто нет

такой вещи, как тело женщины. Поскольку женщины существуют и существуют тела, что тоже объективная истина, и одно находится внутри другого. *Ergo*[70]…

Вы уловили мою мысль, когда попытались ее оспорить. Мы существуем, и наши тела тоже, и мы обитаем в своих телах, но тела не определяют нас и не ограничивают.

Итак, мы пришли к дихотомии разума и тела. Вы предлагаете отказаться от идеи, будто существует единая и объединяющая реальность, субстанция или сущность, и потому разделить разум и тело невозможно. Это монизм, и он вас не устраивает? Вы предпочитаете дуализм Декарта. Но будет ли в таком случае *женщина* или даже *сущность женского* — категорией разума исключительно? И нет в ней никакой материальности? И этот нематериальный гендер, эта отлученная от тела нефизическая сущность неспособна к метаморфозам, хотя уже в силу того, что она бестелесна, должна быть изменчива, как ветер? Или мы находимся на религиозной территории, или, возможно, на территории Аристотеля, и гендер как разум — свойство души? Я немало начитал,

---

[70] Примечания: 70
Следовательно (*лат.*).

но осмыслить все это трудно.

Я изложу все просто. Родиться с женскими гениталиями и репродуктивными органами еще не значит быть женщиной. Родиться с мужскими гениталиями не значит быть мужчиной. Только если сам так решишь. Эту гипотезу я и прошу вас обдумать. Нет ничего безусловно женского в вагине. И вы не исключены из женского гендера лишь потому, что обладаете членом. Трансженщина с членом остается женщиной. Можете ли вы это принять?

То есть мне можно обойтись без операции.

Без кастрации.

Само слово ранит.

Нет — если вы не сделаете сами такой выбор.

Значит, мы вернулись к *выбору*.

Я бы посоветовала вам называть это “свободой”. Я могла бы даже назвать это вашим правом.

Я кое-что понимаю насчет выбора. Моя семья как раз предпочла меняться. Я сам выбрал то имя, которым вы теперь меня зовете. Я сам решил оставить мир, который меня создал, и попасть в тот мир, где я, может быть, сумею создать себя. Я всецело за выбор. Я уже пережил одно превращение по своему выбору. Но…

Но?

Если я скажу, что я женщина, и при этом сохраню член, и потом окажусь среди женщин-лесбиянок, и захочу секса, но они не захотят иметь секс с человеком, у которого мужской член, то как же можно утверждать, будто я женщина, если мой выбор стать женщиной неприемлем для женщин.

Если человек так на вас реагирует, то этот человек — ТЭРФ.

ТЭРФ?

Транс-эксклюзионистская радикальная феминистка.

И это плохо.

В контексте нашего разговора да, это плохо.

Значит, берем тех женщин с вагинами, которые не хотят заниматься сексом с женщинами, имеющими пенис, называем их дурным словом и говорим, что они плохие, — а мне от этого какая польза?

Вам это поможет осуществить свой выбор.

Потому что я прав, а они нет?

В Мичигане проходит фестиваль только для женщин, ему уже сорок лет — женщины собираются, играют на музыкальных инструментах, готовят, болтают, им просто нравится быть вместе, и среди них есть те, с кого начиналось

женское движение, цис-женщины, по большей части уже немолодые, в свое время они были революционерками. Но теперь они не допускают на это мероприятие трансженщин с мужскими органами, и споры об этом уже перерастают в побоище. Трансактивисты раскидывают лагерь возле фестиваля. Они вооружаются, планируют помехи и протесты и порой все это осуществляют — рисуют граффити, перерубают водопровод, режут шины, разбрасывают фотографии своих пенисов. Я полагаю, что в этом споре женщины с вагинами неправы, потому что они не сумели адаптироваться к новым временам, когда женщина с вагиной — всего лишь один из видов женщины и другие виды не меньше женщины, что они. Если вы решили стать американцем, получить гражданство, нет необходимости отрекаться от всего, чем вы были раньше. Вот вы сами стали американцем, но когда заходите в тупик, то, по вашим же словам, чувствуете себя иностранцем, значит, отчасти сохранили иностранную часть себя неприкосновенной. Если вы решите быть женщиной, тут вы обладаете не меньшей свободой. И если кто-то вздумает отстранить вас от выбранного вами гендера, вы вправе протестовать.

Но я никак не понимаю, откуда берется выбор. Что, если мужское гей-сообщество внушило мне: гомосексуальность — врожденное свойство, так человек устроен, ее нельзя выбрать или отказаться от выбора, и что, если мне отвратительна реакционная идея, будто гея можно перевоспитать, вынудить его изменить свой выбор, отказаться от гомосексуальности. Что, если я не понимаю, каким образом выборы, которые вы проповедуете, эти гендерные нюансы и множественные возможности отличаются от той самой реакционной идеологии, потому что выбор можно отменить, дама имеет право передумать. Что, если я выскажу другое предположение: моя идентичность всего лишь сложна, и мучительна, и запутана, и я не знаю, как выбирать и что выбирать, и даже не знаю, выбор ли это или я должен слепо брести к тому, чтобы понять, кто я есть, а не кем я предпочитаю стать. Что, если я верю, что “я есть” существует и я должен это найти? Что, если это открытие, а не выбор: нужно понять, кем я всегда был, а не перебирать разные вкусы гендерного мороженого. Что, если я думаю: если “я есть” женщины означает, что она не может заниматься сексом с женщиной, которая снаряжена мужским органом, то это следует уважать.

Что, если меня тревожит, как бы не началась гражданская война по эту сторону гендерного разделения, и что, если я считаю эту войну дурной. Что, если все мы — разные виды женщин, а не один и тот же, и что, если разделения, в том числе половые и сексуальные, вполне норма, а не ханжество и зло. Что, если мы — федерация разных штатов, статусов бытия, и должны уважать права каждого штата, а не только союза. Я схожу с ума, пытаясь продумать все это, а у меня даже нет нужных слов, я пускаю в ход те слова, какие знаю, но все время кажется, что эти слова не годятся, — что, если я пытаюсь выжить в опасной стране, чей язык так и не освоил? Что, если так?

В таком случае я скажу, нам нужно потрудиться и пробить “хлопковый потолок” в вашей голове.

Это что?

Нижнее белье шьют из хлопка. Содержимое трусов трансженщины служит рычагом для ее же подавления и маргинализации. Кавычки открыть, кавычки закрыть.

Кто рассказал моей подружке шутку насчет того, как стать трансмиллиардером. Я идентифицирую себя как миллиардера, так что теперь я богач. Что вы можете на это сказать?

Не смешно.

[Он] ступил на порог, но в комнату не вошел. Зажатый между страхом и языком, [он] не мог пошевелиться. Но не мог и оставаться там, где был. Предупреждающие сигналы звучали со всех сторон. Рийе позвонили из девчачьего клуба “Два моста” и попросили, вполне по-доброму, чтобы [он] больше не приходил, поскольку [он] стал докучать посетительницам чересчур личными вопросами и им уже не так комфортно в [его] присутствии. Атмосфера в “Двух мостах” была одновременно расслабленной и напряженной — девочки чувствовали себя тут как дома, но каждая усердно осваивала программы по социальной справедливости или экологическому образованию, изучала цифровое и аудиоискусство, или проходила вводный курс технического университета, или помогала в восхитительном планетарии этого же здания (дар богатого благотворителя), или танцами занималась, или диетами. Я наведался к [нему] туда в начальную пору [его] волонтерства, до того как раскрутилась уносившая его вниз спираль, и тогда казалось, что [он] счастлив их счастьем и их свободное отношение к гендерному разнообразию вроде бы помогало [ему]. Гей или традиционной ориентации, цис или транс, со звездочкой и без

звездочки, квир и агендер — ничто не воспринималось как проблема. Поначалу это ободряло и даже будоражило, но когда [он] столкнулся с собственными барьерами на пути к переходу, со своими физическими и социальными страхами и с трудностями нового языка, [ему] ничуть не помогла мысль, будто [он] страдает от поколенческой проблемы, от которой следующее за [ним] поколение будет избавлено. Я представлял себе ранних неандертальцев из “Наследников” Голдинга, как они с гневом и недоумением смотрят на новую человеческую расу, более хитроумную, овладевшую огнем, на *Homo sapiens*, который впервые появился в их местах обитания, обрекая предшественников на исчезновение. Так и [он] стал воспринимать себя как существо примитивное, а девочек из “Двух мостов” как новый народ, лучший, чем [он], но которому суждено также [его] вытеснить и заменить, потому что они могут дойти, куда [он] не смог, войдут в землю обетованную, закрытую от [него] ограниченностью [его] восприятия. И тогда [он] начал им досаждать. Зажимал их в углу столовой, в дверях аудитории, отвлекал от игры в софтбол или хоккей и требовал ответов, которых у них не было, советов, которые они никак не могли

ему дать. {Он] сделался агрессивен, девочек это расстраивало. Увольнение стало неизбежным. [Он] смирился с ним без ропота.

Мы недостаточно следили за [ним]. Тут не поспоришь. Надо было гораздо раньше заметить, как в [нем] нарастало смятение, и, может быть, мы даже это замечали, но предпочли отвернуться. После гибели Апу Нерон Голден удалился от общества и скрылся во тьме. Явная причина такого ухода была очевидна, однако был в этом и другой, скрытый смысл, который проступит лишь позднее. Урну с прахом сына он держал у себя на столе и, по слухам, разговаривал с ним постоянно, изо дня в день. Обе дамы-драконши имели к нему доступ, и он отводил время для Пети, всегда отводил время для своего наиболее очевидно страдающего ребенка, всегда прощал его и поддерживал, пока Петя медленно совершал возвратный путь от поджигателя к лучшему своему Я, но для оставшегося без руля и ветрил, летящего к катастрофе уже-не-самого-младшего почти ничего не оставалось. Зато у Нерона имелись маленький Веспасиан и жена, которая умела самыми разными способами настоять на том, чтобы ребенку уделялось особое отцовское внимание. Маленький Веспа, так они его звали,

словно скутер, на котором они оба уедут обратно в счастье. Рядом с маленьким Веспой лицо Нерона порой смягчала улыбка. Василиса перенесла на мужа ту же материнскую заботу, с какой она холила своего принца, свою гордость и отраду, отчасти, конечно, потому что видела его скорбь и хотела ее унять, но также, в этом у меня сомнений нет, по эгоистическим причинам. Из всех нас Василиса наиболее отчетливо понимала, как угасает этот грозный, неистовый человек. Она видела приближение забывчивости, видела, как слабеет рука, сжимавшая поводья колесницы, она понимала, что скоро он и сам превратится в ее малыша, и все это она готова была принять, ведь по завершении проекта ее ждал весьма заманчивый приз. (Мое суждение насчет Василисы сделалось куда более жестким после рождения сына, когда она воздвигла стену между мальчиком и мной.) Мать Василисы тоже поселилась в Золотом доме, но Нерон ее невзлюбил, и Василиса держала замотанную в платок *бабушку* подальше от хозяина дома, главным образом используя ее в качестве няньки при маленьком Веспе. В этих отношениях мать, очевидно, прав никаких не имела. Делала, что велено. Однако и она тоже дожидалась своего часа. Она тоже знала правила

этой игры. Держалась в стороне, пела мальчику русские песни и рассказывала русские сказки, наверное, и про Бабу-Ягу тоже, про ведьму, чтобы, когда подрастет, он уже соображал что к чему. Если б она умела читать детские книги по-английски, возможно, сравнила бы Веспасиана с золотым снитчем.

26

И я тоже отвел глаза от Д Голдена. Все лето и всю осень Сучитра и я трудились рядом с Бэтменшей. В этот предвыборно-сюрреалистический год наше внезапное возвышение благодаря системе наград за ролики до статуса звезд политической рекламы привлекло внимание прогрессивных общественных организаций и располагавших большими деньгами политических фондов, поддерживавших мощную, чрезвычайно профессиональную, однако непопулярную соперницу Джокера. Мультфильм, который мы сделали для одной из таких организаций (Джокера отрисовали лучшие современные художники), мгновенно набрал миллионы просмотров. Ухмыляющийся подонок выкрикивал на фоне Нью-Йорка реплики, произнесенные его политическим альтер эго в реальной жизни, верещал, издеваясь над собственными сторонниками: *Идиоты! Я мог бы пристрелить человека на Таймс-сквер и не потерять ни единого голоса!* — но тут женщина в костюме супергероини, летучей мыши, спускалась сверху, надевала на него смирительную рубашку и передавала одетым в халаты мужчи-

нам из психушки. Так родилась политическая Бэтменша, и кандидат или ее помощники разместили нашу рекламу на официальных страницах кампании в соцсетях, и в первые же сутки ее посмотрело три миллиона человек, мы сделали еще три продолжения, и все они сработали не хуже. Выборы превратились в состязание Бэтменши и Джокера — у Бэтменши имелась своя темная сторона, и она это признавала, однако использовала темную силу в борьбе за добро, справедливость и американский путь, этот лидер мог спасти страну от провала в катастрофический анекдот. Мы задавали тон этой борьбе — она становилась тем, чем мы ее назвали.

Образ Бэтменши придуман Сучитрой, но значительная часть сценария написана мной или нами обоими вместе. Мы были хорошей командой, хотя я по-прежнему недоумевал, что Сучитра нашла во мне — настолько мы не пара, ее неиссякаемая, блистательная креативность настолько ярче моего жалкого огонька, что порой я чувствовал себя при ней вроде собаки. Однажды ночью, когда мы доделали работу, я изрядно выпил и решился задать ей вопрос, а она расхохоталась, все хохотала и хохотала.

— Да уж, парочка, — сказала она. — Каждый из

нас так не уверен в себе, и ни один не понимает, насколько не уверен в себе другой.

Неужто я этого не понимаю, спросила она. Ведь это я получил образование, я — интеллектуал, вижу связи, аллюзии, отголоски, аргументы, образы, а она умеет лишь наводить камеру да прочую техническую работу выполнять. То есть она абсурдно саму себя недооценивала, но тут уж прорвалась ее собственная неуверенность. Я напомнил ей только об одной из множества прекрасных вещей, которым она меня учила: образ обладает формой, и звук тоже, и монтаж, и сюжетная драма. Искусство сценариста заключается в том, чтобы обеспечить гармонию всех четырех элементов. Так она адаптировала для себя теории Сергея Эйзенштейна, создателя “Александра Невского” и “Броненосца «Потемкина»”.

— Ладно, — ухмыльнулась она, когда я об этом ей напомнил, — ладно, окей, это и правда было неплохо.

Эти взаимные признания — я чувствую себя недостаточно творческим человеком, ей недостает интеллектуальности — очень нас сблизили. Так уж мы устроены: влюбляемся в сильные стороны другого человека, но любовь укрепляется и становится постоянной, когда мы влюбляемся

в слабости другого. Мы впали в ту любовь, что прежде таилась под нашей любовью, как вода подо льдом, и поняли, что, хотя до той поры нам было вместе хорошо и радостно, мы всего лишь скользили по поверхности, а вот теперь проникаем все глубже и глубже, насколько это в наших силах. Никогда я не знал такого чувства, и она тоже, сказала она, и мы уставились друг на друга блаженно, еще не веря своему счастью. Вот на чем было сосредоточено мое внимание в ту пору: семейство Голденов шло ко дну, а я парил. Мы парили, моя сладкая овечка и я, словно ястреб в “Оклахоме!”, лениво кружили мы в небесах.

— Да, кстати, — сказала она в самый разгар этого блаженства, — ты помнишь три моих правила, я же их тебе называла?

— Зарабатывать самому, жить отдельно и не звать тебя замуж — так?

— Думаю, я готова их пересмотреть.

— О!

— “О”? Вот как? Все, что ты можешь мне ответить?

— Да я просто прикидываю, как сообщить эту новость моему хозяину У Лну Фну, — вывернулся я.

— Зубатку, — сообщил У Лну Фну, — я порой

беру в “Хоул фуд” на Юнион-сквер, но у них не всегда есть в продаже. Или же иду в Чайнатаун. Еще необходимы вермишель, рыбный соус, рыбная паста, имбирь, стебель банана, лимонник, луковицы, чеснок, мука из нута. Сядьте и послушайте, будьте добры. Это традиционный завтрак в моей стране — мохинга. Садитесь, прошу вас.

— Мистер У, — заговорил я.

Он остановил меня, изящно приподняв руку.

— Наконец мне пора вас поправить, — сказал он. — Понимаете, У — не имя, это уважительное обращение к немолодым мужчинам, старшим по должности. А еще к монахам. Так что “мистер У” — все равно что “мистер Сэр”. Лну — имя моего отца, которое перешло ко мне. Вам бы следовало называть меня Фну. Так лучше всего.

— Мистер Фну…

— Просто Фну. Мы теперь друзья. Ешьте свою мохингу.

— Фну.

— Я знаю, о чем вы хотите поговорить. Вы хотите переехать к своей девушке и прощаетесь со мной, но поскольку вы любите Сад, хотите попросить у меня запасной ключ. А поскольку вы человек вежливый и знаете, что живу я одиноко, вы скажете, что успели очень ко мне привязаться,

намерены часто меня посещать и бла-бла-бла.

— Вы смотрели “Сайнфелд”?

— Каждую серию, а теперь еще и повторы.

— Как вы узнали?

— Ваша девушка — она позвонила мне, потому что знает: у вас язык не ворочается, когда надо о чем-то попросить. А мне приятно вам это дать. Оставьте ключ у себя. Разумеется, я сдам кому-нибудь вашу комнату, но вы всегда сможете зайти, буду рад.

— Сад так прекрасен в это время года.

— Я никогда не вернусь домой, — сказал старый дипломат. — Даже в обновленную Мьянму Аун Сан Су Чжи. В любом путешествии наступает момент, когда путник садится у реки и знает: здесь дорога кончается. Наступает день, когда он смиряется с тем, что мысль о возвращении — всего лишь иллюзия.

— Мне очень жаль, — пробормотал я, не находя слов.

— К тому же Голдены так интересны, правда? — приободрился У Лну Фну, даже руками похлопал, обнаружив вдруг дотоле скрываемую сторону своего характера — любовь к сплетням. — Разваливаются прямо на глазах, а у меня теперь хватает времени, чтобы за ними наблюдать.

Что же я был за человек — угощался на завтрак рыбным супом с вермишелью из рук пожилого одинокого бирманского (мьянманского) джентльмена и прикидывался, будто моя любовь к Саду носит характер ботанический и ностальгический. Что я был за человек — планировал жить с женщиной, которая меня любила, но сохранял возможность войти в тайное место, где обитало мое тайное дитя, где в любой день его можно было увидеть в коляске под охраной свирепой русской праматери — и при этом я держал свое отцовство в тайне даже от истинной моей возлюбленной. Что за человек, воспитанный в этом самом Саду людьми высокой принципиальности, учившими своего ребенка верности и чести, мог с такой готовностью уступить призыву сирены? Возможно, все мужчины по натуре предатели, и хорошие мужчины — тоже предатели, только еще не дошедшие до той развилки на своем пути. Или же моя склонность делать общие выводы из своего поведения — лишь способ оправдать себя за то, на что я с такой легкостью согласился.

А Сучитра позвонила хозяину моей квартиры: любовь ли это или что-то не то? Неужто ей было известно более, чем я догадывался? И если так, что означало ее поведение? Впрочем, о мальчике

она, конечно же, не знала. Вот так постыдные тайны превращают каждого из нас в параноика.

По мере того как возрастало мое личное счастье, усиливалось и оставшееся невысказанным самоосуждение, и все же, все же, вопреки и тому, и другому: здесь, в Саду, обитал мой сын. Как мог я повернуться к нему спиной, уйти — пусть даже в жизнь, полную любви? Часто, очень часто я оплакивал тот день, когда позволил себе — когда я решил! — войти в орбиту Золотого дома, проявив столь мало предусмотрительности: я-то воображал, они станут моими персонажами, пропуском в мое кинематографическое будущее, я буду обладать всей властью над нарративом, и того не видел, что я сам, а не кто-то из Голденов — персонаж, а этот сюжет развернется так, что в итоге я узнаю куда больше о самом себе, чем о ком-то другом. Как многие молодые люди, я почти во всех аспектах оставался тайной для самого себя и для тех, кто меня любил, и прежде чем все завершилось, эти секреты должны были обнаружиться.

Следом за Хюбрис идет Немезида, Адрастейя, неизбежное. Хороший мужчина может оказаться плохим и плохая женщина хорошей. Изменять себе самому, о юноша! — вот худшее предатель-

ство. Даже самая мощная крепость падет после долгой осады. И небо, к которому мы поднимаем взоры, может обрушиться, и гора рассыплется в море. В конце концов твоя грубая магия, о Просперо! — сгложет тебя самого, если только, подобно Ариэлю, ты не освободишь ее. Если не сломаешь свой жезл волшебника.

Чудесное дитя в “Тянущих невод” у Эсхила оказалось супергероем Персеем. В “Следопытах” Софокла чудесное дитя оказалось богом Гермесом. А теперь вот Веспасиан, названный в честь императора, чудесное дитя Сада и моего сердца. Чтобы выжить — должен ли я был покинуть его? Должен ли был предоставить ему свободу?

Исправительное заведение “Клинтон Оукс” в Джефферсон-Хайтс, штат Миннесота — единственная на весь штат тюрьма максимально строгого режима, однако после побега двух заключенных следствие установило, что охранники регулярно пропускали обязательные обходы и вносили в тюремный журнал поддельные записи, якобы они все проверили, когда вовсе не проверяли. Впоследствии за такие упущения было наказано девятнадцать сотрудников. Тем не менее ключевую роль в побеге заключенных сыграла не эта небрежность надзирателей. Любовь

— или, по крайней мере, секс и страсть — послужила ключом на волю. Убийцы Карл Захариассен и Питер Койт, сидевшие в соседних камерах и отбывавшие пожизненный срок без права на досрочное освобождение, работали в тюремном ателье и там подружились с сотрудницей тюрьмы, миссис Франсин Отис, замужней матерью двух сыновей. Дружба укрепилась — обойдемся таким эвфемизмом, — и миссис Отис, согласно ее показаниям, вступала в отношения с обоими мужчинами в кладовке, замыкавшей длинную и узкую основную территорию ателье. Затем Отис принесла мужчинам инструменты, какие им требовались, в том числе для резки металла, и они осуществили свой план. Они прорезали прямоугольные отверстия в дальней части камер, под койками, а под одеяло сунули скатанные из свитеров чучела, чтобы обмануть стражу во время обхода (впрочем, как потом выяснилось, в ту ночь обходы вовсе не совершались). Через дыру в камере удалось попасть на заброшенный переходной мостик, который давно перестали охранять. По нему заключенные спустились на пять этажей, к паровой трубе, которая была в ту пору пуста: погода стояла теплая. Беглецы прорезали дыру и в трубе тоже, проползли по ней сто с

лишним метров до люка уже по другую сторону от тюремной ограды, и там, пустив в ход добытые Франсин Отис инструменты, взломали стальной замок и цепь на крышке люка и таким образом оказались на свободе.

Погоня длилась три недели, в ней участвовали свыше восьми сотен полицейских, вертолеты, собаки. Захариассен и Койт, как созналась потом Отис, первоначально договорились встретиться с ней в условленном месте на шоссе № 35, куда она пообещала доставить им одежду, деньги и оружие и, в прискорбном самообмане, ожидала, что они возьмут ее с собой и все трое смогут начать в Канаде новую жизнь, полную любви и секса, — но в итоге они предпочли не встречаться с ней, что для Отис было только к лучшему, поскольку они собирались забрать все, что она принесет, а ее прикончить. В следующие три недели беглецов несколько раз замечали там и сям, собаки учуяли их запах, следы ДНК были найдены в лесной хижине, и в конце концов их окружили в национальном лесу Кабетогама недалеко от канадской границы. Койта взяли живым, но Захариассен сопротивлялся и был убит, получил три пули в голову. Об этой охоте на людей подробно сообщали в общенациональных новостях.

Мы отвели глаза от Д Голдена, поскольку были уверены, что Рийя З. все время рядом с [ним], что ее-то глаза подметят все, что нужно увидеть. Но эти три недели, с тех пор как ее отец сбежал из “Клинтон Оукс”, каждую минуту каждого дня и каждой ночи, пока его не пристрелили в лесу Кабетогама, Рийя непрерывно сходила с ума. И как раз в этот момент Д попросили уйти из клуба “Два моста”. Идеальный шторм: как раз когда Д более всего нуждался в Рийе, внимание ее было отвлечено.

— В новостях говорят, он пытается удрать в Канаду, но это чушь, — без всякой логики твердила она. — Он постарается добраться до меня.

Такой Рийю Д никогда не видел — испуганной, неуверенной, вокруг нее словно потрескивало статическое электричество. А [он] давно разуверился во всем, кроме нее. Она стала [его] неколебимой скалой. А теперь она осыпалась — и [он] этого выдержать не мог.

— С какой стати он поедет в Нью-Йорк? Так далеко, слишком большой риск, в городе его сразу же заметят и схватят.

— В городе как раз и прячутся, — возражала она. — В провинции, в маленьких городках, в полях и лесах тебя все видят, все знают, чем ты

занят. В большом городе становишься невидимкой, потому что всем наплевать.

— Но сюда ему добираться через полстраны. Он не приедет.

— Он обещал добраться до меня. Он приедет.

Захариассен не приехал. Он спешил к границе через северные леса. Но вопреки всем сообщениям, что его видели вдали от Нью-Йорка, Рийя пребывала в убеждении, что отец приближается к ней, так что она вытащила кольт с перламутровой рукояткой, зарядила его и держала в своей сумочке, но даже после этого все подпрыгивала, точно кошка на раскаленной крыше. Коллеги в Музее идентичности отмечали бессонно вытаращенные глаза, тревожность, пугающую в обычно столь хорошо владевшем собой человеке, и все наперебой предлагали средства — наверное, ей пора в отпуск, наверное, ей не во благо нынешние отношения, наверное, ей нужна кава-кава, стопроцентно органическая, на травах, она поможет расслабиться.

По ночам Рийя почти не спала, сидела под окном спальни, ожидая в любую минуту появления отца-палача — вскарабкается на плоскую крышу соседнего дома — и пару раз она чуть не пристрелила кошку. Также не раз, а несколько раз она

сделала то, чего никогда раньше не делала — проконсультировалась с драг-квин Мадам Джордж из салона “Таро — Хрустальный шар — Гороскоп — Поведаю ваше будущее” на первом этаже, и когда мадам Джордж заверила ее, что впереди счастливая долгая жизнь, Рийя возразила: нет, все не так, сдайте карты снова — и хотя гадалка добавила: приведите ко мне вашего парня, вот за него стоит беспокоиться, Рийя не сделала, как ей было сказано. Потому что думала, проблемы Д ей хорошо знакомы и не требуется помощь мужчины в женском наряде, чтобы понять его, и как раз сейчас настал такой момент, когда мир вертится не вокруг него, сейчас на первом плане она сама и ее отец, злобный ублюдок, подкрадывающийся к ней в ночи.

Она решилась пообщаться с мегерой, владевшей этим розово-желтым зданием, и принялась чересчур громко уверять миссис Ран, ох, чересчур громко, что давно пора снабдить дом современной системой безопасности, чтобы на входе видеокамера, и сигнализация, и замки получше, и на уличной двери, и на квартирах, намного лучше, а то любой может сюда проникнуть, город-то жесткий, опасный, и заткнулась она лишь тогда, когда миссис Ран ее перебила:

— Приходишь попросить у меня лампочку в коридор, об этом я подумаю. Набрасываешься на меня, как вампир, джангши[71], твой рот полон воплей, и в одну минуту я тебе говорю, убирайся из моего дома прямо сейчас. Так что выбирай теперь.

Рийя запнулась, умолкла, стояла, задыхаясь, в холле, а миссис Ран щелкнула пальцами у нее перед носом, повернулась к ней спиной и ушла в свой магазин, “Ран-Ран Трейдинг”, злобно таращиться на развешанных там уточек. А Рийя, вспотевшая, запыхавшаяся, даже тогда не сумела понять, что страх сводит ее с ума — зато Д Голден, тревожно за ней наблюдавший с первой лестничной площадки, все правильно понял, и это опять-таки выбило [его] из равновесия.

Три недели Рийиного безумия обострили [его] внутреннее мучение. Эти дни в одинокой квартире, ночи, заполненные ее вызывающими клаустрофобию страхами. И [его] собственный страх, страх перед [самим собой], умноженный ее страхом перед тенью отца. И в конце концов тени обрели силу, овладели [его] разумом и душой. И никто из нас этого не видел, не пришел

---

[71] Примечания: 71
Персонаж китайского фольклора, вампир или зомби.

на помощь.

Правда, я навестил тогда [его] в последний раз, не зная, что этот раз последний. Рийя была на работе, пыталась выполнять свои обязанности, несмотря на истерический ужас перед воображаемым приближением беглого Захариассена, а я пока что вывел [его] на прогулку по Чайнатауну. На скамейке на площади Кимлау, где сходятся восемь улиц, под горделивым и благосклонным взглядом памятника герою войны лейтенанту Бенджамину Ральфау Кимлау из 380-й эскадрильи бомбардировщиков Пятой аэродивизии, погибшему в воздушном бою с японцами в 1944 году, Д Голден признался мне, что потерпел крах, пытаясь примирить враждующие силы в [самом себе]. А в тот день [он] надел клетчатую рубашку, свободные штаны с накладными карманами и защитные очки, помады лишь слабый след, на длинных волосах — они уже отросли ниже плеч — розовая бейсбольная кепка.

— Посмотри на меня, — ныл [он]. — В мужской одежде мне плохо, появиться на людях в платье я не решаюсь, всего лишь рот подкрасил да кепку выбрал розовую — мелкий, слабый жест.

Я повторил то, что все [ему] твердили: шаг за шагом, переход — волшебное путешествие,

растянутое на тысячу и одну ночь, а [он] только головой качал:

— Для меня сезам не откроется. И бессмертный сказитель не вспомнит мою жалкую историю.

Я промолчал, видя, что вот-вот последует что-то еще.

— Каждую ночь во сне мне является тот хиджра из моего детства, одетый как Майкл Джексон, он танцует на улице, вращается, стучит в окно автомобиля, кричит: “Потанцуй со мной”. Я просыпаюсь в холодном поту. По правде говоря, я знаю, о чем говорит хиджра, он, она, требует: все или ничего. Если ты этого хочешь — нужно пройти весь путь. Операция и так далее, как настоящий хиджра. Если этого полностью не сделать, будет неправда, все равно что одеться Майклом, когда на самом деле ты просто секс-работник на Чоупатти-Бич. Но, господи! Правда в том, что я слишком слаб, слишком испуган, до смерти страшусь. Может быть, Апу счастливее всех нас.

[Он] огляделся по сторонам.

— Где мы? — спросил [он]. — Что-то я сбился.

Я проводил [его] до квартиры. И таким я теперь [его] вспоминаю: съежившимся на скамейке посреди восьми проезжих дорог, осознавшим, что

[он] не сумеет стать героем своей личной войны, машины ехали в [его] направлении и обратном, а [он] не мог выбрать путь. Не понимал, в какой стороне дом.

Захариассена убили, об этом сообщили в вечерних новостях, и Рийя успокоилась сразу же, словно щелкнул выключатель. Она просто вздохнула с облегчением, выдохнула из себя все прежнее безумие и вернулась к своему прежнему Я, к “настоящей” Рийе, избавленной от рожденного страхом двойника: вот она, готовая извиняться перед всеми за временное помешательство, функционирование в обычном режиме восстановлено, заверяла она всех, можете обо мне больше не беспокоиться. И вскоре мы, конечно же, беспокоиться перестали. Мы все, кроме Д Голдена, забыли про заряженный револьвер.

[Он] явился в Золотой дом во славе. Поднялся с заднего сиденья “даймлера”, умышленно выбранного в напоминание о том автомобиле, на котором все Голдены прикатили на Макдугал-стрит, чтобы вступить во владение новым домом. Шофер в ливрее распахнул дверь и опустил небольшую лесенку, чтобы стопы Д в туфлях на загнутых каблуках от Вальтера Штайгера, не

оступившись, сделали несколько шажочков до самой земли.

[Он] — нет! Настало время изменить местоимения и говорить попросту — “она, ее, о ней”, — итак, ладно, *она* была одета в длинное алое вечернее платье от Алайя, грива *ее* волос соблазнительно сверкала на солнце, у *нее* имелась при себе маленькая, украшенная драгоценными камнями сумочка “Муавад”. Итак, она явилась, разодетая, разящая наповал. Вручила водителю ключ от дома, чтобы он открыл перед ней дверь. Так Д Голден в последний раз вошла в дом своего отца — и впервые, должно быть, вошла как она, как настоящая, кем она была, как та, кем она всегда боялась оказаться, кого ей было так трудно выпустить на волю.

Нерон стоял на площадке парадной лестницы, по бокам от него Сумятица и Суматоха, в глазах у него полыхал огонь.

— Дети королей рождаются, чтобы убивать своих отцов, — сказал он. — К тому же этот наряд принадлежит моей жене.

Василиса Голден вышла и встала рядом с супругом.

— Так вот тот вор, которого я искала, — сказала она.

Д не поднимала глаз и не отвечала. Она грациозно прошла сквозь дом к французскому окну, а через него в Сад. О, как затрепетали тут занавески на окнах! Похоже, все жители Сада спешили подглядеть. Д, не обращая внимания на эту суету, прошла к той скамье, где однажды, много лет назад, сидел ее брат Петя, смешил детей своими побасенками. Там она уселась, с краденой сумочкой на коленях, сложила руки поверх сумочки — принадлежавшей Рийе — и закрыла глаза. В саду там и сям играли дети, их крики и смех — саундтрек к ее молчанию. Она никуда не спешила. Ждала.

Вито Тальябуэ, рогатый и брошенный супруг, вышел выразить ей сочувствие, приветствовать ее отвагу и сделать комплимент ее вкусу — и больше не знал, что сказать. Она грациозно склонила голову, принимая и приветствие, и комплимент и давая ему понять, что на этом аудиенция закончена. Барон Селинунтский попятился, словно в присутствии королевской особы, словно повернуться к ней спиной было бы нарушением протокола, и поскольку при этом он споткнулся о брошенный каким-то малышом разноцветный трехколесный велосипед, то как раз добавил звонкую ноту буффонады к черес-

чур торжественной сцене. Губы Д изогнулись в легкой, но явно узнаваемой улыбке, а затем, спокойно и неспешно, она возобновила медитацию.

В фильме я бы перебил ее молчание стремительным эпизодом: Рийя приходит домой, обнаруживает, что ее одежный шкаф раскрыт, в нем все перерыто, пропала сумочка с оружием и на туалетном столике лежит записка, одинокий, сложенный пополам лист бумаги, и тогда Рийя выскакивает на улицу, стремительно бежит, ловит такси, ни одного нет, потом одно проезжает мимо и не останавливается, наконец удается поймать.

Когда ребятишки разошлись по домам поесть, или отдохнуть, или чем нынче дети занимаются перед тем или иным экраном, Д Голден открыла глаза, поднялась со скамейки саду и пошла.

И Рийя в такси, заклинающая водителя поторопиться, и он, огрызающийся: потише, леди, вы тут пассажирка, я за рулем, позвольте мне вести мой автомобиль. Она оседает на сиденье, закрывает глаза (перебивка, возвращаемся в Сад в тот момент, когда глаза открывает Д), и на заднем плане мы слышим голос Д, читающий предсмертную записку.

Д Годен (*з/к*):

Я делаю это не из-за проблем в моей собственной жизни, а потому, что с миром происходит что-то очень неправильное и для меня это стало невыносимо. Я не могу в точности это определить, но человеческий мир функционирует плохо. Люди равнодушны друг к другу. Люди недобры. Для меня это разочарование. Я — человек страстный, но уже не знаю, как достучаться хоть до кого-нибудь. Не знаю, как добиться, чтобы меня услышала ты, Рийя, хотя добрее тебя никого нет. В Ветхом завете Бог уничтожил город Содом, но я не Бог и не могу уничтожить Содом. Я могу лишь удалить себя с его карты. Если Адам и Ева появились на свет в саду Эдема, то вполне уместно, чтобы я, кто разом и Ева, и Адам, распростился с миром в Саду.

Мне представляется Морис Роне в фильме Луи Маля “Блуждающий огонек” (1963), как он перемещается по своему городу, Парижу, вооруженный пистолетом, разочарованный в человечестве, и самоубийство все ближе.

Она прошла Сад насквозь, медленно, церемонно, из конца в конец, и там, уже далеко от принадлежавшего Нерону дома, ее былого дома, под окнами дома, где прежде жила моя семья, она обернулась с величием королевы. Двинулась

обратно, остановилась на полпути, раскрыла сумку.

И поскольку это кино, в этот момент Рийя непременно должна распахнуть французское окно Золотого дома, выскочить, закричать.

Рийя:

Нет!

Теперь лица выглядывали из каждого окна. Обитатели Сада, забыв о приличиях, замерли каждый у своего окна, пораженные приближающимся кошмаром. После крика Рийи никто больше ничего не говорил, и у Рийи тоже закончились слова. Д Голден казалась в тот миг чем-то похожей на гладиатора, на воина, ждущего, вверх или вниз укажет перст императора. Но она сделалась своим собственным императором и уже вынесла себе приговор. Медленно, продуманно, облаченная в одиночество принятого решения, умиротворенная последней ясностью, она вытащила из украшенной драгоценными камнями сумочки пистолет с перламутровой рукоятью, прижала дуло к правому виску и выстрелила.

27

Греческий флот собирался плыть к Трое, чтобы вернуть неверную Елену, а потому требовалось задобрить гневную богиню Артемиду, иначе она бы не послала попутный ветер, а потому пришлось принести в жертву Ифигению, дочь Агамемнона, а потому ее горюющая мать Клитемнестра, сестра Елены, будет ждать возвращения супруга с войны и тогда убьет его, а потому их сын Орест отомстит за смерть отца, убив мать, а потому Эринии станут преследовать Ореста и так далее. Трагедия происходит, когда в человеческие дела вторгается нечто неумолимое, внешнее ли, как семейное проклятие, внутреннее ли (изъян характера) — в любом случае события следуют своим неизбежным путем. Но природе человека, по крайней мере отчасти, свойственно и оспаривать идею неизбежности, пусть даже в любом языке так часто звучат различные слова, означающие высшую силу трагедии — судьбу, кисмет, карму, рок. По крайней мере отчасти, человеческой природе свойственно утверждать человеческую волю и действие, верить, что вторжение случая в человеческие дела гораздо лучше

объясняет неудачу действия и воли, чем предвещенный и непоправимый ход самого сюжета. Античные наряды абсурда, идея бессмыслицы жизни для многих из нас были более привлекательным философским облачением, нежели мрачная мантия трагика — стоит надеть ее, она сама служит и свидетельством, и источником рока. Но иной аспект человеческой природы, столь же присущий противоречивому двуногому животному, как и противоположный, побуждает фаталистически принимать все как естественный порядок вещей и без жалоб разыгрывать те карты, что вам сдали. Две урны с человеческим прахом на столе у Нерона Голдена — трагическая неизбежность или ужасное, дважды случайное несчастье? И безумный Джокер во внешнем мире, свисающий с небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, жадные очи смотрят на Белый дом — он последствие невероятной цепочки непредсказуемых событий или продукт восьми и более лет публичного бесстыдства, чьим воплощением и апогеем он был? Трагедия или случай? И еще: оставались ли пути отступления для семьи и для страны, или умнее было бы перестать сопротивляться и принять свою участь?

Каждый день Нерон Голден часами сидел за

столом в одиночестве, смотрел на прах своих сыновей, требовал от них ответа. Чтобы смягчить его скорбь, Василиса приносила известия об успехах маленького Веспасиана, о первых шагах и словах, но старик оставался безутешен.

— Я смотрю на него, смотрю на Петю и гадаю, кто из них следующий, — сказал он.

Василиса на такое реагировала со всей решительностью:

— Что до моего сына, он в безопасности, — заявила она. — Я защищу его хоть ценой своей жизни, и он вырастет сильным, замечательным мужчиной.

Нерон глянул на нее снизу, сидя, в его взгляде мерцало не только неодобрение, но и слабость, бессилие даже.

— А мой Петя? — сказал он. — Его ты не защитишь?

Она подошла и коснулась ладонью его плеча.

— Думаю, кризис Пети уже позади, — сказала она. — Худшее произошло. А он все еще с нами, и ему станет лучше, он будет как прежний.

— Когда сыновья умирают раньше отца, — жаловался Нерон, — это все равно как ночь бы упала, пока еще светит солнце.

— В твоем доме светит новое солнце — прекрас-

ный юный принц, — твердила она ему. — Завтрашний твой день будет ясным.

Лето прошло. Окатывавшие жаром — неделя за неделей — волны откатились перед сумрачной влажностью. Город гудел обычным сентябрьским волшебством, наступала ежегодная осенняя реинкарнация, но Сучитра и я уехали в Теллурайд на кинофестиваль, наша серия интервью о классических моментах в кино превратилась в очень неплохой документальный фильм “Лучшие мгновения”: вполне известные личности обсуждали те сцены в кино, которые им больше всего полюбились — тут и Вернер Херцог, и Эмир Кустурица, Михаэль Ханеке, Джейн Кэмпион, Кэтрин Бигелоу, Дорис Дёрри, Дэвид Кроненберг, и одно из последних интервью, увы, теперь уже почившего Аббаса Киаростами, — а мы прошли конкурс и должны были показать свое творение на престижном празднестве в День труда в кинотеатре некоего города в горах Колорадо, того самого города, где Буч Кэссиди и Сандэнс Кид взяли первый банк, и благие (а также не очень благие) духи Чака Джонса и его чевтова кволика и наглой утки наблюдали за всеми нами. Даже там, в киноэдеме, разговор порой затрагивал умерших, в тот самый год, когда нас покинули Че-

ловек со звезды, Пурпурный, Охотник на оленей, Молодой Франкенштейн (“Фрааанкенштин!”), Р2Д2, Птичка на проводе и Величайший. Но у нас было кино — “Ла-Ла Ленд”, “Прибытие”, “Манчестер у моря”, — чтобы занять умы и глаза, так что смерть отошла на задний план, по крайней мере пока длился фестиваль, потому что реальная жизнь, как все мы прекрасно понимали, бессмертна, реальная жизнь — неумирающий сюжет, сияющий во тьме на серебристом экране.

Вернувшись в город, в состоянии изрядной эйфории в связи с отличным приемом нашего фильма в Теллурайде, я заглянул поприветствовать Нерона, подумывал также пригласить его в “Русскую чайную” на водку и блины, отблагодарить таким образом за алкоголическое попечение обо мне в ту пору, когда я осиротел. Признаюсь, я был чересчур восторжен и бодр после такого триумфа в Скалистых горах и, наверное, не очень-то старался нацепить уместно-скорбную мину, приближаясь к дому многих бедствий, но когда я вошел в резиденцию Голденов и застал великого Нерона в гостиной за чаем, поданным в лучших фарфоровых чашках, какие были в доме, и напротив него неумолчно болтающего апокалиптического вида бродягу, смахивавше-

го на Клауса Кински, причем Нерон, похоже, воспринимал его речи всерьез, я не сумел, признаюсь, сдержать смешок, ведь этот дешевый Фицкарральдо, нацепивший по такому случаю потрепанный цилиндр и шумно прихлебывавший чай из драгоценного мейсенского фарфора, смахивал также на Безумного Шляпника, а Нерон, напряженно подавшийся к нему, вполне годился на роль Мартовского Зайца.

Мой смешок побудил Кински распрямиться, и выражение его лица я, благодаря давнему знакомству с трудами Вудхауса, определил как “уязвлен до глубины души”.

— Я вас позабавил? — спросил он сурово, словно одна из грозных тетушек Берти Вустера.

Я отмахнулся — нет, нет, вовсе нет — и постарался лучше контролировать себя.

— В том, что я намерен поведать, нет ничего смешного, — прогремел Кински, вновь сосредотачивая все внимание на хозяине дома. — Сядем наземь и припомним предания о смерти королей[72].

Слова Шекспира причудливо прозвучали из уст американского бродяги, восседавшего на кресле

---

[72] Примечания: 72
У. Шекспир, “Король Лир”. Перевод М. Донского.

эпохи Луи XV и тянувшего лапсан из мейсенского фарфора — но что уж тут.

— Садись, Рене, — велел Нерон, подманивая меня жестом и указывая место на канапе. — Выпей чаю и послушай этого человека. Он очень умен.

В манерах Нерона проступала непривычная, пугающая любезность. Он улыбался, но это больше походило на оскал, чем на признак удовольствия. Голос его был мягок, но бархатная оболочка скрывала терзавшие старика мысли.

— Скоро придет беда, — заговорил внезапно Кински, и чашечка задрожала в его руке. — Горы зла воздвиглись выше небоскребов, и все пистолеты ожили. Я слышу, Америка вопиет: где же Бог? Но Бог полон ненависти, ибо вы отклонились от его путей. Америка! Ты! — тут он вдруг, как ни странно, ткнул пальцем прямо в Нерона. — Ты презрела Бога, и теперь он карает тебя.

— Я презрел Бога, и теперь он карает меня, — подхватил Нерон, и я, бросив взгляд в его сторону, увидел у него на глазах самые настоящие слезы.

Этот откровенный безбожник, настигнутый бедой, пригласил к себе в дом воняющего виски религиозного шарлатана и за чистую монету принимал эту несуразную эсхатологию. Я отсутствовал всего пять дней, подумал я, и вот,

вернулся домой — а мир сдвинулся с оси.

— Нерон! — позвал я. — Этот человек…

Но он взмахом руки остановил меня.

— Я хочу выслушать, — упрямо произнес он. — Выслушать все до конца.

Значит, из Рима нас занесло в Грецию, человек, принявший имя последнего из Юлиев-Клавдиев, теперь запутался в нью-йоркской версии “Царя Эдипа”, отчаянно жаждал ответов, и к нему уже явилась здешняя версия слепого Тиресия, прорицателя бед. Кински набирал обороты, но я слушал его монологи столько раз, что мне быстро наскучило и я отключился. И вдруг на пороге появилась Василиса — и мгновенно это прекратила.

— Хватит! — скомандовала она.

Ткнула пальцем в Кински и одним жестом остановила его, уничтожила. Словно из ее пальца исходил мощный луч, вроде того, каким в фантастическом сериале сражался Дарт Сидиус. Чашка в руках бродяги угрожающе накренилась, но он поставил ее, целехонькую, и нервозно вскочил на ноги.

— Как насчет парочки баксов? — хватило ему наглости спросить. — Как насчет гонорара?

— Убирайтесь, — ответила Василиса, — или мы вызовем полицию, и она разберется с вашим

гонораром.

Он смылся, а Василиса обернулась к Нерону и заговорила с ним, и та властная нота сестры Рэтчед, которая помогла ей спугнуть Кински, прозвучала вновь.

— Чтоб я больше этого не видела! — предупредила она.

Ого, подумал я. Мы пролетаем “над гнездом кукушки”.

До сих пор в своем повествовании я не отразил регулярные поездки Нерона Голдена в квартиру на Йорк-авеню, где он встречался с мадемуазель Лулу, проституткой, которую предпочитал всем прочим. Лично я бордель в жизни не видал и никому не платил за секс — возможно, это обстоятельство говорит в пользу моей моральной устойчивости, но также, противоречиво, о наивности и неведении, определенном недостатке в истории моего возмужания. Отсутствие опыта в данной сфере препятствовало моему воображению последовать за Нероном в этих поездках, подняться по каким-то там узким лесенкам, подсвеченным красными лампочками, в какой-то выложенный мягкими валиками и пропахший духами будуар — я знал, что эти приметы составляли обязательную часть его взрослой жизни, и до

встречи с нынешней женой Нерон порой непристойно распространялся о своих похождениях перед наиболее разнузданными сотоварищами по игре в покер, перед парочкой седых лисов, звавшихся Карлхайнц и Джамболонья или, возможно, Карл-Отто и Джамбаттиста, вечно я забываю — так или иначе, плейбои итальянского и германского разлива, ультраконсервативные в политике, представители государств Оси, восседавшие за столом в куртках из дубленой кожи и ярких галстуках, — у обоих при подозрительных обстоятельствах умерли богатые жены, оставив им состояние. Относительно того, стоит ли (с практической точки зрения) иметь дело с племенем девушек по вызову, они все придерживались единого мнения: такие свидания удобно вставить между важными встречами, нет необходимости запоминать их дни рождения, звать можно всех одним и тем же прозвищем — мадемуазель Джиджи, мадемуазель Настигаль, мадемуазель Бэбикейк или мадемуазель Лулу. Ведь те имена, какими называют себя девушки, в любом случае — псевдонимы. И — это, говоря языком рынка, их УТП, уникальное торговое предложение — за соответствующую цену они предоставят вам все что угодно и будут держать рот на замке. Прежде

в ночи покера Нерон и другие плейбои, Карл-Фридрих и Джансильвио, похвалялись сексуальными подвигами, на которые им удавалось подбить своих дам облегченной нравственности, и расписывали атлетическую силу, гимнастическую грацию, акробатическую гибкость облюбованных шлюх. Один лишь Нерон заговорил о мудрости своей усладительницы.

— Она — философ, — заявил он. — Я прихожу к ней за советом.

Карл-Теодор и Джамбенито отвечали ему блеющим смехом.

— И потрахаться! — громыхнули они в унисон.

— Да, и потрахаться, — согласился Нерон Голден. — Но философия только плюс.

— Расскажи нам, — вскричали они. — Поделись мудростью своей шлюхи.

— К примеру, — начал Нерон, — она говорит: “Я разрешаю тебе покупать мое тело, потому что вижу — ты не продал свою душу”.

— Это не мудрость, — возразил Джанлука. — Просто лесть.

— Она также рассуждает о мире, — продолжал Нерон, — и полагает, что нас ждет глобальная катастрофа и только из общего тотального краха родится новый порядок.

— Это не мудрость, — сказал Карл-Инго. — Это ленинизм.

И оба они рокочуще расхохотались и прикрикнули:

— Играй давай!

Теперь, в пору своего упадка — медленного ментального угасания — Нерон реже наведывался в город к избранной им леди. Но время от времени все же ездил, может быть, желая послушать ее нелегкой ценой приобретенные истины, точно так же, как готов был послушать Кински-бродяжку. После двойной утраты его окутал туман бессмысленности, и Нерон оглядывался растерянно по сторонам в поисках хоть какой-то возможности вернуть миру толк. Он все еще вполне хорошо функционировал, пока оставался среди знакомых. Он подружился с гаитянином, водителем лимузина, который носил андрогинное имя Клод-Мари, и платил этому профессиональному и умевшему хранить тайну шоферу зарплату, чтобы тот возил его с Макдугал-стрит на Йорк-авеню, где Нерон делал, что ему требовалось, и без осложнений возвращался домой. Однако в тот день, о котором я вынужден сейчас рассказать, Клод-Мари застрял в суде, шел ожесточенный бракоразводный процесс, и

он прислал вместо себя тетушку Мерседес-Бенц. Настоящее имя тетушки Бенц — креоло-французское — неизвестно; автомобильное прозвище, под которым ее знали теперь, было с почетом присвоено ей восхищенными родственниками. В свое время она была опытной и ловкой шоферицей, но в пору седых волос сделалась эксцентричной. Рулила она неровно, и к порогу мадемуазель Лулу Нерон прибыл несколько перетряхнутым.

— Привет, маленькая дурочка, — произнес он. Это было ее ласковое прозвище. — Вот и твой большой дурак.

— Ты грустный, — заметила она с притворным французским акцентом, который изображала, потому что ему нравилось. — Может быть, я тебя немножко проучу, и ты меня проучишь, и ты почувствуешь себя лучше *comme toujours*[73]?

— Мне нужно минутку посидеть, — сказал он. — Странный водитель. Я почувствовал, да, я почувствовал страх.

— У тебя на уме смерть, *cheri*, — сказала она. — Это вполне понятно. Дважды разбитое сердце долго залечивается.

Он не знал, кем она становилась за пределами

---

[73] Примечания: 73
Как всегда (*франц.*).

этой комнаты с красным диваном и золотой постелью, да и знать не хотел. Той, которая находилась внутри этой комнаты, для его нужд было достаточно. Ему требовались исповедники и философы. Секс в любом случае к тому времени сделался затруднительным, а теперь и вовсе утратил значение. Свет погас в старике, эрекция казалась полузабытым городом в покинутой им стране.

— Отчего все это случилось? — спрашивал он женщину. — Что это значит?

— Жизнь — дешевка, — отвечала она. — Ты сам так сказал — ты мне об этом рассказывал — мистеру Горбачеву.

— Я сказал, что так думают русские. Но я стар, а потому жизнь неизбежно становится драгоценной, разве не так?

— Парнишку застрелили — он продавал сигареты на улице — пиф-паф! Девчонку застрелили — играла с пластмассовым пистолетом на детской площадке — пиф-паф! Шестьдесят человек убили в Чикаго в День независимости — бах-бах-бах! Богатенький мальчик убил отца, потому что тот урезал ему карманные расходы — вжик! Девушка в отплясывающей под музыку толпе велела незнакомцу отодвинуться, не тереться об

ее задницу, и он выпалил ей в лицо — *получай, сука, сдохни!* Это я еще до Западного побережья не добралась. *Tu comprends*[74]?

— Насилие повсюду. Это мне известно. Однако вопрос ценности остается.

— Хочешь сказать, ты делаешь исключение для себя и любимых. Их следует поместить в магический круг, чтобы ужасы мира не могли их коснуться, а если такое случится — это в реальности какой-то изъян.

— Некрасиво так говорить. Ты ничего не понимаешь.

— Я каждый день ближе к смерти, чем ты, старик, а ты ведь очень стар, — ответила она, с нежностью его обнимая. — И я твоя дурочка, твой шут, я говорю тебе правду.

— Уж поверь! — возразил он. — Мне о смерти известно больше, чем тебе. Это жизнь я никак не могу ухватить.

— Лучше позволь мне ухватить вот это, — предложила она и тем самым сменила тему.

Когда их сеанс закончился, появились новые проблемы: тетушка Мерседес-Бенц в поле зрения не обнаружилась. Позднее выяснилось, что она

---

[74] Примечания: 74
Ты понимаешь? (*франц.*).

припарковалась за углом, а наушник, соединявший ее ухо с телефоном, выпал, и потому шоферица не услышала звонка. В панике Нерон позвонил в дверь мадемуазель Лулу, он был совершенно растерян, не мог совладать с ситуацией. Лулу пришлось спуститься, остановить желтое такси и сесть в машину вместе с любовником, отвезти его домой. Его все еще трясло, даже когда они добрались до Макдугал-стрит, так что Лулу со вздохом вышла из машины, помогла ему вылезти и нажала кнопку звонка. Мадемуазель Лулу была высокая, замечательной внешности женщина из мест, которые она предпочитала именовать “*L’Indochine*”[75].

[75] Примечания: 75
Индокитай (*франц.*).

28

В пьесе Сомерсета Моэма “Шеппи” Смерть повествует:

“Жил-был в Багдаде купец, который послал слугу на базар купить припасов, и вскоре слуга возвратился, дрожащий и бледный, и сказал: «Хозяин, только что, на рынке, в толпе меня толкнула женщина, я обернулся и увидел, что это Смерть пихнула меня. Она посмотрела на меня и сделала угрожающий жест. А теперь дай мне коня, я умчусь из этого города и спасусь от своей судьбы. Поеду в Самарру, там Смерть не найдет меня». Купец одолжил коня, и слуга вскочил в седло, и вонзил шпоры в бока своего скакуна, и конь помчался быстрейшим, каким только мог, галопом. А купец меж тем сам пошел на рынок и увидал меня в толпе, и приблизился ко мне, и спросил: «Зачем ты погрозила моему слуге, увидев его нынче утром?» — «Не грозила я ему, — ответила я, — лишь взмахнула рукой от удивления. Изумилась, увидев его в Багдаде, потому что у нас с ним назначена встреча нынче вечером в Самарре».”

Думаю, все мы чувствовали: скоро произойдет

еще одна смерть. В те завершающие недели я редко видел Петю, наверное, никто его толком и не видел, кроме австралийца, но я уверен: он тоже это знал, он видел, как Смерть грозила ему на рыночной площади, и в отчаянии пытался ее избежать, вскочить на заемного коня и галопом мчаться в Самарру, думал, что так он спасется от того, к чему на самом деле устремился навстречу. Последний из трех младших Голденов, которые явились вместе с отцом в Америку, излучая княжеское величие, могущественную иноземность — смерть братьев послужила для него стимулом выжить, — он прилагал невероятные усилия, стараясь вернуть свою жизнь в нормальную колею, повернуться спиной к Смерти, лицом к жизни.

Кошка — это была идея Нерона. Где-то он слышал, выудил совет откуда-то из неумолчной болтовни информационной мультивселенной, что кошачья компания взрослым аутистам на пользу, и убедил себя, что такой питомец послужит Пете во спасение. Сумятица и Суматоха добросовестно демонстрировали Нерону интернетные фотографии доступных прямо сейчас кисок, и при виде белой альпийской рыси он хлопнул в ладоши и постановил:

— Вот эту!

Сумятица и Суматоха попытались ему объяснить, что альпийская рысь — дикое животное, а не домашний питомец, не лучше ли подобрать Пете хорошенького упитанного ленивого длинношерстного шоколадного или голубого перса, предлагали они, однако он был непреклонен — в этой своей новой, смутной манере, — и они сдались, поехали в город в зоомагазин и привезли домой чудище. Оказалось, Нерон хорошо знал своего сына. Петя сразу же влюбился, назвал кошку Лео, хотя это была именно кошка, прижал ее к груди и скрылся вместе с ней за дверью залитой синим светом комнаты. Эта кошка могла подпрыгнуть и поймать птицу на лету, ее мурлыканье было подобно реву, и каким-то образом, чутьем лесного зверя, она отыскала путь сквозь джунгли внутренних терзаний Пети к лучшему в его сердце местечку. По ночам, когда затихал дом и только призраки умерших бродили по коридорам, кошка тихо пела Пете на ухо и возвращала ему утраченное — благословенный дар сна.

Мир за пределами дома с привидениями все более сближался с ложью. Там, вне дома, наставал мир Джокера, мир того, во что превращалась американская реальность, то есть разновидность радикальной неправды: пошлость, ханжество и

вульгарность, насилие, паранойя, а с высоты на все это бросало взгляд существо с белой кожей, зелеными волосами и яркими, ярко-красными губами. Внутри Золотого дома думали о другом — о хрупкости жизни, о небрежной внезапности смерти и медленном, роковом возвращении прошлого. Порой ночами Нерона замечали в темноте у двери в комнату его первородного сына — склонив голову, сложив руки в позе, которую могли бы — не будь всем столь твердо известно, что он неверующий — принять за молитвенную. Могли бы принять за отцовскую мольбу, обращенную к сыну: *только не ты — живи, живи.*

Мы не знали, откуда придет смерть. Не догадывались, что она уже, по крайней мере однажды, побывала в доме.

Отойдя от запертой двери, Нерон отправлялся обратно в свой кабинет, вынимал из футляра скрипку Гуаданини и играл “Чакону” Баха. По ту сторону закрытой двери за Петей присматривала его рысь, и выпивку он немного — но лишь немного — сократил. И он больше не вскрикивал страдальчески во сне.

Тяжбу с Соттовоче удалось вдруг завершить примирением, заплатив всего четверть от первоначально предъявленной суммы. Фрэнки

Соттовоче чувствовал себя плохо. Что-то с сердцем, аритмия, а под медицинским диагнозом скрывалась еще и душевная боль. Искра в его глазах померкла, вместо резкого размаха рук — слабое похлопывание. Смерть Убы нанесла ему тяжелый удар. Он, похоже, втайне питал к ней слабость, но, видя ее серьезное увлечение Апу, предпочел не раскрывать свои чувства. Удивительная сдержанность для человека, проводившего жизнь в тепличном — все знают всех — мире искусства, экстраверта, излучавшего добродушие: оказывается, у галериста имелась тайная, зачастую одинокая частная жизнь, женат он был недолго, бездетный брак давно распался, и он поселился в чересчур дорогом сьюте отеля “Мерсер”, заказывал себе еду в номер всякий раз, когда его присутствие не требовалось на каком-нибудь художественном мероприятии. Дружелюбный от природы, он все же имел мало друзей. Как-то раз в Саду он разговорился с Вито Тальябуэ об отце Вито, о многолетнем заключении Биаджио в гранд-отеле “Дес Пальмес” в Палермо.

— Твой бедолага-отец скончался в одиночестве, его нашел не кто-то из близких, а служащий гостиницы, — сказал он. — Такая же судьба ждет и

меня. Принесут мне бургер и стакан красного вина и увидят, что опоздали с последней трапезой.

Прежнее тайное чувство к Убе всецело овладело им теперь, когда ее не стало. Но когда жажда мщения отступила, Фрэнки признал, что загубленные работы были адекватно застрахованы и что многомиллионный иск против Голденов был порожден бушевавшими в нем эмоциями.

— Теперь мне все равно, — сказал он своим адвокатам. — Давайте покончим с этим.

В ту пору я видел его лишь однажды, когда в “Гладстоне” открывалась выставка Мэтью Барни, и был поражен произошедшей в нем переменой, бледностью, изнуренностью.

— Рад вас видеть, молодой человек, — приветствовал он меня, слегка помахав рукой. — Приятно знать, что есть еще среди нас люди, у кого бензина под завязку и скорость сто миль в час.

Я сообразил, что он говорит о самом себе — о том, что его бак с горючим пуст, на дне сухо, и если он еще движется, то по инерции. Я попытался затронуть тему, которой он избегал.

— Она была замечательным человеком! — сказал я.

Он рассердился, но тоже на новый свой лад, бессильно.

— Что с того? — сказал он. — Ничего необычного в смерти нет, это все проделывают. Искусство — да, необычно, им почти никто не занимается. А мертвые попросту мертвы.

Завершилось судебное разбирательство, закончились и принудительные общественные работы. Освободившись и от этой докуки, Петя явно и решительно ожил. Он вышел из своей комнаты в сопровождении терапевта Летта, левой рукой прижимая к себе и баюкая кошку, и, обнаружив отца на посту жалостливой любви, опустил правую руку на плечо Нерона, уверенно поглядел отцу в глаза и произнес:

— У нас все будет хорошо.

Он повторил эту фразу тридцать семь раз, словно репостил собственный твит. Словно повтор придавал ей силу истины. Словно Тень можно было изгнать, многократно присягнув на верность Свету. Я оказался там в тот день, потому что после большого перерыва Петя послал мне сообщение с просьбой прийти. Ему требовались свидетели, именно такова, как я к тому времени уже понимал, была моя роль в истории Голденов. Или такова она была, пока в постели Василисы я не пересек границу, отделяющую репортера от участника боевых действий. Подобно журнали-

сту, бросившему из окопа гранату, я стал теперь тоже бойцом и потом, как любой боец, — законной мишенью.

— Здорово, красавчик! — приветствовал меня Петя. — По-прежнему самый великолепный мужчина на свете.

Что-то в тех позах, в каких мы оказались в тот день вокруг Пети, напомнило мне картины старых мастеров, скорее всего, “Ночной дозор”: нас заливал золотой рембрандтовский свет, тени были прозрачны, и мы чувствовали, или же мне воображалось, будто мы чувствуем себя стражами вступившего в сражение мира. Петя со своей альпийской рысью и заботливым австралийцем, его нахмуренный отец, его широкая кривая ухмылка. А по углам, у самой рамы — прислуга. Только ли я один из всех, присутствовавших в тот день в Золотом доме, услышал шорох роковых крыл, упредительные вздохи смущенного гробовщика, медленное падение занавеса под конец спектакля? Теперь я пишу наперегонки со временем, мои слова почти не отстают от людей, о которых они повествуют, пишу параллельно, заканчивая сценарий о Голденах, свой вымысел об этих людях, самих себя превращавших в вымысел, и эти вымыслы проникают друг в друга,

сливаются, так что я уже не уверен, что реально, а что сочинено мной. В том, что я называю *реальным,* я не верю в призраков и ангелов смерти, но они так и прорываются в то, что я изобретаю, словно толпа безбилетников, вышибающая ворота стадиона в день финального матча. Я сижу на линии разлома между своим внешним миром и миром внутренним, раскинув ноги по ту и другую сторону всепроникающей трещины, и надеюсь, что хоть какой-то свет еще проникнет сюда.

В доме в том месяце время словно замерзло, время ожидания, персонажи застыли в загустевших красках на картине, приняли ту или иную позу и не могли сдвинуться. Снаружи, на улицах, чума джокеров, безумные клоуны, рты как рана, пугали детей — они или их фантомы? Очень немногие жители города утверждали, что воочию видели в ту осень коварного клоуна, однако сообщения о нем приходили отовсюду, сообщения надевали пугающие парики, слухи околачивались на улицах, хихикая, хищно сгибая пальцы на обеих руках, вереща про последние времена, остаток дней. Призрачные клоуны ирреальной реальности. Эсхатологическое безумие устремилось к урнам для голосования, Джокер орал на свое отражение в зеркале, насильник протестовал

против насилия, пропагандист обвинял весь мир в пропаганде, хулиган жаловался, что его запугивают, урод тыкал кривым пальцем в свою соперницу и ее называл уродкой, детская забава превратилась в национальное позорище — а-ты-сам-кто-такой-сама-такая, — а часы тикали, уходили дни, здравомыслие Америки вступило в бой с ее деменцией, люди вроде меня, не признававшие суеверий, бродили теперь, не вынимая из карманов рук, скрестив наудачу пальцы.

А в итоге — после всего — вот он, ужасный клоун.

После долгого периода отчуждения Василиса решила со мной поговорить. Она вывела меня в Сад, подальше от насторожившихся ушей. Непривычная властная нота в ее голосе подсказала мне, что Василиса все еще играет роль старшей медсестры в сумасшедшем доме, все еще демонстрирует, что рулит здесь она.

— Он уже не тот, каким был, — сказала она. — Мне приходится к этому привыкать. Но он отец моего ребенка!

И это мне в лицо, глядя мне прямо в зрачки. У меня дух занялся от такой наглости, потемнело в глазах.

— Попробуй оспорить это, — сказала она, под-

нимая руку (я и слова не успел вымолвить), — и я сделаю так, чтобы тебя убили. Даже не сомневайся: я знаю, к кому обратиться.

Я повернулся, хотел уйти.

— Стой, — сказала она. — Не так я планировала наш разговор. Я хочу сказать: мне требуется твоя помощь с ним.

Тут я громко расхохотался.

— Ты и в самом деле поразительный человек, — сказал я. — Если ты и вправду человек. Две эти реплики подряд из твоих уст — это ошеломляет, должен признать. Но это нисколько не подтверждает твою принадлежность к человечеству.

— Я понимаю, между нами не все гладко, — ответила она. — Однако Нерон в этом не виноват, и я прошу тебя ради него. Ради его скорби и ради его угасающего разума. Угасание медленное, лекарства помогают, и все же неизбежное. Постепенный процесс. Я боюсь за него. Он сбивается с пути. Нужно, чтобы кто-то его сопровождал. Даже когда едет к этой женщине, я хочу, чтобы ты ездил с ним. Он ищет ответы. Жизнь превратилась в муку, и он ищет разгадку ее тайны. Я не хочу, чтобы разгадку он обрел в ее объятьях.

— Я не могу это делать, — возразил я. — Я собираюсь снимать фильм. Очень занят.

— Ты не хочешь это делать, — уточнила она. — Вот что ты мне пытаешься сказать. Ты стал эгоистом.

— У тебя полно других ресурсов, — сказал я. — Много людей в твоем распоряжении. Используй их. Я у тебя на службе не состою.

Я говорил резко. Не желал, чтобы она мной командовала.

Она была в длинном белом платье, туго обтягивавшем бюст, а ниже талии свободном, воротник — высокие кружевные брыжи. Когда она прислонилась к дереву, мне сразу же припомнилась Эльвира Мадиган, заглавная героиня прекрасного фильма Бу Видерберга, обреченная любовница, идущая по натянутому в лесу канату. Она закрыла глаза и молвила голосом не громче вздоха:

— Все так сложно, — сказала она. — Семейная фамилия — не фамилия. Мадемуазель Лулу — не мадемуазель Лулу. Может, и я не я, а женщина, изображающая мою мать — неизвестная, которую я наняла играть эту роль. Понимаешь, о чем я? Нет ничего реального.

Обрывочные мысли; я видел, как под маской самоконтроля и она борется со смятением.

— Только мое дитя реально, — сказала она, — и благодаря ему я тоже доберусь в конце концов до

чего-то реального.

Тут она покачала головой.

— До тех пор все вокруг — представление, — сказала она. — Может быть, и ты тоже. Ты превратился в какого-то исповедника при этой семье, но ты же не священник, кто ты на самом деле, чего ты хочешь, наверное, мне пора насторожиться, может, ты-то и есть иуда.

После этих слов она расхохоталась.

— Извини, — произнесла небрежно, уже отступая от меня. — Все мы на нервах. Потом пойдет на лад. Давай, иди, живи со своей девчонкой, которая ничего ни о чем не знает, и так-то оно лучше.

Это, разумеется, была очередная угроза, подумал я, глядя вслед Василисе. Вряд ли она “сделает так, чтобы меня убили”, но если понадобится, она разрушит наше с Сучитрой счастье, сообщив Сучитре, что я натворил. Тут я понял, что должен — любой ценой — рассказать Сучитре сам. Надо найти в себе мужество сказать правду и надеяться, что наша любовь достаточно сильна и переживет даже это.

Эльвира Мадиган, подумал я, тоже псевдоним. Злосчастную датскую канатоходку звали иначе: Хедвиг Йенсен, вот кем она была на самом деле.

Самое заурядное имя в тех краях.

Да, меня затащило в голденовский мир фейков, и только истина могла сделать меня свободным.

Лео стала для Пети чем-то вроде волшебного перышка для Дамбо. С рысью на руках он вновь превратился в того блистательного и необычного гения, какого мы знали изначально, прогуливался в саду, громко разговаривая с каждым, кто желал его слушать, и смеша детей. Стояла теплая осень, удивительно прекрасная погода для этой поры безумия, так что плащ Петя оставлял в шкафу, зато вокруг его шеи небрежно обматывался полосатый, как радуга, шарф, и его собрание нелепых костюмов совершало парад: кремового цвета костюм с широкими лацканами, в котором он впервые предстал перед нами, ирландский зеленый, с жилеткой, когда он становился проводником для духа Оскара Уайльда — двубортный шоколадный, оттенка горького шоколада в широкую млечно-шоколадную клетку. В одной руке миксер для коктейлей, в другой стакан мартини, и под рукой на скамье, тоже как прежде, банка с оливками. Но теперь рядом с банкой оливок лежал айпад, и детки кружили, притягиваясь к нему, словно планеты к Солнцу, и Петя показывал им, предлагая опробовать, бета-версии

последних своих игр. Теперь вместо рассказов у него имелись игры, и дети радостно залипали в них, отправляясь в миры-внутри-его-головы. На несколько прекрасных дней мысли о смерти отодвинулись, и яркая книга жизни открылась на новой странице.

— Ты ведь сознаешь, — сказала мне Сучитра, — что этот фильм стал фильмом о тебе, что все мальчики Голден — аспекты твоей собственной души?

— Да нет же, — запротестовал я.

— В хорошем смысле, — уточнила она. — Тем самым фильм будет личным свидетельством. Все персонажи и есть автор. Как у Флобера: *Madame Bovary, c'est moi*[76].

— Но я не художник, — спорил я, — не терзаюсь гендерным конфликтом, не аутист, не авантюристка из России, не одинокий клонящийся к могиле старик.

Я не посмел добавить "и не дитя", потому что в ребенке, разумеется, как раз была часть меня — пятьдесят процентов. Немалая часть. Огромная часть меня за пределами досягаемости. Вина и тайна, в которых я до сих не собрался с мужеством

---

[76] Примечания: 76
Госпожа Бовари — это я (*франц.*).

признаться.

Мы сидели в редакторском отделе студии на Западной Двадцать девятой улице, и с мониторов, неподвижно замерев, на нас глядела Бэтменша. Завершающая стадия работы над четвертым и последним Бэт-роликом. Джокер готовит мятеж, желая уничтожить американскую демократию. На забитом битком стадионе "Метлайф" толпища безумных клоунов истошно воет, задрав морды к небесам. Что может сделать в такой ситуации одна-единственная, пусть и отчаянная, женщина — Летучая Мышь? А это уж зависит от вас. *Голосуйте за первую Бэт-президентшу Соединенных Штатов. Выборы — это не шутка.*

— Их вопросы ты носишь в себе, куда бы ты ни шел. Главный вопрос Апу, ты помнишь, что говорил тебе его отец? Необходима ли глубина или же можно всю жизнь скользить по поверхности? На этот вопрос тебе тоже придется ответить. Д Голден — это его отец тоже понимал — весь двойственность и боль. И я чувствую это в тебе, какую-то двойственность, чувствую твою боль. Что же касается Пети — он замкнут в себе, не может бежать от своей натуры, хотя ему бы так хотелось свободы. Вероятно, его игры, те игры, что он изобретает, и есть его свобода. В них он

избавляется от страха. Может быть, и тебе нужно отыскать такое место. Слишком долго ты простоял на пороге, возможно, теперь настает пора и тебе войти в эту дверь. А старик…

— Хочешь сказать, я и на него похож? Он все-таки чудовище, даже сейчас, в дряхлости.

— Он погружен в трагедию, и ты тоже. Он потерял сыновей, ты — родителей. Горе сформировало тебя и отделило от других людей. Вот что я думаю.

— Мы с тобой ссоримся? — спросил я. Ее слова ощущались как удар.

— Нет! — она широко распахнула глаза, она и правда так не думала. — С чего ты взял? Я просто говорю тебе то, что вижу.

— Ты слишком со мной сурова.

— Просто вижу, кем ты можешь стать, и хочу, чтобы ты тоже это увидел. Чтобы ты искал глубину. Совладал со своей трагедией. Обрел свободу. Преодолел двойственность, в чем бы она ни заключалась. Может быть, это насчет меня ты не совсем уверен?

Надо рассказать ей о ребенке, думал я. *Вот из-за чего я замыкаюсь от нее.*

— Нет, — сказал я вслух. — Насчет тебя я уверен. Полностью уверен. Тут никакой двойственности.

— Хорошо, — сказала она, закрывая тему, и широко, щедро улыбнулась. — Отлично. Заканчиваем с Бэтменшей.

— Бах! Трах! Бум! — Получай, Хихи-придурок! — Ой! Нечестно! Почему все против меня! Ойййй! Это подстава! Все лгут! Только клоун говорит правду! — Ба-бах! — Уй!

29

Однажды ночью, вскоре после самоубийства Д Голдена, события, которое пробило черную дыру в райском саду каждого из нас, Рийя Захариассен, именующая себя Рийя З., проснулась посреди кошмара и обнаружила, что ее картина мира обратилась в труху. Целиком свой сон она припомнить не сумела, но была почти уверена, что несла ценнейшую картину в какой-то прекрасный музей, уронила ее, рама сломалась, стекло разбилось, а сама она как-то ухитрилась наступить ногой на полотно, хотя, возможно, этот сюжет был навеян кинофильмом, ведь сны — скользкие, словно угри. Когда она проснулась, сон как таковой утратил значение, однако она поняла, что эта картина вмещала все ее мысли о том, как она представляла себе устройство мира, это была ее реальность, а теперь картина уничтожена, и того гляди кто-то придет, отыщет ее, обвинит в утрате этой картины, и тогда ее уволят.

Человеку вроде меня, то есть неверующему, трудно постичь тот момент, когда в сердце умирает вера. Коленопреклоненный вдруг внезапно

осознает, что нет смысла молиться: никто не слушает. Или же попросту определенность постепенно размывается, пока сомнение одолеет надежду: человек все идет и идет вдоль реки, но засуха ее выпивает, и однажды остается лишь сухое русло, и нет воды, чтобы утолить жажду. Представить себе все это я могу, но не могу прочувствовать, разве что — как конец любви. Просыпаешься однажды утром, смотришь на того, кто спит возле тебя, тихонько посапывая. Привычный, до той минуты любимый храп — и вдруг думаешь: я больше не люблю ни тебя, ни твой храп. В “Деяниях апостолов” с глаз Савла спадают бельма — или что-то похожее, “с его глаз спали как бы бельма”, говорится в переводе Библии короля Якова — это были бельма неверия, избавившись от них, он обрел ясность зрения и был незамедлительно крещен. Однако этот образ можно развернуть и в другую сторону: что-то вроде бельм спало с глаз Рийи, и она ясно увидела, что ее реальность была неподлинной, была иллюзией. Ближе я подобраться к этой теме не смогу.

Она лежала очень тихо вплотную к пустой половине постели, которую прежде занимал ее возлюбленный. Рийя терпеть не могла бир-

кенстоки, в которые вопреки ее протестам Д переобувался дома, но теперь рука не поднималась убрать сандалии с привычного места у другого края кровати. Оба они были настолько старомодны, что сохранили стационарный телефон, никогда не тревоживший их звонком. На автоответчике записали голос Д: “Это Рийя и Д, а вы кто?” — Рийя никак не решалась стереть запись. Если очень тихо лежать и отключить мысли, почти удавалось поверить, что сейчас он выйдет из ванны и заберется под одеяло. Но отключить мысли не получалось, и она знала, что он не вернется. С ней вот что случилось: она уже не думала так, как думала прежде или думала, что думает. Она понятия не имела, как и что ей теперь думать.

Рийя в суровом трауре почему-то напоминала мне Вайнону Райдер, не чокнутую юную готку из “Битлджуса”[77], танцующую в воздухе под славную музычку Белафонте, так что контуры тела расплываются, но скорее Вайнону из “Эпохи

[77] Примечания: 77

“Битлджус” (1989) — фильм ужасов. Лидия Дитц, роль которой исполняет Вайнона Райдер, — девушка, общающаяся с привидениями.

невинности”[78], очень собранную и отнюдь не столь невинную, как может показаться с виду. В фильме Скорцезе — признаюсь, роман Эдит Уортон я не читал — Мишель Пфайфер играет женщину, отринувшую условности, устремившуюся к новой, современной жизни — и горько за это поплатившуюся: безмятежно-консервативная Вайнона Райдер ее обвела. Но если бы, напротив, героиня Вайноны Райдер поддалась зову новой жизни — и тогда в какой-то момент она бы утратила свойственное ей понимание, как мир устроен и как следует быть, — такой Вайнона тоже могла бы стать в том фильме. И такой стала Рийя, переписанная мной Вайнона, более растерянная, опустошенная, чем когда-либо случалось оригиналу, посреди открытого моря и без спасательного пояса.

Новым идеям непросто войти в мир. Новые представления о мужчинах и женщинах и о том, сколь много людей оказались между этими двумя определениями и нуждаются в новом словаре, который описал бы их и придал бы им видимость, придал бы возможность и дозволенность их существованию — эти идеи многие добрые

[78] Примечания: 78

“Эпоха невинности” (1993) — кинодрама по роману Эдит Уортон, описывающему светскую жизнь Нью-Йорка в начале XX века.

люди развивали и отстаивали из самых лучших побуждений. А другие не менее славные люди, блистательные умы, та же Рийя З., приняли новый образ мыслей, усвоили его и трудились изо всех сил, внедряя эти идеи и добиваясь, чтобы они стали частью нового пути, которым пойдет мир.

Но однажды ночью Рийя открыла глаза и поняла, что мысли ее переменились.

Черновики уведомления Рийи Захариассен о намерении уволиться из Музея Идентичности (не отосланы)

Уважаемый вставить имя начальника,

Настоящим уведомляю вас, что в соответствии с и в связи с и в той мере, в какой мои обязательства по контракту и после полного исполнения моих обязанностей и учитывая дату завершения и после вычета неиспользованных дней отпуска. И концы с концами и после передачи полномочий и с благодарностью за и с признательностью за и с надеждой на и так далее. В результате радикальной переоценки и эволюции мировоззрения, приведшей к несовместимости моей нынешней должности с. Поскольку моя отставка наилучшим образом отвечает интересам музея.

Искренне ваша, конец.

Или:

Девочкой, в Миннесоте, когда я только начала думать о том, как вести этичную жизнь, я интересовалась Индией, столь важной частью моего личного наследия, и задавала себе вопрос, кто в Индии наиболее страдает от несправедливости, и к восьми годам я пришла к ответу: козы. Коровы священны, а коз убивают на мясо, и всем наплевать. Я решила посвятить свою жизнь защите и спасению этих нелюбимых блеющих созданий. Потом я выросла и, разумеется, переменилась, но главное осталось: искать то, что нуждается в моей одержимой любви и посвящать себя этому без оглядки. После коз были и другие ранние страсти: контроль рождаемости, аутоиммунные заболевания, нарушения пищевого поведения, недостаток воды. Взросление мое совпало с зарей Века идентичности, споры, проблемы, инновации в этой области и вокруг нее убедили меня, что я обрела свое призвание, и когда представилась возможность работать в музее, словно бы сбылась наяву заветная мечта, и так мне казалось каждый день вплоть до сегодняшнего. Однако я вынуждена признаться вам в изъяне обсессивно-компульсивного склада ума. Может случиться так, что однажды, проснувшись, ты понимаешь:

знаете, а я перестал так уж переживать по этому поводу. Больше это не мое дело. Обожаемые козы, кондомы, булимия, вода — все, вы больше не мое дело. И так теперь произошло у меня с идентичностью. Пройденный этап. Всего доброго.

Или:

Мне нужно хорошенько подумать, а в городе очень шумно.

Или:

Я признаю себя множественной цельностью. Я — дочь моего застреленного страдавшего психозом отца. Я оплакиваю мою погибшую любовь. Альтернативно — я могу отнести себя к племени тощих людей. Сверх того или вопреки этому я — ученый. А также я темноволосая. У меня есть такие-то взгляды и нет этаких. Я могу определить себя множеством разных способов. Но вот чем я не могу быть: я не могу быть чем-то одним. Я содержу в себе множества. Я сама себе противоречу? Очень хорошо, противоречу сама себе. Быть множественной, быть многообразной — это и есть нечто уникальное, изобильное, необычное, и это — я. Втискиваться в узкие определения — это и есть ложь. И когда нам говорят, что, если

не можешь быть чем-то одним, ты вообще ничто, — нам говорят ложь.

Музей идентичности чересчур увлекся этой ложью. Больше я не смогу здесь работать.

Или:

Мне видится, что идентичность в современном смысле — национальная, расовая, сексуальная, политизированная, вызывающая ожесточенные споры — превратилась в набор мировоззрений, и некоторые из них подтолкнули Д Голдена к смерти. Истина же заключается в том, что собственная идентичность никому не может быть вполне ясна, и пусть бы так это и оставалось, пусть Я и впредь будет мешаниной и путаницей, будет противоречивым, взаимоисключающим. Может быть, Д в конце концов попросту был мужчиной с некоторыми женскими наклонностями, и [ему] следовало остановиться на этом, не надо было мне и таким, как я, подталкивать его к переходу. Подталкивали к превращению в женщину, а [он] не мог ни вполне отвергнуть это, ни, в конце концов, снести. Подталкивали [его] к смерти такие люди, как я, кто позволил новой концепции реальности взять верх над самой древней концепцией: любовью.

Д рассказывал мне о бомбейском хиджре, который дома одевался по-мужски да и был мужчиной для своих отца с матерью, а выходя из дома, она переодевалась и становилась женщиной. И пусть бы так. Гибкость имеет право на существование. Пусть господствует любовь, а не догмы о человеческом Я.

Я готова была пройти с Д через все [его] перемены и оставаться с [ним], когда они завершатся. Я была [его] возлюбленной, пока [он] был мужчиной, и собиралась остаться ее возлюбленной во время перехода и потом ее нового Я. Что это говорит мне обо мне, о природе человека, о реальности превыше догмы? Мне это говорит, что любовь важнее гендера, важнее определений, важнее Я. Вот что я узнала. Теория идентичности, и конкретно гендерной идентичности, сужает человеческую природу, а любовь указывает нам, насколько мы умеем быть широки. В честь моего умершего возлюбленного я отвергаю политику идентичности и принимаю политику любви.

Вот что ответил философ Бертран Рассел на вопрос, какой совет он бы хотел дать грядущим поколениям. Он сказал: “Любовь мудра”. Но я понимаю, сейчас времена борьбы. И если надо вступить в битву, то — пусть начнется.

Окончательное письмо

Дорогой Орландо!

Как я только что сообщила вам с глазу на глаз в вашем кабинете, я вынуждена уволиться. Мне трудно объяснить причины этого, решение далось нелегко, и я готова сесть и проговорить его с вами подробнее, если вы того желаете. Может быть, вы правы, и я переживаю острую реакцию скорби, из-за чего мои мысли путаются, и я смогу лучше осмыслить все это спустя какое-то время, после того как опла́чу и осознаю случившееся, и с вашей стороны было очень любезно предложить мне оплатить психолога и предоставить длительный отпуск, но я считаю, что мне лучше уйти. Спасибо за все. Всего наилучшего.

Рийя

На страницах в ее соцсетях немедленно разразилась буря (человеку вроде меня, отставшему от своего поколения и от поколения, непосредственно за ним следующего, невольно приходит на ум вопрос: а зачем размещать у себя такой материал? Зачем извещать орду чужаков о том, что ты проходишь мучительный и сугубо личный процесс переоценки своих аксиом? Но я понимаю, что об этом теперь странно и спрашивать). Со всех сторон незримое войско электронной

вселенной атаковало ее; анонимы с чистыми сердцами, совершенно не осознавая собственного ханжества, отстаивали уверенность в своей идентичности, скрываясь под масками фальшивых имен. “Что же ты теперь скажешь о белых женщинах, которые на Хеллоуин одеваются как индейские принцессы? Какую позицию вы занимаете по отношению к блэкфейсу? Должно быть, вам это по нутру?” “Так вы теперь не только ТЭРФ, но и СРЭРФ[79]. А может, и вовсе больше не РФ. Кто вы и что? Или вы — никто?” И потоки грязной брани. И снова, и снова: удалите свой аккаунт. Неодобрение выражали не только посторонние, но и друзья, не только те чрезвычайно уверенные в себе гендерно-политические круги, в которых она столь комфортно себя чувствовала на протяжении многих лет — теперь они обвиняли ее в предательстве, — но и мир инди-моды, где она была чем-то вроде восходящей звезды, и часть былых коллег по Музею идентичности: *проблема с твоей новой теорией не в том, что она неверна, и даже не в том, что она регрессивна, а в том, что она не продумана. Такая чушь. А мы-то за умную тебя держали.*

---

[79] Примечания: 79

Аббревиатура SWERF — *Sex Worker Exclusionary Radical Feminist,* секс-работница, эксклюзивная радикальная феминистка.

На другом берегу Атлантики, на другом театре войн за идентичность, британский премьер-министр сужала определение “британскости”, исключая из него многообразность, интернационализм и мир как вместилище Я. Только маленькая Англия годится для определения английскости. В этом дальнем споре об идентичности нации звучали громкие голоса, возражавшие против угрюмой узости премьера. Но у нас, в Америке, в языке гендера отсутствует только одна фраза, недопустимо только одно, думала Рийя: “Я не уверена во всем этом. У меня появились сомнения” — стоит заговорить так, и тебя сбросят с пьедестала. Айви понимала это, Айви Мануэль, всегда противившаяся любым ярлыкам.

— К черту их, коли не понимают, — твердила она. — Приходи ко мне, давай, черт возьми, пробежимся вдоль реки, потом напьемся, на хрен, и будем вместе распевать непристойные песенки, черт нас дери. “Мальчик-леденчик” и прочее дерьмо.

Очередная встреча с бродягой Кински перед тем его крупным выступлением, о котором я в должное время расскажу, должна была бы предостеречь меня: он к чему-то готовился. Но мы так жаждем верить в обыденность обыденной жиз-

ни, в повседневную нормальность, что я ничего не уловил. Он ошивался возле “Красной рыбы”, музыкальной площадки на Бликер, где певица с Фарерских островов исполняла задушевные песни, вдохновленные роликами с Ютюба — к счастью для слушателей, на английском, не на фарерском. При чем тут, казалось бы, Кински — что ему Ютюб, Фареры, музыка? Но вот он тут бродит, пристает: нет ли билетика лишнего. Пожертвуйте доброго дела ради. Доброе дело — это, подразумевается, он сам. Я-то пришел потому, что дружил с американским аккомпаниатором фарерского певца, и Кински, завидев знакомое лицо, так и вспыхнул, удвоил напор.

— Сделайте это для меня! — потребовал он. — Оставьте все прочее. Вот что важно. Этот парень, “Поэзия и аэропланы”, слышали когда-нибудь? Красотища. Известно ли вам, что он записал альбом в том самом доме, где умер Ингмар Бергман? Видели его выступление на конференции TED? У-ух.

Это были наиболее внятные слова (за исключением разве что шекспировской цитаты за чаем у Голдена) и единственная неапокалиптическая мысль, какие я когда-либо от него слышал.

— Вы-то откуда все это знаете? — спросил я.

Его лицо омрачилось, заодно резко сократился словарь.

— Отвали, — буркнул он. — Не твое дело.

Это пробудило во мне любопытство, а лишний билет у меня как раз имелся, потому что Сучитра, само собой, работала допоздна.

— Если хотите попасть внутрь, придется рассказать мне эту историю, — сказал я.

Он опустил взгляд на тротуар, пошаркал ногами.

— Мой приятель советовал мне его послушать, — пробормотал он. — С авиабазы в Баграме. Еще в те времена.

— Ветеран? — искренне удивился я.

— Доказательства нужны? — окрысился он. — Завяжи мне глаза и дай разобранную на части AR-15. Получишь свое доказательство занюханное.

И тут-то, будь у меня включен радар, я должен был бы сообразить, что дела плохи, человек близок к исступлению. Однако я чувствовал себя виноватым оттого, что не признал в нем старого солдата, и усугубил свой промах, спросив про того приятеля и получив ответ, который мог бы предвидеть:

— Не свезло ему. Нарвался в Пахтунхве. Получу

я наконец хренов билет?

Во время концерта я следил за ним. Песни были остроумные, забавные, а по его лицу катились слезы.

Вскоре после этой неожиданной музыкальной встречи — дня через два или три — Кински обзавелся автоматической винтовкой, той самой, которую риторически у меня требовал у входа в “Рыбу”. Согласно его изложению событий в больнице Маунт-Синай бет Израэль — точнее было бы назвать это предсмертным признанием, — он эту винтовку не покупал и не украл. Его похитили посреди парка, заявил он, похитители вложили ему в руки винтовку и выпустили. Невероятная история, даже абсурдная, излагавшаяся обрывками среди бормотания и вздохов, и ее, как мне кажется, не стоило бы принимать всерьез, если бы не два обстоятельства: прежде всего это была исповедь на смертном одре, что само по себе придавало его словам должный и торжественный вес, а во-вторых, это ведь слова Кински, а учитывая все те безумные речи, которые всегда исходили из тех же уст, эти были не безумнее прочих, оставался крошечный, невероятный шанс, что все же это была правда.

Примерно так выглядела версия событий со-

гласно Кински. В меланхолическом настроении, сказал он, он побрел подальше от центра, в надежде отыскать сравнительно безлюдные места в северных широтах парка. Его застиг проливной дождь, пришлось укрыться под деревом, скорчиться там, дожидаясь, пока небеса смилостивятся. (Примечание: в тот конкретный день в самом деле произошел перелом погоды, несколько дней яркого неба и жары не по сезону сменились ледяным дождем.) — С этого момента из-за стремительно ухудшающегося состояния пациента рассказ становится фрагментарным, невнятным. — К нему подошли двое (Трое? Больше?) мужчин, одетых клоунами или джокерами (он использовал оба слова), напали на него, надели ему на голову мешок и связали. — Или нет, не связали, просто повели его силой за собой. — Или не мешок, а какую-то повязку на глаза. — Куда вели, он не видел из-за мешка. — Или из-за повязки. — Потом он оказался внутри микроавтобуса, повязку сняли, и очередной похититель, тоже в маске клоуна — или Джокера — заговорил с ним о — о чем? — о *вербовке.* — Всякое о президентских выборах. О незаконности их. Выборы пытаются украсть. Переворот, координируемый СМИ — интересы мощных корпораций — за-

мешан Китай — американцы должны вернуть себе свою страну. — Трудно было понять, это собственное мнение Кински, или же он повторяет то, что сказал ему глава джокеров в минивэне (если сказал). — В какой-то момент прозвучали слова “Мы могли бы поучиться у мусульманских террористов. Их самоотверженности”. — После чего весьма непоследовательно Кински погрузился в жалость к себе, в отчаяние и прежние пророчества о неминуемом роке. — “Не для чего жить. — Во имя Америки”. Собственно, и все. Тут вмешались врачи и прервали допрос. Неотложные реанимационные процедуры. Больше он ничего не сказал, да и прожил недолго. Я стараюсь как могу сложить последовательный рассказ на основании того, что сообщалось в прессе, и того, что не без труда удалось нарыть самому.

Его друг погиб — кто знает, сколько его друзей погибло? — и он вернулся из армии душевнобольным. Утратил контакт с теми, кто мог бы о нем позаботиться, деградировал физически и умственно, превратился в бродягу, болтающего все время о пушках. В те годы, когда наши с ним пути начали пересекаться, состав его болтовни изменился. Поначалу он вроде бы выступал против оружия, предостерегал об опасности распростра-

нения стволов в Америке, считал их живыми; потом добавился религиозный жар, усилилась апокалиптическая риторика и, наконец, с помощью клоунов или без них, с джокерами или без джокеров, было похищение или не было, он сам превратился в раба пушки, раскаленной, дарующей счастье винтовки, он сделал, как она просила, бам-бам, трах-тарарах, и люди погибли, скончался и он.

Ибо одни факт неоспорим: Кински напал на хеллоуинский парад, под градом пуль из его винтовки погибло семеро, и еще девятнадцать человек получили ранения, прежде чем полицейский подстрелил его самого, Кински нацепил маску Джокера и кевларовый бронежилет — возможно, хранил его со времен Афганистана, — а потому не сразу испустил дух. Его привезли на скорой в больницу Маунт-Синай, и он протянул достаточно долго, чтобы сделать то признание, что я привел выше, приблизительно такое, но нужно оговориться, что, по мнению сотрудников больницы, его душевное равновесие было нарушено и никакие его слова нельзя принимать на веру.

В списке погибших выделим два имени — мистер Мюррей Летт и мистер Петроний Голден, оба

жители Манхэттена, НЙ.

Хеллоуин жители Сада традиционно праздновали частным образом, развешивали световые гирлянды по старым деревьям, перед домом издателя модного журнала устанавливали пульт диджея, местные детишки носились, колядовали, выпрашивали сладости. Многие взрослые тоже наряжались в карнавальные костюмы. Так мы могли порадоваться празднику, не замешиваясь в огромные толпы, собиравшиеся на Шестой авеню поблизости от нас, чтобы полюбоваться на парад или даже принять в нем участие.

Петя вполне мог бы довольствоваться праздником в Саду, но Лео желала отправиться на парад, так Петя сказал Мюррею Летту, а чего Лео хотела, то она получала во что бы то ни стало. И сам он прекрасно себя чувствовал, так сказал Петя, замечательно! Он чувствовал, что ему удалось пережить кризис, эту часть прошлого можно оставить позади, он готов выйти в мир, и мир начинается здесь и сейчас, в понедельник, в канун Дня всех святых, когда по Шестой авеню двинется лава людей, разодетых скелетами, зомби и проститутками.

— Даже когда в Саду праздник, в доме у нас словно в склепе, — жаловался он. — Давай под-

берем какие-нибудь охренительные костюмы и пойдем, надерем всем задницы.

Его страх перед открытым пространством унялся, сказал Петя, к тому же, когда в Виллидж столько народу, это уже не ощущается как открытое пространство. Австралиец Мюррей Летт так и не приспособился к избыточности американского Хеллоуина. Однажды его пригласили на вечеринку в Верхнем Вест-Сайде, и он отправился туда в костюме из “Марс атакует!”, нацепив огромную голову марсианина, в ней было ужасно жарко и невозможно ни есть, ни пить. В следующий раз он сделался Дартом Вейдером, надел чересчур объемные пластиковые доспехи, в которых трудно было садиться и вставать, и черный шлем с меняющим голос микрофоном, причинивший ему те же самые неудобства, что и “Марс атакует!” — было жарко и не удавалось отведать пищу и напитки. Теперь Летт предпочитал пережидать праздник в своей комнате, надеясь, что сорванцы не осмелятся позвонить в дверь в поисках сластей и подачек.

Но Петя отказа не принял.

— Мы оденемся римлянами! — вскричал он. — Я, разумеется, поскольку зовусь Петронием, стану Тримальхионом, хозяином пира в “Сатири-

коне”, а ты — ты можешь быть любым из гостей. Образцы костюмов подсмотрим у Феллини. Тоги! И лавровые венки вокруг головы, а в руках кувшинчик вина. Потрясающе! Мы устремимся навстречу жизни, будем пить взахлеб из ее источников, к утру мы будем пьяным-пьяны — опоены жизнью!

Выслушивая этот план, я не мог, разумеется, не припомнить “Гэтсби”, роман, который Фицджеральд чуть было не назвал “Тримальхионом на Уэст-Эгг”, и это была печальная мысль, на миг словно бы вернулись те вечера, когда я засиживался допоздна с родителями и мы столько смеялись, и с неизбежностью перед глазами встал их ужасный конец, так что ненадолго я снова впал в прежнюю печаль, но ликование Пети оказалось настолько заразительным, что я подумал: почему бы и нет, после всех несчастий немного веселья, это же отличная идея, и если Петя вздумал, на одну только ночку, сделаться возлюбленным жизни, пройтись вприпрыжку, то да, конечно! Пусть наденет свою тогу, пусть скачет!

Добыть костюмы в последний момент не так-то просто, но по этой части Сумятица и Суматоха себе равных не знали, да и в конце-то концов тога

— всего лишь простыня с большими амбициями. Отыскались и римские сандалии, и лавр, и пучок березовых прутиков, обвязанных красной ленточкой — вот и римские фасции, символ магистратской власти для Пети. Отыскался также и был предложен Мюррею Летту совершенно не вписывавшийся в эпоху шутовской колпак с колокольчиками, и я очень хотел, чтобы он согласился его надеть. Сыграл бы роль Дэнни Кэя в “Придворном шуте”[80], попрактиковался бы в скороговорках. Но он предпочел тогу, чтобы походить на Петю, и раз Петя собрался нести фасции, значит, Летт должен был нести кошку.

Так и сделали, и в таком имперском обличье они вышли из Сада, покинули дом, угнетенный потерями, влились в парад, праздновавший жизнь, и так, убегая прочь от смерти навстречу жизни, они встретили смерть, поджидавшую их, как напророчил старинный рассказ, в Самарре, то есть на Шестой авеню между Четвертой улицей и площадью Вашингтона. Смерть в костюме Джокера с AR-15 в руках. Негромкий треск винтовки заглушала какофония толпы, гудки автомобилей, выкрикивавшиеся в мегафон приказы, оркест-

[80] Примечания: 80

“Придворный шут” (1955) — приключенческий фильм о вымышленном средневековье.

ры. Потом люди вдруг стали валиться наземь, и жестокая, без маски, реальность уничтожила этот праздник. Нет причин подозревать, что Петя или Мюррей Летт были специально выбраны в качестве мишени. Пушки Америки ожили, и смерть — их случайно раздаваемый дар.

И кошка, альпийская рысь. Камера наезжает — вытянутая рука погибшего римлянина, фасции выпали из руки (намеренная аллюзия в раскадровке на бессильно упавшую лапу умирающего Кинг-Конга в конце оригинального, 1933 года, фильма). Лео, свирепо рычащая на каждого, кто осмеливался подойти ближе. А когда все завершилось и крики затихли, когда толпа, слепо разбегавшаяся, спотыкавшаяся, успокоилась и рассеялась, когда убитых и раненных пулями или же раздавленных в паническом бегстве развезли, каждого куда следовало, когда улица опустела, оставался только гоняемый ветром мусор да стояли полицейские машины, когда все по-настоящему закончилось, кошка пропала, и никто никогда больше не видел рысь по имени Лео.

И король, оставшийся один в Золотом доме, увидел, как все золото в его карманах, и во всех шкафах, и в мешках, и в корзинах полыхало все ярче и ярче, пока не вспыхнул огонь.

Часть III

30

По правде говоря, я надеялся на более приятную жизнь. Даже когда я мечтал добраться, в некотором дивном и неопределенном будущем, до подлинной славы, я надеялся, что на пути меня ждет больше доброты. Я не понимал, что Сцилла и Харибда, два чудища, между которыми корабль Одиссея должен был проскочить Мессинский пролив — одно "объясняется" как гигантская скала, другое как яростный водоворот, — символизируют, с одной стороны, людей (те скалы, на которых мы разбиваемся), а с другой — темный вихрь внутри каждого из нас (он затягивает в бездну, и мы тонем).

Теперь, когда мой фильм "Золотой дом" закончен и вот-вот отправится в фестивальный путь — после десяти без малого лет подготовки, после переворота в моей личной жизни под конец этой истории, кажется чудом, что я сумел завершить фильм, и мне следует записать то, чему я научился в процессе. Насчет кинобизнеса я узнал, во-первых, что если человек с деньгами говорит тебе: "Мне нравится этот проект. Я в него *влюбился.* Такой креативный, такой ориги-

нальный, ничего подобного в мире нет. Я буду финансировать тебя, тыщу процентов гарантии, всем, чем смогу, поддержу, полное и безусловное участие, тысяча и один процент, это гениально", то на простом английском он всего лишь говорит "привет". И я научился восхищаться любым человеком, кто сумел довести свой фильм до финишной прямой, до киноэкранов, что бы он ни снял в итоге, "Гражданина Кейна", или "Порки XXII", или "Тупые ублюдки XIX", все равно, главное, вы сделали кино, ребята, уважуха. О жизни за пределами кинобизнеса я усвоил вот что: честность — лучшая политика. За исключением тех случаев, когда это не так.

Мы все — айсберги. Не потому что холодные, а потому что большая часть скрыта под водой и эта скрытая часть способна затопить "Титаник".

В те дни после расстрела на Хеллоуин я большую часть времени проводил в Саду, готовый помочь Голденам, какие бы мои услуги им ни понадобились. С согласия Сучитры я несколько ночей в неделю оставался ночевать у мистера У Лну Фну. Он так и не сдал бывшую мою комнату и говорил, что рад иметь компанию в "ужасное время, ужасное время". Что же касается моей Сучитры, в эти последние дни перед всеобщим

голосованием она работала в студии примерно двадцать часов в сутки, резала и склеивала кадры фильма, который собирались использовать в кампании кандидата от демократов: Сучитра была одним из самых активных членов группы “Женщины в СМИ”, которая предложила команде кандидата свои профессиональные услуги. Она признавалась, что очень устала, перегружена, порой немножко падает духом, и мне, вероятно, следовало бы понять, что причина тут главным образом во мне. А я торчал в Саду не только из альтруистических побуждений, но и повинуясь чуть ли не хищническому инстинкту, острому чутью, говорившему мне, что история, которую я собирался рассказать, вот-вот подарит мне то откровение, которого до сих пор недоставало, и я лежал в засаде и дожидался, прятался в кустах Сада, словно голодный лев в высокой траве под акацией в африканской саванне, вот-вот мимо пробежит моя добыча. Мне в голову не приходило, хотя, казалось бы, рассказ мой уже был заполнен смертями, что передо мной развернется еще и криминальный сюжет об убийстве. Это Вито Тальябуэ первым навел меня на мысль: быть может, Нерон Голден страдает не только от постепенно прогрессирующей старческой демен-

ции — вполне вероятно, что жена потихоньку малыми дозами травит его ядом.

Жизнь в Саду всегда немножко напоминала “Окно во двор” Хичкока. Каждый присматривал за каждым, все мы отчетливо и ярко выступали на фоне своих окон, словно на миниатюрных экранах внутри большего экрана, мы разыгрывали свои драмы наперекрест, для соседей, как если бы актеры кино могли одновременно смотреть другие фильмы и актеры из этих фильмов наблюдать за ними. Герой “Окна во двор” Джеймс Стюарт жил неподалеку от нас, на вымышленной Западной Девятой улице, номер 125, чему в реальной мире соответствует дом 125 по Кристофер-стрит, это и есть Девятая улица к западу от Шестой авеню, однако Сады для такого замысла подходили ничуть не хуже. Я собирался ввести в законченный фильм несколько жителей Сада, обдуманный *оммаж* персонажам великого фильма Хичкока, экстравертную танцовщицу мисс Торсо, старую деву мисс Одинокое Сердце и так далее. Может быть, даже коммивояжера, продавца ювелирных украшений, который походил бы на Рэймонда Бёрра. Мой первоначальный план вовсе не предусматривал в сюжете покушение на убийство, однако вот так сюжеты с нами и

обходятся, они устремляются в непредвиденном направлении, а тебе только и остается, что цепляться за их фалды. Так и вышло: я шел через Сад от дома мистера У Лну Фну к Золотому дому, когда Вито Тальябуэ высунул красивую голову с прилизанными, как всегда, волосами, из задней двери своего дома и к полному моему изумлению произнес буквально:

— Пссст!

Я резко остановился, брови у меня взлетели до линии волос.

— Простите, — сказал я, желая поскорее в этом разобраться, — вы только что в самом деле сказали “пссст”?

– *Si*, — прошипел он, подманивая меня жестом. — Вас это обидело?

— Нет, — ответил я, подходя ближе. — Просто я никогда раньше не слышал, чтобы кто-то не в кино шептал “пссст”.

Он затащил меня в кухню и закрыл дверь в Сад.

— А как надо говорить? — Вид у него был взволнованный. — Это не по-американски?

— Думаю, обычно говорят “эй”, или “прошу прощения”, или “на минутку”.

— Это не то же самое, — возразил Вито Талья-

буэ.

— Ну, как уж есть, — сказал я.

— Как уж есть, — повторил он.

— Вы что-то хотели мне сказать?

— Да. Да. Это важно. Но об этом трудно говорить. Разумеется, я рассчитываю на полную конфиденциальность. Я уверен в вашей честности. Вы никому не скажете, что услышали об этом от меня.

— О чем, Вито?

— Интуичу. Можно так сказать: “Интуичу?” Да, интуичу.

Я жестом попросил его продолжать.

— Эта Василиса. Жена синьора Нерона. Крепкий орешек. Она беспощадна. Как все… — Он примолк. Я ожидал, что он даст волю своей личной обиде: “Как все жены” или “Как все женщины”. — Как все русские.

— О чем вы говорите, Вито?

— Говорю, она его убьет. Она уже сейчас этим и занята: убивает его. Я вижу его лицо, когда он выходит погулять. Не в старческом упадке сил причина. Тут что-то еще.

Его экс-жена Бьянка Тальябуэ переехала к своему новому возлюбленному, Карлосу Херлингэму, который в моем сценарии именовался “мистер

Аррибиста”, — через дорогу от прежнего своего дома. Каждый день эта парочка фланировала в саду, унижала Вито, носом его тыкала в свою любовь. Если кто-то здесь помышляет об убийстве, подумал я, уж не сам ли Вито. Однако я решил потрафить ему еще немного.

— Как она это делает? — спросил я.

Он на оперный манер пожал плечами:

— Понятия не имею. Откуда мне знать детали? Я просто вижу, каким больным он выглядит. Неправильно больным. Может быть, что-то добавляет в лекарства. Ему столько лекарств приходится принимать. Так что это просто. Да, что-то добавляет в лекарства. Я уверен. Почти на сто процентов.

— Зачем ей это? — настаивал я.

В ответ он снова пожал плечами, отмахнулся.

— Очевидно же, — сказал он. — Все прочие наследники, их больше нет. Остался только ее малыш. И если по случайности Нерон тоже… — тут он чиркнул себя пальцем по горлу, — кто унаследует все? На латыни есть выражение *cui bono?* — кому выгодно? Понимаете? Все совершенно ясно.

В средоточии этого заговора — мое дитя. Мой сын двух с половиной лет от роду, который почти

не знал меня, то и дело забывал, как меня зовут; сын, которому я не мог дарить подарки, не мог играть с ним в Саду или за пределами Сада, мой сын — наследник чужого богатства, пропуск в будущее для его матери. Мой сын, в чьем маленьком личике я так отчетливо различал свои собственные черты — я удивлялся, что никто не замечал столь явного сходства, на самом деле все говорили, что он вылитый отец — отец, который вовсе не был его отцом, торжество предполагаемого над реальным. Люди видят то, что ожидают увидеть.

Веспасиан, что это за имя такое, Веспасиан? Оно меня все больше и больше раздражало. “Маленький Веспа”, вот уж. Маленький Веспа — это мотоцикл, на котором Одри Хепберн бесшабашно носилась по Вечному городу в “Римских каникулах”, а Грегори Пек паниковал на заднем сиденье. Мой сын заслуживал лучшего, чем такое прозвище, с какой стати им должны рулить те кинозвезды? По меньшей мере ему причиталось имя кого-то из великих мастеров кинематографа, пусть он был бы Луи или Кэндзи, Акира или Сергей, Ингмар, Анджей, Лукино, Микеланджело, Франсуа, или Жан-Люк, или Жан, или Жак. Или Орсон, или Стэнли, или Билли,

или попросту Клинт. Я уже мечтал, и отчасти даже не в шутку, похитить его, бежать с моим Федерико или Альфредом, ускользнуть в мир по ту сторону киноэкрана, ринуться в направлении, противоположном Джеффу Дэниэлсу из фильма Вуди Аллена, прорвать четвертую стену и нырнуть в фильм, а не из него вынырнуть в мир. Кому сдался этот мир, если можно бежать через пустыню за верблюдом Питера О'Тула или вместе с космонавтом у Кубрика, его играл Кир Далли, убивать взбесившийся компьютер HAL 9000, пусть заткнется и не распевает: "Ромашка, ромашка, любит — не любит"? Чем реальность соблазнит того, кто может бежать со львом и пугалом по дорожке из желтого кирпича или спускаться по парадной лестнице рядом с Глорией Суонсон, когда мистер Демилль готовится сфотографировать ее крупным планом?

Да, мой сын и я, держась за руки, будем дивиться гигантским ягодицам и грудям шлюх в "Риме" Феллини, мы будем сидеть в отчаянии на римском тротуаре, оплакивая украденный велосипед, запрыгнем в "Делореан" дока Брауна, улетим обратно в будущее, на свободу.

Но ничего этого быть не могло. Все мы были заперты в Василисиной интриге, и в первую

очередь ребенок, этот ребенок был ее главным козырем. На миг я призадумался, как далеко простирается беспощадность Василисы: могла ли она каким-то образом подстроить смерть по меньшей мере двух из трех мальчиков Голденов и совершила бы она покушение на третьего, если бы он сам не лишил себя жизни? Однако я пересмотрел чересчур много фильмов, я поддался той же мелодраматичности, что и обманутый в любви, обиженный на жизнь Вито Тальябуэ. Я покачал головой, стараясь прояснить мысли. Нет же, она, скорее всего, не убийца и не заказчица убийств. Она всего лишь — всего лишь! — ловкая и хитрая манипуляторша, и ее победа уже близка.

Потеряв трех сыновей, Нерон цеплялся за Рийю, и их близость вызывала сибирскую хмурость на красивом (хотя и слегка подмороженном) лице второй миссис Голден, но меня не удивляла. Трижды осиротевший отец не имел никого, с кем мог бы оплакивать Апу или Петю, но скорбь Рийи о смерти Д не уступала его собственной скорби. Ни в одном из известных им языков не было слова для обозначения родителя, утратившего своего ребенка, не было эквивалента для “вдовца” или “сироты”, не было и слов для описания этой утраты. Разве что “оплакивание”, слово неточное, но

приходилось довольствоваться им. Они сидели вместе в кабинете Нерона, в тишине утраты, безмолвие заменяло им разговор, в котором все, что надо сказать, было сказано, как у Джеймса Джойса и Сэмюэла Беккета: в молчании проникались скорбью и о мире, и о себе. Он ослаб, порой жаловался на головокружения, в другие дни на тошноту, по нескольку раз за вечер задремывал и просыпался. Ему изменяла память. Порой он забывал о присутствии девушки. Но в другие вечера вдруг возвращался — прежний, умный и бдительный. Его угасание не было графиком из одной вертикальной прямой, тут были и подъемы, и провалы, хотя общая, неизбежная тенденция — вниз, вниз.

Однажды вечером она повела его в город, в Арсенал на Парк-авеню, где в полукруге одиннадцати высоких бетонных башен профессиональные плакальщицы со всех концов света производили мириады звуков глубочайшего из всех молчаний — смерти. Слепой аккордеонист из Эквадора играл в одной из башен *yaravies*[81], три камбоджийские плакальщицы, обманув все старания красных кхмеров уничтожить их род с корнем,

---

[81] Примечания: 81
Яравi, печальные песни индейцев Южной Америки.

исполняли церемонию *kantomming*[82] с флейтой и большими и малыми гонгами. Выступления были короткие, по пятнадцать-двадцать минут, но эхо еще долго звучало в душе Рийи и в душе Нерона, после того как они оттуда ушли. Нерон сказал одно:

— Птица помогла.

В одной из башен одиноко сидела на бетонной полке гигантская, непонятного рода птица — что-то вроде петуха, — плакальщик из Буркина-Фасо целиком умещался в птичьем костюме, птичья голова поверх собственной, на лодыжках колокольчики, они тихо звенели с каждым его движением. Птица-плакальщик не производил ни звука, за исключением этого случайного слабого перезвона, и сидел очень тихо, лишь иногда слегка, почти незаметно, вздрагивал, и его строгое и полное доброты присутствие оказалось достаточно сильным, чтобы самую малость облегчить боль Рийи и Нерона.

— Хотите сходить сюда еще раз? — спросила Рийя, когда они вышли на улицу.

— Нет, — сказал Нерон. — Этого было достаточно.

---

[82] Примечания: 82
Церемониальная музыка Камбоджи.

Однажды вечером, после многих безмолвных вечеров, Нерон заговорил. Кабинет был погружен во тьму. Им ни к чему был свет.

— Напрасно ты с работы ушла, доченька, — сказал он. В последнее время он стал так ее называть.

Мнение, высказанное без преамбулы и столь уверенно, застигло ее врасплох.

— Знаете что — спасибо, но в этом вы не разбираетесь, — излишне резко ответила она. — Это мое дело, во всяком случае, давно уже было моим.

— Ты права, — кивнул он. — Вопросы гендера за пределами моего понимания. Мужчина, женщина — нормально. Гомосексуальность — ладно, я знаю, что и такое есть. Но этот ваш новый мир, мужчины с органами, которые им пришили хирурги, женщины без женских органов — тут я теряюсь. Ты права. Я динозавр, и мой разум работает уже не на сто процентов. Но ты? Ты все это изнутри знаешь. Ты права. Это твое дело.

Она промолчала. Они привыкли к тишине, им было хорошо так и не требовалось непременно отвечать.

— Это из-за него, я знаю, — продолжал он. — Ты винишь себя и поэтому ушла из своей сферы.

— Моя сфера, — откликнулась она. — Предполагалось, что это будет тихое безопасное место, где каждый найдет понимание. А теперь там военная зона. Я предпочитаю мир.

— Но ты не обрела мир, — сказал он. — С большей частью этой самой идентичности у тебя проблем нет. Чернокожие, латиносы, женщины, тут все в порядке. Но территория между полами — вот что ты называешь военной зоной. Если тебе нужен там мир, наверное, ты должна стать миротворцем. Не убегать от битвы.

В ее молчании он расслышал вопрос.

— Неужели ты думала, я не сумею кое в чем разобраться? — сказал он. — Думала, если мой мозг помаленьку слабеет, съеживается, как дешевая рубашка, то уже и ум весь вон? Нет, он еще не мертв, смею вас заверить, девушка, пока еще не мертв.

— Хорошо, — сказала она.

— Возьми отпуск. Продумай все как следует. Не увольняйся.

— Хорошо, — повторила она.

— И у меня тоже, — сказал он, — идентичность сдвинулась.

Позже, когда Рийя ушла, старик остался один в темной комнате. Зазвонил домашний телефон.

Старик задумался — отвечать или нет, — он протягивает руку, отдергивает, снова протягивает, отвечает.

— Да?

— Голден-сахиб!

— Кто это?

— Не думаю, что вы припомните мое имя. Я был мелкой рыбкой на очень большой сковородке.

— Назовите ваше имя.

— Мастан. Бывший инспектор мумбайского отдела расследований, переведен в Химачал-Прадеш. Затем частный сыск. Теперь на пенсии.

Пауза.

— Мастан. Я помню.

— Это честь для меня. Что такой большой-большой человек меня помнит. Замечательная память, сэр. Ваш родной сын не смог припомнить, а он куда моложе.

— Вы знали одного из моих сыновей?

— Сэр, в Мумбаи, сэр. Теперь он зовется Апу. Вернее, звался этим именем. Прошу прощения за мой неуклюжий английский. Соболезнования в связи с вашей потерей.

— Откуда у вас мой номер?

— Сэр, я служил в полиции, потом в частной

охране. Это не так уж сложно.

Пауза.

— Чего вы хотите?

— Только поговорить, сэр. У меня нет никакой власти. Нет влияния, я на пенсии, мы в Штатах, не моя юрисдикция, ничего нет, остывший след, и вы столь могущественный человек — а я никто. Лишь прояснить некоторые вещи. Получить удовлетворение, пока я не сошел в могилу. Только ради собственного удовлетворения.

— Значит, я должен вас принять? Зачем?

— В случае, если вы желаете знать личности тех, кто убил вашего сына. Я лишь предполагаю, что это может представлять интерес.

Долгая пауза.

— Завтра утром. В девять часов.

— Буду, сахиб. Точно по часам. Заранее благодарю.

Еще позже. Рийя спит, ее будит звонок мобильного. К ее изумлению, это Нерон Голден.

— Можешь приехать?

— Сейчас? Посреди ночи?

— Мне нужно поговорить, и сейчас у меня есть слова, а завтра, быть может, их уже не будет.

— Так срочно?
— Доченька, ты нужна мне прямо сейчас.

31

Ему немного оставалось до восьмидесяти лет, он начал забывать недавние события, но тем ярче сияло в его памяти прошлое — будто золото на дне Рейна. Река его мыслей помутнела, вода в ней стала непрозрачной, ее русло было загрязнено, хронологическая последовательность в его сознании медленно рассыпалась, что было тогда, что теперь, что правда наяву, что зародилось в сказочной стране снов. Библиотека времени пришла в беспорядок, все категории перепутаны, каталог нарушен или уничтожен. Бывали хорошие дни и дурные дни, но с каждым днем его дальнее вчера сияло все ярче, а прошлая неделя тускнела. И вот прошлое окликнуло его по телефону во тьме ночи, и все давно схороненное встало из могилы — все разом и окружило его, и тогда он тоже взял трубку и позвонил. Последующее кажется мне отголоском еще одного фильма Хичкока. Это уже не “Окно во двор”. Мы входим в мир “Я исповедуюсь”[83].

---

[83] Примечания: 83

“Я исповедуюсь” (1953) — фильм Альфреда Хичкока. В роли убийцы — Монтгомери Клифт.

(*Помните* “Я исповедуюсь”*? Убийца исповедуется в совершенном преступлении католическому священнику, потому что религиозный закон вынуждает священника сохранять тайну. Хичкок ненавидел систему Станиславского, приверженцем которой был Монтгомери Клифт, а многих зрителей в этом фильме отвращает полное отсутствие юмора, но Эрик Ромер и Клод Шаброль в* Cahiers du Cinema *восхваляли “величественность” этого фильма, указывая, что, поскольку священник вынужден молчать, весь фильм держится на выражениях его лица. “Только эти гримасы и взгляды позволяют нам проникнуть в тайну его мыслей. Они — самые ценные и достоверные посланцы души”. Рийя Захариассен, бежавшая глухой ночью через Манхэттен, не была священником, но ей тоже предстояло выслушать исповедь. Сохранит ли она тайну? И если да, то как ее взгляды и ужимки будут выражать это знание? А также: не поставит ли владение тайной под угрозу и ее жизнь?*)

Прошлое, его прошлое, оставленное на терракотовом холме. Этот холм всегда был местом волшебства, еще с тех пор, как брат Рамы Лакшман воткнул в землю стрелу и привел Ганг издали сюда, чтобы утолить их жажду. Подземный ис-

точник выбился наружу, и они пили вволю. Поныне в водоеме Банганга пресная вода — “баан” на санкрите “стрела”, а Ганга, разумеется, имя реки-праматери. Они жили среди живых историй богов.

А после богов британцы, в особенности достопочтенный Маунтстюарт Элфинстоун, управлявший городом с 1819 по 1827 год: он построил на холме первое бунгало, и все городские аристократы последовали его примеру. Нерон помнил, каким холм был в его детстве, как много деревьев, низкие элегантные строения с красно-черепичной крышей проступали сквозь листву. Память его бродила по Висячим садам и следила, как сыновья играют в “Башмаке старухи” — в парке Камала Неру. Первый высотный блок построили на холме в пятидесятых, люди над этим смеялись. Спичечница, так они прозвали это здание, оно было похоже на гигантский вертикально поставленный коробок. Кто же там станет жить, насмехался народ, уродство какое. Но здания-великаны росли, а бунгало исчезали. Прогресс. Но не эту историю он собирался поведать. Он хотел завершить историю, которую начал рассказывать мне в тот раз в “Русской чайной”.

(*Он сам впустил Рийю. Они прошли в его тем-*

ный кабинет и сидели в темноте. Она ничего не говорила или почти ничего. Ему предстояло рассказать длинную историю.)

Мужчину, которого он начал именовать Доном Корлеоне сразу, как вышел фильм “Крестный отец”, он повстречал еще в ту пору, когда только присматривался к миру кинобизнеса. Так-то все остальные звали его Султан Амир. Его мафиозная семейка именовалась “Компания-С”, “С — султан, супер, стиль”, так похвалялся сам босс. Крупный гангстер, мастер контрабанды, но людям он нравился — он не допускал убийств, в глубине души был кем-то вроде социального работника. Помогал беднякам в трущобах, а также мелким лавочникам. Проституция — тоже источник дохода, что правда, то правда: бордели в Каматипуре — да, их он крышевал. Ограбления банков — и это было. У каждого свои недостатки. Так что да, в целом, плюс-минус, типаж Робин Гуда, можно так сказать. Не совсем, на самом деле, размах его деятельности несопоставим с подвигами кучки малозаметных вооруженных луками и стрелами бандитов из Шервудского леса (Великобритания), но его считали славным парнем, скорее хорошим, чем плохим. Он стал первым гангстером-знаменитостью. Всех знал,

всюду бывал. Полиция, судьи, политики — все у него в кармане. Разгуливал по городу свободно, без страха. Без таких, как он, гангстеров половина любимых народом фильмов попросту не была бы снята. Крупные инвесторы, эти доны мафии. Спросите любого продюсера: рано или поздно мафия наносит визит с мешками, полными денег.

Он выучил следующее поколение, все местные парни прошли у него стажировку. Что Замзама Аланкар знал о контрабанде сверх того, чему его научил Султан Амир? Он натаскивал Замзаму (он же ПК, то есть Пушка Кима[84], или же попросту Пушка), он тренировал Маленькие Ножки, тренировал Короткие Пальчики, тренировал Большую Голову, всю верхушку. И все эти пятеро обожали кино, Султан Амир обзавелся также подружкой-киноактрисой, девочку звали Голди, он вливал деньги в местные фильмы, пытался сделать из нее суперзвезду, и так они все естественным образом пришли в кинобизнес. Тогда это еще не называлось Болливудом, Болливуд изобрели гораздо позже. Бомбейская киноиндустрия. Говорит и показывает Бомбей. Так запросто.

---

[84] Примечания: 84

Пушка Замзама была отлита в 1762 году в Лахоре (ныне Пакистан). Прозвище “Пушка Кима” получила благодаря роману Киплинга “Ким”, в начале которого герой восседает на этом орудии.

(“Говорит Бомбей”, *позвольте мне вставить от себя, был и остается моим любимым фильмом студии “Мерчант Айвори”, особенно номер с песней и пляской “Пишмашинка тут-тук-тук”, когда танцоры совершают пируэты на клавишах гигантской “машины судьбы”, а режиссер поясняет: “Танцуя на клавишах, мы, люди, нажимаем их и пишем историю своей судьбы”. Да, мы все вытанцовываем свои истории на пишмашинке судьбы.*)

Итак. Дон Корлеоне пригласил в “Говорит и показывает Бомбей” несколько падающих звезд и помог им восстановить равновесие — например, Парвин Баби, а также Хелен. Он дружил с Раджем Капуром и Дилипом Кумаром. Его контрабандисты контрабандствовали, и воры воровали, и проститутки проституировали, его судьи, политики и полицейские делали, как им было велено, зато на серебристом экране в “Маратха Мандир” его фильм *Kuch Nahin Kahin Nahin Kabhi Nahin Koi Nahin* (“Ничто Нигде Никогда Никто”) держал рекорд по продолжительности пребывания в прокате — до тех пор, разумеется пока другой трэшовый фильм, “Невеста, раздетая догола холостяками”, не побил все мыслимые рекорды. Но *KN*4, как называли его главный хит, Султан

Амир — Дон Корлеоне — гордился им, главное его достижение, говорил он и придумал ему собственное название, “Все Всюду Всегда Все”, или “В4-для всех”, потому что на самом деле фильм был именно этим — всем для всех. И хотя его возлюбленная Голди так и не выбилась на вершину, оставалась в “общих титрах”, как говорят голливудские, она все же была вполне счастлива, он купил ей большой дом в Джуху по соседству с великим Девом Анандом, и она могла приглашать воплощенное божество к себе на самосы с чаем.

А Нерон — он был просто деловой человек, главным образом вкладывал силы в строительство — подымался все выше, как и его здания, и, как и все прочие в этом городе мечтателей, был одержим кино. Он познакомился с Доном в пляжном домике такой-то в Джуху — или, можем быть, в доме у другой, это не так уж важно. У одной из двух-трех знаменитых хозяек, правивших блистательной ночной жизнью города, скажем так. Они сразу же приглянулись друг другу, и в конце вечера Султан Амир сказал:

— Завтра я поеду к Смите рассказывать мой следующий фильм — присоединяйтесь.

Этим приглашением он навеки покорил Нерона, и жизнь бизнесмена двинулась по новой

колее.

Суперзвезды — ультразвезды — сценариев не читают. К ним приезжают и рассказывают очередной фильм, его сюжет, стараясь при этом подать роль суперзвезды как безусловный центральный элемент всего проекта. Смита была одной из самых любимых актрис в своем поколении, не просто красотка, секс-символ — она чудесно, сильно играла. По местным стандартам жизнь она вела скандальную, открыто любилась со знаменитым актером, состоявшим в браке. В конце концов пуритане и зложелатели выдавили ее из кино, и она, глубоко раненная, сделалась отшельницей, но это произошло потом, а тогда она была как раз на самом пике, на вершине горы Кайлас[85], богиня богинь, всех превыше. Для Нерона встреча с ней стала одним из величайших событий всей его жизни, пусть даже в тот момент пересказ фильма прошел неудачно, поскольку по роли Смите предстояло стареть, ближе к концу фильма, и из семнадцатилетней превратиться в пятидесятипятилетнюю.

— Послушайте, — сказала бессмертная Дону, —

---

[85] Примечания: 85

Тибетская гора Кайлас считается священной в нескольких религиях, это обитель Шивы и Будды. Никто из смертных не смеет подниматься на эту гору, дерзновение карается смертью.

я вам очень благодарна за то, что вы пришли с этим ко мне. Потому что большинство ролей не требуют выйти за пределы себя, вы понимаете, а я как актриса хочу выйти за пределы себя, хочу тянуться, так что эта картина — я сразу же в нее влюбилась. Да, я влюблена в нее. Только одну-две вещи, ладно, я хочу сразу прояснить, сразу выложить карты на стол, потому что нужно во всем на сто процентов согласие прежде, чем мы начнем снимать. Ведь так, когда мы окажемся на площадке, мы должны все на сто процентов тянуть в одну сторону, так что позволите мне сказать?

— Разумеется, — ответил Султан Амир, — мы за этим и приехали, прошу вас.

Нахмурившись, она оглянулась на Нерона.

— А он кто? — пожелала узнать она.

Султан прищелкнул языком и отмахнулся.

— Не обращайте на него внимания, — сказал он. — Он просто так.

Морщина слегка разгладилась. Небесное явление вновь обернулось к Дону и сказало:

— Вы же видите, в вашем рассказе героиня становится матерью девятнадцатилетней девушки. А я никогда — никогда в жизни! — не играла роль матери подростка. В этом моя проблема. Вы понимаете, выбор, который я делаю, картины,

которые я выбираю, это оказывает большое влияние на ежегодный кассовый сбор всей нашей любимой киноиндустрии, так что я должна быть осмотрительна, правда? Я слышу голос, голос публики, которая меня любит — голос звезды, ведь я звезда! — и этот голос говорит…

Тут Султан Амир ее прервал.

— Сюжет можно изменить, — сказал он. — Пусть ваш голос умолкнет.

Но было уже поздно.

— Нет, — произнес этот голос, — таков твой долг перед миром.

Нерон тихо сидел в углу, Нерон, который был там “просто так”, был покорен. Когда они покинули божественное присутствие, он сказал:

— Жаль, что ей не понравилось.

Султан Амир щелкнул пальцами.

— Ей понравится, — сказал он. — Поправить сюжет не сложно. И может быть, “мерседес”, и если на откидном сиденье окажется чемодан с наличными, черным налом — дело сделано. — Он хлопнул в ладоши.

Нерон только попытался было выразить понимание, как Дон добавил:

— Это может стать твоим вложением в проект.

— “Мерседес”?

— И чемодан. Чемодан особенно важен.

Так это начиналось. В следующие годы Нерон создавал прибыльный побочный бизнес, отмывая и храня деньги дона. Как это вышло? Незаметно для самого себя вошел в дело, побуждаемый фанатичной любовью к миру кино. В глазах звездная пыль, голова кружится от киногламура, вокруг все зарабатывают безумные деньги. А вернее, в нем всегда имелась эта беззаконная жилка, строительство, в конце концов, не самый законопослушный бизнес, кривой, как штопор, сказал бы У. Х. Оден. Как раз начался строительный бум, по всему городу росли высоченные здания, “спичечницы”, Нерон находился в самом средоточии этих метаморфоз. Сколько законов было нарушено или отброшено в амбициозном стремлении вверх, сколько пришлось набить карманов, чтобы сгладить углы! Здания росли и росли все выше, сверх того числа этажей, что разрешали муниципалитеты. Затем электрокомпании или те, кто отвечал за воду и газ, грозились отрубить снабжение этажей, которые не должны были существовать, но всегда имелся способ пригладить и эти взъерошенные перышки. Чемодан для кинозвезды, конечно же, был не первым в карьере Нерона. Вообще-то многие из новых зданий были

с самого начала нелегальными, их строили без должным образом принятого плана, не сверяясь с нормами. Нерон виновен в подобных делах, но в этом все были замазаны, невиновных нет, и он, как все прочие крупные строители, имел друзей наверху — “наверху в другом смысле слова”, — и как все прочие, он ухитрялся оставаться безнаказанным, что бы ни затеял. “Строитель — сам себе закон, — говаривал он. — И этот закон гласит: не уставай строить”. Этика? Прозрачность? Слова на иностранном языке, слова для тех, кто не понимает ни этот город, ни людей, которые в нем живут.

Вот кем он был. Он знал это, его сыновья это знали, так был устроен мир. Дружба с Доном Корлеоне, он же Султан Амир, открыла дверь в подполье, где таилось глубинное беззаконие, дожидалось, чтобы его выпустили на волю. Теперь на его праздники являлись старлетки, в ванной заправлялись кокаином, из правильного, в костюме и туфлях, скучного, словно вода в канаве, строителя небоскребов с дипломатом и чертежом под мышкой Нерон превратился в заметную среди горожан фигуру. Этот статус обеспечил его еще большим количеством заказов, бизнес ширился, и вместе с тем рос его статус и

так далее, цикл за циклом. В эти годы у Нерона сложилась откровенно вульгарная манера саморекламы, которая продолжала окутывать его, словно дорогая напоказ шуба, и в нью-йоркские годы. Он перевез семью в роскошный дом Уолкешвара. Он купил яхту. Он заводил интрижки. Его имя переливалось в ночном небе от Андхери до Нариман-Пойнт. Жизнь была прекрасна. Существовало множество разных способов отмывать деньги.

Для небольших сумм — разбивка, грязные деньги разделялись на суммы поменьше, и на них приобретались платежные поручения и чеки, затем депонировались в других банках, тоже небольшими суммами, а затем снимались со счета уже отмытыми. Этот метод Нерон применял, когда ему требовался чемоданчик с деньгами. Но для крупных проектов нужен метод помасштабнее, и нет ничего лучше работы с недвижимостью. Для тех, кто в курсе, Нерон стал тайным мастером Перекрута номер раз и Перекрута номер два. Перекрут номер один: черным налом оплачивалось приобретение высококлассной дорогой недвижимости — и тут же она перепродавалась, обычно даже с выгодой, ведь цены взлетели до небес. Деньги от продажи были

уже чистые, как свежевыпавший снег. Перекрут номер два — приобретение недвижимости с согласия продавца за цену ниже рыночной, разница передавалась из рук в руки черным налом, — а дальше снова Перекрут номер один. Нерон возглавлял крупнейшую в городе брокерскую фирму недвижимости: на языке криминального подполья ее стали называть “Перекрутстаном”, страной, куда грязные деньги отправляли на вакации — отмыться и вернуться с приятным честным загаром. Разумеется, все имело свою цену. Нерон пользовался Перекрутстаном и для отмывки собственных денег, но “Компания-С” всегда могла рассчитывать на щедрые скидки.

А потом на Дона Корлеоне обрушились небеса. Сын премьер-министра, Санджай Ганди, бывший его товарищ-забулдыга, когда его мать ввела авторитарный режим чрезвычайного положения, вдруг взялся за крестного отца, дело Дона рассматривалось в суде, подконтрольном не Дону, а Санджаю, его посадили на полтора года. Занятное совпадение — как только чрезвычайное положение закончилось и Санджай впал в немилость, Дона освободили. Но он стал другим человеком: в тюрьме он утратил наглость и взамен обрел Бога.

Хотя они принадлежали к одной и той же конфессии, Нерон был мусульманином лишь номинально, и этот новый благочестивый Корлеоне ему не слишком пришелся по душе. Дон отказался от гангстерства и попытался — безуспешно — заняться политикой. Былые друзья разошлись. В восьмидесятые Султан Амир сник и был почти забыт, началась его долгая и в итоге проигранная борьба с раком — а Нерон в ту пору был большой шестеренкой. Но завращались уже и шестеренки покрупнее.

Прежде чем стать столь мрачно известным, Замзама Аланкар славился своими усами, эта густая зловещая поросль казалась паразитическим организмом, растущим откуда-то изнутри головы, быть может, даже из мозга, словно она спускалась вниз через нос и так достигала внешнего мира, как инопланетное существо проступало на верхней губе, неся весть о великой и опасной власти организма-хозяина. Когда-то эти усы завоевали первую премию на конкурсе усов в его родной приморской деревне Банкот, но потом Замзама стал играть в куда более крупные игры. Он родился в семье полицейского в далеком городке на берегу Аравийского моря, поблизости от старой морской крепости, но — возможно, потому, что

уже в детстве его отношения со строгим отцом не сложились — он очень мало уважал и закон, и тех, кто его охранял, что на земле, что на воде. Впервые он обратил на себя внимание в системе "Хавала" — эта система позволяла передавать деньги из одного места в другое без бумажного следа, только на основании устного слова: вручаешь деньги брокеру в некоем месте А, и тот за небольшую комиссию отдает распоряжение брокеру в месте Б, который и выплачивает всю сумму адресату, достаточно лишь назвать пароль. Так деньги "двигались без движения", согласно девизу "Хавалы", цепочка могла быть сколь угодно длинной. Система стала популярной, поскольку требовала комиссию гораздо более низкую, чем легальные банки, а кроме того, умела обходить разные проблемы вроде колебаний обменного курса: "Хавала" утверждала собственный курс обмена, и все его строго придерживались. Сеть полностью полагалась на честное слово брокеров, работавших по всей стране и даже в других странах (впрочем, если бы брокер "Хавалы" повел себя нечестно, едва ли стоило бы делать ставку на его долголетие). В Индии система считалась нелегальной, поскольку, подобно разбивке и перекруту, она эффективно способствовала от-

мыванию денег, но Замзама продолжал работать с размахом, не только на Индийском субконтиненте, но и по всему Ближнему Востоку, на Африканском роге и даже в некоторых областях Соединенных Штатов. Впрочем, и "Хавалы" ему показалось мало. Он хотел воссесть на *kursi,* то есть на престол, возглавить преступный мир, и теперь, когда Султан Амир был устранен с его пути, сидел в тюрьме, Замзама рванулся к власти, ему помогали "лейтенанты" — Большая Голова, Короткие Пальцы и Маленькие Ножки. Предстояло побороться с приверженцами соперника по имени Жирный Джавед, но вскоре Замзама устранил соперника, пустив в ход приемы, глубоко шокировавшие всех членов "семейства" Султана Амира, столь склонного к ненасильственному пути. Техника эта была проста: убийства. Тела Жирного Джаведа и членов его клана во время отлива остались на прибрежном песке Джуху, словно дохлые рыбины, и это не только решило вопрос о власти — это была весть всему городу, верхнему миру, а не только подполью: настал новый день, гласили трупы. В город пришел новый игрок и с ним новые правила. Вместо "Компании-С" у нас теперь "Компания-З".

Его брат Саллу по прозвищу Лодка помог Зам-

заме закрепиться в городе: он выбрал своей мишенью дона района Донгри, Папашу Джиоти, вместе с бандой своих ребят зажал Папашу и его людей и свирепо избил их пустыми стеклянными бутылками из-под газировки, кампа-колы и лимки. Так он избавился от Папаши, которого с тех пор больше не видели в городе, но зато разразилась более серьезная гангстерская война — против пуштунской банды из Афганистана, которая начинала с ростовщичества, открывала офисы на улице, как раз именовавшейся Редимани-лейн, “проезд быстрых денег”, но быстро перешла к рэкету некрупного масштаба, требуя деньги за крышевание с владельцев небольших лавок и частников как в трущобах, так и на городских рынках. Расценки в ателье, часовых мастерских, парикмахерских и у продавцов кожаных изделий выросли, поскольку теперь приходилось платить рэкетирам. Проститутки на Фолкленд-роуд тоже стали требовать доплаты. Эти малодоходные ремесла не могли самостоятельно удовлетворить вымогателей, поэтому новые расходы перекладывались на клиентов. Таким образом, значительная часть горожан оказалась вдруг вынуждена платить, так сказать, дополнительный налог, оброк гангсталэнда. Но

что делать? Выхода не оставалось — раскошеливайтесь!

Затем пуштуны задумали устранить Лодку и Пушку, то есть Замзаму, и наняли для этой работы Мэнни, главного *dacoit*, то бишь бандита из Мадхья-Прадеша. Сложилось так, что у Лодки Саллу имелась подружка-танцовщица Чару, и однажды (дело было в начале восьмидесятых) он забрал ее из ее жилища в центральном Бомбее и повез на “фиате” в любовное гнездышко в Бандре. Однако у него на хвосте повисли Мэнни с пуштунами, они окружили “фиат” на бензоколонке, где Лодка Саллу остановился по пути. С искренней галантностью Мэнни и пуштуны попросили Чару выйти из машины и удалиться. После этого они выпустили в Лодку пять пуль и убедились, что он мертв. Они со всей поспешностью передислоцировались к штаб-квартире Замзамы на улице Пакмодиа, надеясь застать его врасплох прежде, чем до него дойдет весть о гибели брата, но здание основательно охранялось, и завязалась перестрелка. Замзама даже не был ранен. Вскоре вожди пуштунов были арестованы, им предъявили обвинение в убийстве Лодки. Во время слушаний стрелок “Компании-3”, наемный убийца, христианин по имени Дерек, ворвался

в зал заседаний и расстрелял пуштунов из автомата. В итоге за восьмидесятые годы в затяжных гангстерских войнах погибли по меньшей мере полсотни из числа бойцов “Компании-3” и пуштунов, но в итоге афганскую банду удалось выдавить, а крестный отец Замзама утвердился на престоле. После смерти старшего брата Замзама принял решение отказаться от личной жизни. “Подружка, — это слабость, — услышал от него Нерон. — Семья — это слабость. Для других это хорошо. Но боссу непозволительно. Я — кот, который гуляет сам по себе”. Сам по себе — если не считать круглосуточной охраны из двенадцати человек, иными словами, тридцать шесть вооруженных мужчин работали на него, сменяясь через каждые восемь часов. И еще команда обученных уходить от слежки водителей, за рулем бронированных лимузинов-“мерседесов”, специалисты по “химчистке”, то есть умевшие проверять, не находится ли дорога под наблюдением (опять-таки, по четыре водителя в смену, три смены в сутки). К тому же парадная дверь в его доме была из толстого стального листа, окна также пуленепробиваемые, с толстыми металлическими ставнями, в любое время дня и ночи на крыше дежурили тяжеловооруженные бойцы.

Городом управлял человек, живший в клетке, сам для себя эту клетку построивший. Чтобы обеспечить себе неуязвимость, он использовал уязвимость других людей, их семей и имущества: все это послужило основой для его богатства и власти.

(*Я не специалист в отрасли, ныне именуемой “Болливуд”, но она явно любит гангстерские фильмы и гангстеров своих любит. Бум этой киноиндустрии вполне можно отсчитывать от “Компании” Рам Гопала Вармы, “Перестрелки в Локандвале” Апурвы Лакхии или “Однажды в Мумбаи” и “Однажды в Мумбаи-2” Санджая Гупты. Лишняя буква “а” в слове “Мумбаи” — нумерологическое суеверие, новинка: люди то и дело добавляют или убирают гласные, чтобы сделать свои имена или, как в данном случае, названия своих фильмов более удачливыми и успешными: Шобхаа Де, Аджай Девгн, Мумбаай. Не стану и пытаться рассуждать об эффективности или неэффективности подобных коррекций.*)

Наконец, “Айбак”, фильм о Кутб ад-Дине Айбаке, первом из царей-рабов, и о строительстве Кутб-Минара, дало всей отрасли понять, что новый крестный отец взялся за дело всерьез. Высокобюджетная историческая драма была

главным проектом всей жизни одного из патриархов Болливуда, продюсера Карима, в ней участвовало трое из “шести парней и четырех девушек”, которых общественное мнение считало суперзвездами той эпохи. За две недели до начала основных съемок Карим получил письмо, извещавшее его, мусульманина, что затеваемый фильм наносит оскорбление исламу, ибо представляет нового правителя рабом. Проект следовало закрыть или же выплатить в качестве “извинения и выкупа права на съемки” крор[86] рупий старыми банкнотами, ни в коем случае не с последовательными номерами, представителю “Компании-З”, который явится в урочный час. Карим немедленно созвал пресс-конференцию и публично высмеял Замзаму Аланкара и его банду. “Эти пфилистеры воображают, что могут пфакать меня? — орал Карим, взрываясь на каждом звуке “ф”. — Они так невежественны, что знать не знают: имена этой династии, Мамлюк или Гулам, оба значат “раб”. Мы задаем новый стандарт в нашей отрасли, веху, живую иллюстрацию нашей истории. Банда придурков нас не остановит”.

Четыре дня спустя небольшая основательно

---

[86] Примечания: 86
Десять миллионов.

вооруженная группа мужчин во главе с лейтенантами Замзамы Большой Головой и Короткими Пальцами вторглась на охраняемую площадку в Мехраули, где рядом с подлинным Кутб-Минаром возвели чрезвычайно сложные декорации фильма, и подожгла всю конструкцию. Фильм так и не был снят.

Вскоре после уничтожения декораций Карим стал жаловаться на острую боль в груди и умер — буквально от разбитого сердца. Врачи, вскрывшие тело, сказали, что этот орган буквально разорвался. С тех пор никто не смел смеяться на Замзамой Аланкаром.

Нерон. как и прежде, приглашал Замзаму на свои вечеринки, и актеры из топ-списка продолжали к нему приходить. Сам Замзама начал устраивать такие роскошные празднества, каких еще не видали, забрасывал в Дубай гостей целыми самолетами, и никто не отказывался. Так, наверное, было в пору высшего успеха Аль Капоне — темный гламур, соблазн опасности, ударяющий в голову коктейль соблазна и страха. О вечеринках Замзамы писали во всех газетах, звезды блистали там своей ночной красой. Полицейские сидели на попе ровно. Порой утром, после яркого праздничного фейерверка, в дверь

продюсера, отсыпавшегося после излишнего веселья в роскошной каюте на яхте “Компании-3” — возможно, под боком у него лежала старлетка, настолько глупая, что даже не понимала: таким способом ей наверх не пробиться, — стучали и появлялся Большая Голова или Маленькие Ножки с контрактом, который продюсеру оставалось только подписать, уступив на самых невыгодных условиях все права на распространение очередного своего фильма за рубежом. Здоровенная пушка, поднесенная к виску, помогала ему принять решение, а поскольку дни галантности миновали, никто не предлагал голенькой старлетке привести себя в порядок и уйти. Снаружи вечеринка, внутри бизнес — так действовала “Компания-3”. Многим крупнейшим в Болливуде людям приходилось просить защиты у полиции, и никто не мог быть уверен, поможет ли это, ведь люди в форме тоже могли оказаться наемниками Замзамы, и оружие, предназначенное для охраны, могло обратиться не вовне, против непостижимого и опасного города, а на самого подзащитного. Закон? Закон закрывал на все это глаза. Разве что изредка вылавливали мелкую рыбку, бросали ее в тюрьму, чтобы успокоить публику. Большая рыба преспокойно плавала в

этом море.

— Доченька, доченька! — восклицал Нерон. — Я был из худших среди них, потому что они никогда даже не пытались меня принуждать. Я добровольно работал с их деньгами, они были со мной щедры, и я принимал все это, таков путь нашего мира, думал я, и, может быть, он действительно таков, но этот мир — скверное место, надо бы искать мир получше, чем этот, который мы сотворили.

Он не стал жертвой рэкета и вымогательства, но, чтобы его подчинить, этого и не требовалось. Угрозы, покушения на убийства и состоявшиеся убийства тех лет напугали его до одури. Ему было что терять, и немало. У него была дорогая недвижимость, он занимался строительством по всему городу, имел жену, имел сыновей. Все слабости, которые Замзама высматривал в других, которыми пользовался. Людям из “Компании-3” не приходилось даже указывать на эти слабости, между гангстерами и Нероном сформировалась неназываемая вслух связь. Кем он для них стал? У них появлялось грязное белье, и он занимался стиркой. Он был их дхоби. Они его так и называли — Большая Голова, карлик, и Короткие Пальцы, оранжеволосый, и Маленькие Ножки — ни у

кого таких огромных ступней не было. “Эй, дхоби! — произносили они в трубку телефона. — Тут для тебя постирушка. Приезжай и забирай ее в гхат”. Он являлся по вызову, и они щелкали пальцами перед его носом: “Давай, отчищай, — командовали они. — Марш-марш”. Сам Замзама держался более уважительно, он называл Нерона его тогдашним настоящим именем, прибавлял почтительное — сахиб, джи, джанаб. Но и уважение было способом выразить презрение: “Ты принадлежишь мне с потрохами, засранец, и не забывай об этом”. А Нерону таких намеков и не требовалось. Он не был героем. Он не хотел терять ни родных, ни пальцы на ногах. Так что не было и малейшего шанса, что он забудет.

Злодеи соскакивали с киноэкранов, вторгаясь в зрительный зал, все они, размеров нечеловеческих, киношных, неслись по рядам, выскакивали на улицу, ружья сверкали, и его настигало виноватое чувство — его любимая отрасль отвечает за это, она породила чудовищ, придала им гламур и сексапильность, и теперь они завладели городом. “Бомбей мери джаан”, напевал он, и мысли его вторили словам песни: “Бомбей моя жизнь, моя любимая, куда же ты ушла”, те девушки на Марина-драйв в вечерней прохладе с жасминовыми

венками на головах, джаз воскресным утром, джем-сешн на Колаба или Черчгейт, слушали “Чик чоколейт”, саксофон Криса Перри, голос Лорны Кордейро; пляж Джуху, пока люди вроде него самого не застроили его по периметру; китайская еда — красивый город, лучший город на Земле. Но нет, неверно. Песня, что для города была тем же, чем для другой метрополии “Нью-Йорк, Нью-Йорк”, всегда предостерегала: этот город — крепкий орешек, жить в нем нелегко, и отчасти песня сама в этом виновата, игроки и головорезы, воры и коррумпированные бизнесмены, о которых она повествовала, выпрыгивали из ее строк, как герои из фильмов, и вот они все уже тут, запугивают приличных людей, вроде той наивной девчонки из песни, девчонка заступалась за великий город: *О сердце, в этом городе жизнь легка,* но даже она предупреждала: *Остерегайся, ты пожнешь то, что посеешь. Именно то, что посеешь, то и пожнешь.*

(*Да, это фильмы виноваты, это песня виновата. Да, Нерон, вали все на искусство, на индустрию развлечений. Куда проще, чем обвинять конкретных людей, реальных участников этой драмы. И куда приятнее, чем винить себя самого.*)

Он продолжал выполнять свои обязанности:

чемоданы, разбивка, перекруты. Он даже согласился стать одним из звеньев в цепочке, передававшей большие деньги “Хавалы”, когда его “мило попросил” самолично Замзама Аланкар, обрушив на него очередное извержение сахибов, джанабов и джи, однажды вечером на вечеринке у бассейна в клубе Уиллингдон. *Они никогда не пытались меня принуждать.* Не было в этом надобности. Он охотно сделался пешкой в руках Замзамы. Он считал себя королем в своем городе, а был лишь жалким пехотинцем. Замзама Аланкар — вот кто король. Да и не совсем правду Нерон говорил о принуждении. И это он теперь готов был признать. Правда в том, что у него никогда не вымогали наличные — но принуждали к гораздо, гораздо худшему.

Замзама, Пушка, был человек несентиментальный. Однажды, согласно легенде — он был из тех, кто немало внимания уделяет взращиванию легендарного своего образа — Маленькие Ножки похитил сутенера по прозвищу Муса-Мышь, который вздумал досаждать некоторым девушкам “Компании”, велел запечатать его в металлический контейнер в порту, а затем нанял судно, которое вывезло контейнер за пределы гавани, и там контейнер отправился на дно морское. Два

дня спустя мать Мыши показали по телевизору, всю в слезах. “Сейчас же узнайте номер ее мобильного”, распорядился Замзама, и минуту спустя, *пока она все еще давала интервью в прямом эфире,* он позвонил. Женщина в растерянности ответила на звонок и услышала голос Замзамы: “Сука, твоя мышь превратилась в рыбу, а если ты не прекратишь шуметь, сама превратишься в *кима.* Ба-бах!” “Кима” означает фарш, мелкорубленное мясо. “Ба-бах” — фирменный знак Замзамы, всякий, у кого в ухе происходил этот взрыв, сразу же понимал, с кем только что довелось говорить. Женщина прекратила плакать — раз, и все — и никогда больше не разговаривала ни с одним журналистом.

Не питал Замзама сочувствия и к романтизации прошлого в духе “Бомбей мери джаан”, к чему был склонен Нерон. “Город мечты давно исчез! — без обиняков заявлял он Нерону. — Ты сам застраивал и его центр, и окрестности, задавил старое новым. В Бомбее твоей мечты царили мир и любовь и светское мировоззрение, бомбейцы не разделялись на общины, индуисты-мусульмане бхай-бхай, все люди братья, верно говорю? Чушь собачья, ты же опытный человек, мог бы соображать получше. Люди есть люди, у каждого

свои боги, это никогда не изменится, и никогда не прекратится вражда между племенами. Вопрос лишь в том, что сейчас на поверхности и насколько глубоко залегает ненависть. В этом городе — Мумбаи — мы выиграли войну между гангстерами, но главная война впереди. Теперь в Мумбаи только два гангстерских клана — собственно гангстеры, мафия, это я, “Компания-3”, и других нет. А мы кто, на 95 процентов? Мы мусульмане. Люди Книги. Но есть и другая банда — политические гангстеры, и вот они индуисты. Индуистская политика заправляет муниципалитетами, у индуистских политиков собственные индуистские банды. Раман Филдинг, слышал такое имя? Он же Мандук Лягушка[87]. Понял, о чем я? Тогда и вот что пойми: сначала мы сражались только за территорию. Эта битва закончена. Теперь начнется священная война. Ба-бах.

Султан Амир “обрел веру” ближе к концу жизни, и то была мистическая, суфийская разновидность веры. Замзама Аланкар к началу девяностых сделался приверженцем гораздо более свирепой версии их общей религии. Столь глубокая перемена в мировоззрении и сфере

---

[87] Примечания: 87
Персонаж “Прощального вздоха Мавра” С. Рушди.

интересов Замзамы произошла под влиянием проповедника-демагога по имени Рахман, основателя и секретаря воинственной организации, расположившейся в городе и именовавшей себя “Академия Азхар”: она проповедовала идеи известного в XIX веке смутьяна имама Акхара из Барели, города, в честь которого была названа секта барелви — и светочем этой секты как раз и стал проповедник Рахман. Академия предъявила себя городу сначала демонстрациями против правящей партии — правящая партия именовала эти демонстрации “беспорядками”, но, по крайней мере, они доказывали, что академия способна почти мгновенно вывести на улицы многочисленные толпы, а затем спустить эти толпы с цепи. К величайшему неудовольствию Нерона Замзама принялся попугаичьи твердить демагогические речи Рахмана, порой чуть ли не дословно. Аморальность и упадок. Злобная враждебность и вырождение. Противостоять и биться насмерть. Чистое первозданное учение. Верная перспектива. Истинная красота и слава. Наша обязанность сохранить общество от. Преимущества гениального учения такого-то. Наша решимость сильнее чем. Наш научно-обоснованный способ жить в этом мире и в грядущем. Этот

мир ничто, лишь путь к величию за его пределами. Эта жизнь ничто, кашель перед тем, как зазвучит бессмертная песнь. Если приходится жертвовать жизнью, мы отдаем пустяк, всего лишь кашель. Если нам придется восстать, мы восстанем с огнем справедливости в руках. Мы поднимем праведную длань Господа, и они ощутят, как она ударит их по лицу.

— Черт побери, Замзама, — сказал ему Нерон при встрече на борту “Киплинга”, яхты Замзамы — Пушка держал ее в гавани и использовал для укромных переговоров. — Что с тобой? Ты всегда казался мне светским человеком, а не жуком-богомолом.

— Время пустой болтовни прошло, — ответил Дон, и в голосе его прозвучала новая нота, показавшаяся Нерону угрожающей. — Наступает время суровых дел. И учти, дхоби: впредь чтоб я от тебя кощунственных речей не слышал.

Впервые вместо обращения “сахиб” Нерон услышал “дхоби”. И это ему тоже вовсе не пришлось по душе.

Компании в Дубай больше не снаряжали. В доме за стальной дверью теперь много молились. Человеку с душевным складом Нерона это казалось дикостью, он подумывал, не пора ли

как-то отдалиться от “Компании-3”. Полный разрыв не представлялся возможным, ведь мафия держала под контролем профсоюзы строителей и в особенности неорганизованную рабочую силу гастарбайтеров, стекавшихся в город со всей страны без бумаг и какого-либо юридического статуса. Но, пожалуй, он достаточно долго возился с деньгами. Хватит с него разбивки, перекрутов и “Хавалы”. Он законопослушный олигарх и должен избавиться от сомнительной стороны бизнеса.

Замзаме он сказал так:

— Думаю, я становлюсь слишком стар для работы с деньгами. Наверное, мне следует подготовить преемника.

Замзама выдержал паузу длиной в полную минуту. “Киплинг” стоял на якоре, главный парус был спущен и свернут, яхта слегка покачивалась на воде. Солнце зашло, и огни бухты Бэк-Бей горели у них над головой, дивной красоты арка, Нерон не уставал ею любоваться. И тут босс мафии заговорил:

— Любишь ли классическую американскую группу рок-н-ролла “Иглз”? — спросил он. — Гленн Фрай, Дон Хенли и так далее и так далее? — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — “Добро

пожаловать в отель «Калифорния»”.

После такой преамбулы Дон принялся, к изумлению Нерона, петь — громко, немелодично, и сама эта манера пения внушала страх:

“Можешь выписаться в любую минуту, но никогда не сможешь уйти”.

Так началась великая тьма, повествовал Нерон во тьме своего кабинета в Золотом доме. После этого разговора я оказался в аду. Вернее, я давно уже был в аду, но тут-то я почувствовал, как огонь лижет мне пятки.

И знаешь, что еще глупо — насчет этой песни про отель? Это ведь даже не было правдой. Потому что уйти — как, когда, где, — для него это было тоже главной задачей, не только для меня.

— Тебя шокирует мой рассказ, — заметил он. — Я тебя ужасаю, а ты ведь еще не слышала худшее. Ты напугана тем, что я успел рассказать, и на уме у тебя вертится один только вопрос. Ты любила мое дитя. Мое несчастное смятенное дитя. Ты любила моего ребенка, и ты спрашиваешь, без слов спрашиваешь, я вижу в твоих глазах в темноте этот вопрос: много ли знали мои дети.

Что касается твоего возлюбленного, он не причастен ко всему, о чем я до сих пор рассказывал.

Он тогда вовсе не родился или был малышом. Что же до старших, они росли в определенном социальном слое, в сословии большого бизнеса в большом городе, и знали, как это работает. Не подмажешь — не поедешь. Они знали о моем Доне Корлеоне, да. Но его все любили, и для них это была норма, как и для всех прочих. И мир кино они тоже любили. В доме бывали кинозвезды. Они запросто общались с женщинами из топ-списка. Словно бы проникали по ту сторону экрана. Это было приятно, и если у нас бывали также и доны, это было вполне приемлемо и никого не волновало. Во времена Султана Амира никто за это не осуждал. Но когда власть перешла к Аланкару, я стал скрывать от детей свое участие. Чем меньше они знали, тем лучше для всех. Это был совсем другой тип человека, и я держал семью от него подальше. Мой бизнес — это мой бизнес. Признаю, есть за что меня критиковать, и я не стану оправдывать или отстаивать свой выбор и свои поступки, я лишь излагаю все как есть. Твой мальчик был семилетним в 1993 году, а в 2008-м, когда мы переехали в Нью-Йорк, ему исполнилось двадцать два. И из всех троих он был наиболее поглощен самим собой. Его война разгоралась внутри, теперь я это ясно вижу. Его

пушки целились в него самого с тех самых пор — и до тех пор, пока не. Пока не. Так что скрывать от него было просто. И вряд ли он знал то, что я считал нужным скрывать. Также и мой старший мальчик, мой поврежденный мальчик, они его звали Харпо, город бывал порой жесток, да — для него тоже главный вопрос его жизни таился у него в голове, и на этот вопрос не было ответа. От него я тоже могу отвести обвинение. Остается лишь Апу. Он тогда звался Граучо. Апу — честно говоря, думаю, он знал. Он знал, но не хотел знать, и отсюда наркотики и алкоголь, чтобы оглушить себя, и ослепить, и довести до беспамятства. Я никогда не обсуждал с ним темную сторону. И он никогда не задавал вопросов. “Если бы мой отец был дантистом, — сказал он мне как-то раз, — хотел бы я знать, сколько он очистил нынче зубных каналов и сколько поставил пломб и кому? Вот и о тебе я думаю в таком же ключе. На работе можешь быть дантистом, но дома ты отец. Вот что требуется от тебя твоей семье: не пломбы, но отцовская любовь”.

Я очень мало ему рассказывал. Лишь внешние детали, то, что известно всем. Взяточничество, коррупция. Мелочи. Но, думаю, о крупном он догадался сам. Думаю, отсюда его распущенность,

пьянство, наркотики, женщины.

Там, дома, он еще не был художником. Он уже подражал образу жизни художников, но трудовой этики не имел. Богемствовал — но в Богемии издавна изготовляли красивое стекло, а он мало что делал, занимался только любовью, да и то, позволь мне об этом упомянуть, хоть ты и сочтешь это вульгарным, уж прости, наркотики не делают мужчину лучше как любовника — разве что в его собственном воображении. Так что, возможно, и в этой сфере он был не слишком эффективен. В Америке он исправился. (*Щелкает пальцами*). Раз — всё. Это на меня произвело впечатление, он сделался новым человеком, и тут все у него стало складываться. Его талант проявился, это каждый мог заметить. Я и сам впервые это заметил. Никогда раньше не догадывался, как велик его талант.

Они все трое обладали такой способностью: закрыть книгу прошлого и жить настоящим. Счастливый дар. Я-то закрываю книгу настоящего и по большей части живу в прошлом.

Но оставалось еще кое-что: гул в ушах Апу, голоса, иногда видения. Он долго принимал галлюциногены. Можешь на это возразить, если вы теперь так к этому относитесь, что подобные

средства делали его более чувствительным к тому, что незримо указывали пути воображаемого мира, открывали — как там? — врата восприятия. Или можешь назвать все это чушью собачьей. Можешь сказать, что у него был поврежден мозг, нарушена самая сердцевина. Три сына — и все трое с поврежденным мозгом, с разрушенной сердцевиной! Злосчастная судьба для любого отца. Несправедливая. Тем не менее это моя судьба. Апу имел видения, слышал голоса. Он тоже был безумен.

Так что я думаю, он знал, чем я занимаюсь, но сговорился с самим собой — не знать.

Вот почему он поехал обратно вместе со своей женщиной, заранее это не обдумав. Поехал домой и погиб. Думаю, перед смертью он понял, что его убило и почему. Он, наверное, знал, что это — последствие моих поступков. Это я и сам понимаю. Мне послали известие, и я его получил. Тьма сгущается. Конца ждать уже недолго. Вот почему я заговорил сегодня. Чтобы все было рассказано.

О двух событиях нужно рассказать, а между ними прошло пятнадцать лет. 1993-й — и 2008-й. Запомните даты.

В декабре 1992 года Нерон вновь явился на “Киплинг” к Замзаме Аланкару. Только что мечеть,

построенная первым могольским императором Бабаром на севере, в Айодхе, была уничтожена индуистскими активистами, которые утверждали, что мечеть стоит на мифологическом месте рождения господа Рамы, седьмой аватары (инкарнации) Вишну. В Мумбаи начались волнения. Сначала восстали мусульмане, затем их ответно атаковали приверженцы индуистского экстремиста Шивы Сены, а полиция, рассказывал Замзама, открыто держала одну сторону — за Сену и "против нас". Волнения постепенно затихали, зато ярость Замзамы истекала вулканической лавой и не ведала границ.

Это последняя соломинка, прокричал он Нерону. Последняя соломинка сломала спину верблюду, и теперь верблюда надо пристрелить.

Вмешиваться в подобные дела неразумно. Следует сосредоточиться на том, в чем мы сильны. Бизнес — вот что хорошо.

Здесь нет места разумному и неразумному. Это вопрос необходимости. А уж если что неразумно, так это уничтожать святую мечеть из-за слухов о месте рождения воображаемого существа.

Они его не считают воображаемым.

Они заблуждаются.

Аланкар вступил в контакт с обеспокоенными

единоверцами из соседней страны. Соседи твердо выступали за самые серьезные меры. План уже разработан, сказал Аланкар. Большой запас оружия, патронов и гексогена будет отправлен из соседней страны по морю к побережью Конкана в первые недели января. Место высадки — Дигха. А ты подготовишь чемоданы для береговой охраны: пусть оставят свободный проход по воде, там наши люди проскользнут на быстроходных катерах.

— Я, Занзама? Это не мой бизнес. Политика — нет, нет и нет. Об этом меня и не проси.

— Да, да и да. Твой дом прекрасно укреплен, так? Я видел его, тяжелые металлические двери закрываются автоматически, системы безопасности, охранники. Твоя семья чувствует себя там неуязвимой. Она же чувствует себя неуязвимой? Уж наверное. Но время от времени сыновья выходят в город? Еще бы, они же мумбайцы, живут полной жизнью. Счастливая семья. Поздравляю.

Мы давние партнеры, ты и я. Не стоит так отвечать мне. Ты добился большого успеха, большого богатства, молодец. Как обидно будет, если твои работники сложат инструменты. И какая трагедия — если вдруг, случайно, вспыхнет пожар. Так что выбора нет, нужно это сделать.

— Хорошо, это будет сделано.

— И будет еще вторая высадка, несколько недель спустя, у Шекхади. Та же задача.

План соседей предусматривал точную последовательность действий. Сначала — убийства. В Донгри, где прежде заправлял папаша Джиоти, изгнанный из города и побитый бутылками из-под газировки, существовала община рабочих-матхади, то есть тех, кто носит грузы на голове. Они спали на улицах, поэтому их легко было созвать. Следовало набрать достаточное количество этих носильщиков и пустить в ход небольшие ножи, резать глотки, чтобы походило на ритуальное убийство. Донгри — регион, где отношения между общинами напряжены, и соседи были уверены, что ритуальные убийства побудят оппозицию к мощному восстанию. Эта оппозиция была хорошо организована и пользовалась поддержкой полиции, но она столкнется с хорошо вооруженным отпором. Оружие будет заранее сложено в вероятных очагах конфликта. И гранаты будут, и бомбы. А затем бомбы вызовут еще большее возмущение, и соберутся новые толпы оппозиции, которые будут встречены автоматами и взрывчаткой. Вспыхнет пожар и охватит всю страну, и соседи порадуются, потому

что ублюдки получат свой урок.

С божьей помощью, обещал Замзама, этим ублюдкам мы нос в мясо расквасим.

В последний раз Нерон побывал на борту “Киплинга”. Настало время возвращаться на берег, но глава “Компании-3” кое-что еще хотел сказать напоследок: “Ты и я — едва ли мы снова увидимся. После того как эти события произойдут, я не смогу оставаться в этой стране. Твое положение проще. Я всегда заботливо относился к тебе, и, как ты знаешь, между мной и тобой существует длинная цепочка посредников, и ты можешь на сто процентов все отрицать, так что, я думаю, все обойдется, и ты сможешь остаться здесь с женой и детьми. Но на всякий случай тебе, вероятно, тоже следовало бы продумать возможности отъезда”.

Замзама был прав. Эти двое действительно больше не встретились. И насчет стратегии он тоже был прав.

События 12 марта 1993 года широко освещались в газетах, и нет надобности вдаваться в детали. Заминированные машины и скутеры. Бомба в подвале биржи. Три базара, три отеля, аэропорт, кинотеатр, паспортный отдел, банк — ба-бах, ба-бах, ба-бах. Даже поселение рыбаков в Махиме — ба-бах! Такси-бомба у Врат Индии — здоровен-

ный ба-бах.

И все же соседи остались, видимо, разочарованы. Жизней загубили немало, но гражданская война вопреки расчетам не вспыхнула. Город и весь народ сумели сдержать себя. Произошли аресты, наступило спокойствие, и мир восстановился. Замзама Аланкар сбежал вместе со своим подручным Короткие Пальцы, и они были объявлены государственными преступниками № 1 и № 2. Согласно широко распространенным слухам, они в итоге поселились в гостях у соседей, и Замзама продолжал издалека руководить “Компанией-3”. Соседи же утверждали, что понятия не имеют о местопребывании беглецов.

В следующие годы подпольный мир пережил величайшее разделение. После терактов полиция надавила на “Компанию-3”, как никогда раньше не давила, все прежние договоренности и взаимопонимания рухнули, вся структура готова была рассыпаться. Спутниковые телефоны и надежные системы общения в интернете продолжали работать, так что Замзама имел возможность посылать инструкции и править своей стаей, но не слишком ли он и Короткие Пальцы о себе понимали, знай себе отдают приказы на расстоянии, головой-то рискуют другие. Посте-

пенно увеличивалась дистанция между обоими отсутствующими лидерами и теми двумя, кто оставался на хозяйстве, Большой Головой и Маленькими Ногами — им пришлось иметь дело с обвинениями в организованной преступности и терроре, и на то, чтобы добиться оправдательного приговора, ушло пять лет, то есть они прожили пять лет под дамокловым мечом закона, и это усиливало их досаду. На исходе пятилетки “Компания-3” оставалась “Компанией-3”, и лояльность ее людей сохранялась, однако все знали, что существует “Филиал-3”, группа, которая теперь приносила присягу в первую очередь карлику и парню с гигантским размером обуви, и хотя эти двое и те двое, что гостили у соседей, заключили своего рода союз, особой любви между ними не наблюдалось.

Нерона пригласили на встречу с Головой и Ногами. Теперь уже не на роскошной яхте в гавани, а в *басти*, глубоко в трущобах Дхавари, куда его отвезли мужчины, которые не говорили с ним и, судя по их виду, не жаждали услышать его голос. В трущобном жилище Голова приветствовал его кивком, а Нога носком ноги указал на кирпич. Садись, велел Нога.

— Вот что нам о тебе известно, — приступил к

делу Голова.

— Ты– дхоби, — подхватил Ноги.

— Ты чистишь то, что загрязнилось.

— Так что трудно поверить, чтобы ты ничего не знал. Это мы ничего не знали. Этот вопрос нам предстоит еще уладить с боссом. Но ты? Ты ничего не знал?

— Чтобы это принять, придется растянуть нашу доверчивость.

— Это напрягает наши *dimaags.*

— Тем не менее. Нашим *мозгам* также известно следующее — а) и б). А) ты не любишь политику и б) ты не влезаешь в религиозные дела.

— Так что выходит баланс. С одной стороны и с другой стороны.

— Решено толковать сомнение в твою пользу.

— И наша позиция такова: эта операция причинила “Компании” ущерб. Отныне мы намерены отстраниться от подобных операций.

— Мы объявили это боссу и Пальчикам.

— Они согласны.

— Новое начало. Возвращение к первоосновам. Не удаляться от наиболее знакомой нам сферы.

— Однако в делах компании главная проблема — доверие. А наше доверие к тебе, как бы это сказать…

— Подорвано.

— Сотрясено.

— Ранено.

— Недоверчивое доверие неблагонадежно.

— Это попросту недоверие.

— И все же решено толковать сомнение в твою пользу.

— См. выше.

— Поэтому мы попросту расстаемся с тобой. Ты живи дальше своей жизнью, мы своей.

— Но если когда-либо хоть капля информации просочится от тебя о нас.

— Мы отрежем твой пенис.

— И пенисы твоих сыновей.

— И засунем их твоей жене в рот.

— И я оттрахаю ее сзади.

— А я тем временем перережу ей горло спереди.

— Ты свободен. Ты можешь идти.

— Шагай поживее.

— Пока мы не передумали.

— Потому что эта идея с пенисами очень неплоха.

— Нет-нет. Это он шутит. Прощай, дхоби. Прощай.

Прошло пятнадцать лет. Пятнадцать лет —

большой срок, вполне достаточно, чтобы забыть все, что хотелось оставить в прошлом. Сыновья выросли, выросло и его богатство, и тень криминального мира, тень, поднимавшаяся из-под земли, уже не лежала на его доме. Жизнь человеческая со своими подъемами и спадами продолжалась. Нерон подготовил вариант для эмиграции, но не было нужды прибегать к этому, не было надобности покидать дом, рвать свой мир пополам и одну из половин выбрасывать. Пятнадцать лет. Достаточно, чтобы успокоиться.

А потом наступил 2008 год. И в августе 2008-го, в аэропорту, когда он стоял в очереди на пограничном контроле после деловой поездки в Нью-Йорк, Нерон увидел привидение. Призрак стоял в соседней очереди в будку пограничника, его знаменитые оранжевые волосы исчезли. Теперь волосы у него были черные, как у всех. Но за исключением волос это был он, прежний. Государственный преступник № 2. Нерон в изумлении глядел на Короткие Пальцы. Его же сейчас схватят, его застрелят при малейшей попытке сопротивления? Они встретились взглядами, Нерон нахмурился, пытаясь передать мегабоссу “Компании-3” свое изумление, но тот молча вздернул большие пальцы (которые и правда

были у него очень маленькие) и отвернулся. Они приближались каждый к своему окошку паспортного контроля. Офицеры в мундирах тщательно проверяли документы в той супербюрократической манере, что до совершенства отработана мелкими индийскими функционерами. Один лишь человек оставался в очереди перед Короткими Пальцами, и тут произошло нечто экстраординарное: все компьютеры в зале прибытия вдруг выключились — ба-бах! Прямо вот так. Все мониторы померкли. Несколько минут растерянности, пока служащие иммиграционного контроля пытались перезагрузить свои машины, а прочие служащие бегали взад-вперед. Компьютерный сбой оказался столь же тотальным, сколь и таинственным. Очередь забеспокоилась. Наконец глава смены отдал команду, и очередь задвигалась снова, всем давали отмашку, проверяли паспорта лишь вручную, и таким образом Пальчики миновал контроль и был таков, а две минуты спустя, когда Нерон приблизился к окошку, снова — ба-бах! — и компьютеры включились. “Компания-3” не утратила прежнюю хватку.

Зачем Короткие Пальчики пошел на такой риск и вернулся? Почему Замзама решился его

послать? Эти мысли тревожили Нерона, лишив его сна, и в два часа ночи пришел ответ: впервые за полтора десятилетия его телефон стал звонить в условной последовательности, сулившей беду. Три гудка — отбой, один гудок — отбой, два гудок — отбой, на четвертый раз надо взять трубку. Да, сказал он. Голос Коротких Пальцев в ухе, словно дьявольские когти ухватили и тащат в бездну. Еще один раз, сказал Пальчики. Последний.

Западный регион Индийского побережья разделен между пограничной охраной на пять зон. Зона-2 относится к Мумбаи, здесь у самого моря три базы, около Мурун Джанджира, Ратнагири и Дахану. Каждая база располагает достаточным количеством патрульных судов для ближнего и дальнего дозора, скоростными и сверхскоростными судами, и совсем маленькими, и еще более проворными патрульными лодками-перехватчиками. Также имеется воздушный флот из вертолетов и разведывательных самолетов. Но море велико, и при должной организации возможно оставить определенную зону без наблюдения. Для такой операции потребуется много чемоданов.

— Что на этот раз?

— Не задавай вопросов. Просто подготовь все.

— А если я откажусь?

— Не отказывайся. У Дона плохо со здоровьем. Соседи оказались не слишком гостеприимны. Его личная свобода ограничена, средства иссякают. Он думает, ему уже мало времени осталось. Он мечтает о последнем великом подвиге. Выбора у него нет. Соседи настаивают. Под угрозой депортации.

— Прошло пятнадцать лет, я давно вышел из игры.

— Добро пожаловать в отель “Калифорния”.

— Я не стану этого делать.

— Не отказывайся. Я же добром прошу. Я сказал — пожалуйста. Пожалуйста, не отказывайся.

— Я понял.

23 *ноября* 2008 *года десять боевиков, вооруженных автоматами и ручными гранатами, отплыли из вражеской соседней страны. В рюкзаках они везли амуницию и сильные наркотики — стероиды, кокаин, ЛСД плюс шприцы. По пути они захватили рыбацкий корабль, бросили свое судно, затащили две надувные лодки на борт рыбацкого корабля и указали капитану, куда держать путь. Поблизости от берега они прикончили капитана и сели в лодки. Задним числом многие удивлялись, как это береговая охрана*

их не заметила, не попыталась перехватить. Считалось, что берег тщательно охраняется, но в ту ночь случился какой-то сбой. Высадившись 26 ноября, боевики разделились на малые группы и направились к намеченным заранее целям: вокзал, больница, кинотеатр, еврейский центр, популярное кафе, два пятизвездочных отеля. Один из отелей — "Дворец Тадж-Махал", где супруга Нерона после ссоры с мужем сидела в Морской гостиной, закусывая сэндвичами с огурцом и жалуясь на свой брак подругам.

— Я не знаю, что сказать, — пробормотала Рийя.

— Ничего не говори.

— Вы помогли боевикам войти в город. Тем, кто в итоге убил вашу жену.

— Не надо ничего говорить.

— После этого вы бежали. Вместе с сыновьями.

Добавить осталось немного. После этих событий тело гангстера Короткие Пальчики обнаружилось на улочке в Донгри. Ему многократно воткнули в горло нож с коротким лезвием. Бывшие его партнеры Большая Голова и Маленькие Ножки были возмущены терактом, который вновь поставил в опасное положение "Компанию" и ее бизнес. Такое сообщение они послали Замзаме Аланкару.

А годы спустя жертвой их гнева стал и Апу. Они послали сообщение мне. Это сообщение гласило: мы знаем, ты в этом участвовал, и вот наш ответ. Эти имена собирается сообщить мне тот человек, Мастан. Имена, которые я уже знаю.

— Значит, вы несете ответственность и за смерть сына, как и его матери.

— То, что я делал, я делал, чтобы спасти их жизни. Я подставлялся, чтобы защитить их. В своем доме я король, но я сделался слугой. Прачкой. Дхоби. Но ты права — я проиграл. Ты обвиняешь меня, и я в самом деле виновен, и судьба наказала меня, отобрав сыновей. Один погиб от рук моих врагов, другой от собственной руки, третий от руки безумца, но все трое — моя кара и мое бремя, которое мне придется нести вовеки, так, и их матери тоже — мой грех. Мне преподали урок, и я его усвоил. Мертвые тела моих детей и их матерей лежат у меня на плечах, их вес гнет меня к земле. Ты видишь, доченька, я сокрушен пятой рока, словно таракан. Ты видишь — я сокрушен.

И теперь ты знаешь все.

— Что же мне делать теперь, когда я знаю все?

— Тебе необязательно что-то делать. Завтра утром ровно в девять часов ангел смерти придет выпить чаю.

32

Чего ожидать, если Джокер станет королем, а Бэтменша отправится в тюрьму? За стеной Сада все громче слышались смешки, уже более похожие на вскрики, и я не отличал вопли радости от гневных воплей. Я был изнурен и напуган. Может быть, я неверно представлял себе свою страну. Может быть, живя в пузыре, я уверовал в то, чего не было или чего было недостаточно для победы. Какой во всем прочем смысл, если случится худшее, если свет падет с неба, если ложь, и клевета, и уродство, уродство станет ликом Америки. Много ли тогда смысла в моей истории, моей жизни, моей работе, историях американцев древних и современных, семейств с “Мэйфлауэра” и тех, кто с гордостью принес присягу Америке аккурат вовремя, чтобы принять участие в срывании с нее масок, в ее уничтожении? Стоит ли и пытаться вникнуть в природу человека, если человечество оказалось гротеском, тьмой, *недостойным?* В чем смысл поэзии, кино, искусства? Пусть добродетель увянет на своей лозе. Пусть будет утрачен рай. Америка, та, которую я любил, — унесена ветром.

В последние выходные перед выборами я не мог уснуть, разум мой терзали такие и им подобные мысли. Рийя позвонила мне в пять утра, я лежал с открытыми глазами, уставившись в потолок. Ты должен прийти сюда, сказала она. Что-то должно произойти, я не знаю что и не могу оставаться тут одна. Старик уснул за рабочим столом, согнулся пополам в кресле, уперся лбом в деревянную столешницу. Рийя провела бессонную ночь, как и я. Но она, в отличие от католического священника в фильме Хичкока, нуждалась в ком-то, с кем могла бы разделить бремя услышанной исповеди, тайны, которая принадлежала теперь и ей тоже. Я пришел на ее зов, мы вместе сидели в Саду, пока не рассвело, и Рийя мне все пересказала. Что мне делать? — спросила она. — Что тут поделаешь? — ответил я. Но я уже знал ответ на ее вопрос, меня распирало творческое возбуждение, этот сюжет вырвал меня из пучины ночного отчаяния. Вот наконец недостающий кусочек, который мне требовался, темная сердцевина моего фильма, великое откровение, самая суть. Искусство есть то, что оно есть, люди искусства — шлюхи и воры, но мы чувствуем, когда кровь бежит по жилам, когда неведомая муза начинает нашептывать, торопить: скорее, ухвати это, я повторяться не

стану — и тогда к нам приходит ответ на все мучительные “зачем”, что терзают нас ночными страхами. Я припомнил Джозефа Финнеса в роли молодого Барда (“Влюбленный Шекспир”), как он выскакивает из-за стола, за которым писал — что писал? “Ромео и Джульетту”? — исполняет небольшой танец лично для себя и говорит самому себе без стыда и тщеславия: “Черт, это у меня славно вышло”.

(Возникает любопытный вопрос: знал ли Шекспир, что он — Шекспир? Но оставим это до другого раза.)

(У кино своей музы нет, как нет и у художественной прозы. В данном случае наиболее вероятными претендентками из муз могли быть Каллиопа — если бы мой замысел потянул на эпос — или же Талия, если это комедия, или Мельпомена, если бы я поднялся до высот трагедии. Но это не так важно. Забудьте.)

Давай сыграем в эту игру, предложил я. Посмотрим, что надумал сказать отставной полицейский. Драма имеет обыкновение поджидать драматурга в засаде. Что-то произойдет, и я не знаю что, сказала Рийя, потому-то и позвала на помощь меня, вот только мы оба не догадывались, что главным происшествием стану именно я.

Мы вернулись в Золотой дом, и в большой “семейной комнате” с окнами в Сад нас встретила Василиса. Одной рукой она держала своего маленького сына — моего маленького сына, моего сына! — а в другой руке был револьвер. Маленький, с перламутровой рукоятью, с золотой мушкой. Девушка с золотым револьвером. Она выглядела точно итальянская кинозвезда в шелковой розоватой ночной рубашке, над которой вздувался кружевной, до полу, пеньюар — Моника Витти или Вирна Лизи, я не успел выбрать, которая из двух. Но револьвер — это уж точно из Годара. Мне припомнилась героиня-убийца из “Пьеро”, проткнувшая ножницами шею карлика. Мне вовсе не хотелось повторить судьбу этого карлика. Я даже руки поднял. Надо подыгрывать, решил я. Рийя уставилась на меня, как на сумасшедшего.

— Доброе утро, Василиса, — сказала Рийя нормальным, некиношным голосом. — Убери, пожалуйста, эту штуку.

— Что вы делаете в моем доме? — спросила Василиса, не отводя от нас дуло. Она-то по крайней мере придерживалась сценария.

— Меня позвал Нерон, — сказала Рийя. — Он хотел поговорить.

— Он вздумал поговорить *с тобой?*

— Он многое мне рассказал. Скоро к нему придет человек.

— Какой человек? Почему не предупредили меня?

— Я пришел, потому что Рийя беспокоится, — вставил я. — Из-за этого человека.

— Мы встретим этого человека вместе, — решила Василиса. — Пора с этой тайной покончить.

Она убрала оружие в сумочку, где оно всегда обитало.

Снято. Затем последовательность быстро сменяющих друг друга кадров, соединяющих два эпизода и подчеркивающих плохое состояние Нерона. Он с трудом держится на ногах, голос дрожит, жесты смазаны.

Она разбудила мужа. Нерон был в плохой форме. Ясность вчерашнего долгого разговора исчезла. Нерон был невнятен, неуверен, словно труд воспоминаний исчерпал его до дна. Василиса помогла ему перебраться в спальню и распорядилась: “Душ!” Когда он принял душ, она также кратко приказала: “Одеться!” Он оделся, и она велела: “Обувь!” Он жалобно поглядел на нее. “Я не смогу завязать шнурки”, — сказал он. “На липучках, — сказала она. — Надевай!” После

того как кроссовки оказались у него на ногах, она протянула мужу горсть таблеток: “Глотай”. После того как он проглотил, она скомандовала: “Рассказывай!” Он покачал головой. “Человек из прошлого”, — сказал он.

Единственная причина, по которой я слыхал о шляпах борсалино — мои родители в свойственной им дружеской манере пререкались, наслаждаясь больше спором, чем надеждой на победу: можно ли внести эти прославленные федоры в их коллекцию знаменитых бельгийцев. Компания, производящая шляпы, находится не в Бельгии, а в городе Алессандрии, в Пьемонте, на аллювиальной равнине между реками Танаро и Бормида примерно в ста километрах от Турина.

О шляпах борсалино мне известны три вещи: они очень популярны среди ортодоксальных евреев, они вошли в моду в 1970 году, когда Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо снялись в таких шляпах во французском гангстерском фильме, который так и был назван в честь борсалино, и эти шляпы делают из фетра, а фетр — из меха бельгийских (ага!) кроликов.

Человек по имени Мастан, отставной полицейский, сидел на том же стуле в гостиной Золотого дома, который прежде занимал убийца Кински,

и, кажется, был несколько встревожен тем, что помимо Нерона его встретили угрюмоликая Василиса, Рийя и я. Поскольку день был выходной, прислуга почти вся отсутствовала — ни Сумятицы, ни Суматохи. Не было ни мастера на все руки Гонзало, ни мажордома Майкла Макнэлли, ни шеф-повара Сандро “Кока” Куччи. Я сам открыл дверь и впустил инспектора. Красивый мужчина! Волосы у него серебрились, ему было за семьдесят, как и Нерону, хотя, может быть, еще не так близко к восьмидесяти, в профиль он выглядел моделью для Мемориала Неистового Коня в Южной Дакоте. Вот только кремовый костюм прямиком вышел из фильма с Питером О’Тулом, а галстуком в косую красно-золотую полоску гордился бы любой британский джентльмен (лишь потом, порывшись в интернете, я уяснил, как сильно британский джентльмен гордился бы: галстук Мэрилебонского крикетного клуба — мечта настоящих игроков в крикет). Он сидел очень прямо, очень ровно, и все же руки непрерывно поигрывали с положенной на колени шляпой борсалино, выдавая нервозность. С минуту длилось неловкое молчание. Наконец Мастан заговорил.

— Три причины привели меня в Соединенные

Штаты, — сказал он. — Во-первых, я собирался навестить свою сестру в Филадельфии. Ее супруг успешно занимается переработкой пластиковых бутылок. Таким способом нынче создаются в Америке состояния. Найди одну хорошую идею и держись ее. Профессор Эйнштейн имел обыкновение говорить, что у него только и есть одна хорошая идея. Но в его случае это была идея об устройстве Вселенной.

Нерон пребывал в самой своей рассеянной форме, не мог сосредоточиться, взгляд блуждал, он что-то напевал себе под нос.

— Вторая причина — посетить могилу П. Г. Вудхауса, — продолжал Мастан.

(Это привлекло мое внимание, Вудхауса очень любили мои родители да и я сам. Вудхаус уже приходил мне на ум, когда на этом же месте сидел Кински.)

— Мистер Вудхаус очень популярен у нас на родине, — сказал Мастан. — Его надгробье — мраморная книга с выгравированными именами его персонажей. Но среди них нет моей самой любимой — мисс Мэдлин Бассет, которая считала, что звезды — это Божий веночек из ромашек. Впрочем, она из числа второстепенных персонажей. Как и я сам. То же самое. Мне всегда выпадала

исключительно поддерживающая роль.

— Мой муж нездоров, — угрюмо произнесла Василиса. — Если вы явились с какой-то целью, будьте добры, переходите к делу.

— О, что касается цели, мадам. Да. Потерпите, прошу вас. Есть видимая цель, а есть цель реальная. Видимая цель — та, о которой я сказал ему по телефону. Предостережение. Но старый джентльмен имеет большой опыт. Едва ли есть необходимость предупреждать его о том, что он и так уже знает. Сообщество наших людей в Америке выросло, мадам, среди них есть уже те, кто перерабатывает пластиковые бутылки, мадам, и новые технологические гении, премированные актеры, участвующие в выборах адвокаты, политики всех оттенков, дизайнеры моды, а также, мадам, члены криминальных банд, как ни прискорбно об этом упоминать. В Америке слово “мафия” имеет выраженно итальянский акцент, а потому лучше избегать этого слова и наших гангстеров называть как-то иначе. К тому же они пока мелочь, это лишь зародыши того, что итальянцы именуют семьей, а наши люди — *gharaney*, “домохозяйством”, а ныне “компанией”, этот термин сейчас популярен у нас на родине. Но большой энтузиазм сейчас и среди этих аме-

риканских компаний, новых домохозяйств, большой потенциал быстрого роста. И также наблюдается заметная связь со старой родиной, стремление к глобализации, общим делам. Наши люди в США хотели бы помочь людям на старой родине, облегчить их деятельность здесь в обмен на такую же помощь на родине. Ситуация меняется, мадам. Наступают иные времена. То, что раньше было немыслимо, становится возможно. Я хотел обсудить эти вопросы с господином, но теперь, когда встретился с ним лицом к лицу, вижу, что это будет излишним. Может быть, он это осознает, а может быть, нет. Может быть, его это тревожит, а может, нет. Его разум мог сохранить способность анализировать угрозы и риски, а мог эту способность утратить. Это не мое дело. Теперь я это понял.

И вот мы подходим к самой сути, мадам, благодарю вас за терпение. Суть заключалась в том, чтобы поглядеть на господина и понять, что же этот взгляд пробудит во мне самом. Этот человек избежал суда за многие злые дела. За соучастие в ужасных деяниях, мадам. Этот человек умело заметал следы, он использовал искусство и деньги, чтобы устранить все звенья между собой и многими неописуемыми вещами. Я обещал назвать

ему имена убийц его сына, однако он, разумеется, уже знает их, он много лет имел с ними взаимопонимание, пока они не обратились против него. Возможно, силы безопасности этой великой страны могли бы заинтересоваться такой информацией, и возможно, я бы сумел их заинтересовать, но, боюсь, без улик я покажусь им старым дурнем, хоть и был некогда их коллегой в далекой стране. Возможно, поглядев на этого человека, я захотел бы взять справедливость в свои руки, хотя оба мы старики. Возможно, я захотел бы ударить его в лицо, как ни глупо выглядит кулачная драка между двумя старыми остолопами. Не вовсе исключена и другая возможность: что я бы захотел пристрелить его насмерть. Я все еще умелый стрелок, мадам, а оружие в Америке легко приобрести. Но вот я смотрю на этого человека, того, кого я ненавидел на протяжении многих лет своей жизни, того, кто был некогда сильным мужчиной, и вижу, что застал его в пору слабости и он не стоит моей пули. Пусть ждет встречи со своим Богом. Пусть получит приговор тогда, когда предстанет перед высшим судом. Пусть ад завладеет им и пусть он вечно горит в адском огне. Итак, я сказал то, что хотел, и на том прощаюсь.

Рука Рийи на плече Василисы, предостерегающая: оставь револьвер там, где он сейчас лежит.

Мистер Мастан поднялся, склонил голову. Он двинулся к двери, и тут Нерон взметнулся с просевшего под ним дивана и чудовищно, шокирующе завопил во весь голос:

— Ты явился в мой дом и позволил себе так со мной разговаривать при моей жене?

Отставной полицейский замер, спиной к Нерону, шляпа все еще оставалась у него в руке.

— Ублюдок! — провизжал Нерон. — Беги! Это ты теперь — мертвец!

33

Когда на место действия прибывает детектив, кинозрители расслабляются в уверенности, что за преступлением теперь последует воздаяние, правда восторжествует. Но нет гарантии, что правда неизбежно одержит победу над неправдой. В другом фильме Хичкока, “Психо”, ужас именно в том, что умирают не те, кто должен. Джанет Ли — главная звезда этого фильма, но прежде, чем истекла хотя бы половина экранного времени, ах! — она зарезана в душе. Затем появляется детектив, его играет Мартин Болсам — милый, приятный, надежный Мартин, такой профессиональный, такой успокоительный, напряжение сразу спадает. Теперь все будет хорошо. И вдруг — аааах! Он тоже мертв. Заметка для себя: особенно страшно, когда погибают не те люди.

Отставной детектив инспектор Мастан, служивший когда-то в бомбейском отделе расследований: следует ли нам ожидать, что с ним случится беда?

И напоследок о мистере Хичкоке. Да, он в каждый фильм вставлял камео с самим собой, говорил, это для того, чтобы люди внимательнее

смотрели, дожидаясь, как и в какой момент он появится, но с другой стороны, он часто отделывался от этого побыстрее, чтобы не отвлекать от сюжета. Я рассуждаю об этом потому, что сейчас, как автор нынешней стремящейся к завершению работы (я слишком важничаю, в конце концов, это любительский проект), я должен признаться: пока я наблюдал описанную выше сцену, участвуя в ней без речей, во мне что-то нарастало неподконтрольно — в этот час разоблачения тайн я допустил, чтобы и моя тайна раскрылась.

Да, обычно я скрываю свои чувства. Держу их под замком или сублимирую — подменяю ссылками на фильмы. Даже в этот кульминационный момент моего рассказа, когда я выхожу из тени на авансцену, под свет рампы, я пытаюсь (но не могу) сдержаться и не упоминать последний шедевр Акиры Куросавы, “Ран”, в котором король Лир, так сказать, женится на леди Макбет. Триггером послужили слова инспектора Мастана, он назвал себя *старым дурнем* и, вольно или невольно, почти процитировал измученного шекспировского короля: “Не смейся надо мной, — молил старый Лир. — Я — старый дурень… Боюсь, я не совсем

в своем уме”[88]. Вот он сидит на диване, как на последнем своем троне, былой король, вопит в бессильной старческой ярости. Ветхий днями, разрушивший жизнь трех своих сыновей и уничтоженный не их враждебностью, как Лир, но их гибелью. А перед ним, столь же чудовищная на мой взгляд, как госпожа Каэде в “Ран”, высится Василиса Голден, мать его четвертого, единственного выжившего, обманом подсунутого ему сына, в сумке у нее револьвер, и глаза изрыгают огонь. А я, шут, начинаю монолог, который раскроет истину. Словно я забыл, что моя роль — вспомогательная, словно я мог, подобно инспектору Мастану, сделаться главным героем хотя бы в одной сцене.

К тому времени я уже презирал миссис Голден за ее высокомерие, за то, как она выбросила меня, будто грязную прокладку, после того как использовала меня в своих целях, за этот револьвер в сумочке, за фарисейское почитание списка с иконы, за поддельную бабушку, за тот неоспоримый факт, что любой ее поступок, каждый жест, интонация, поцелуй, объятие мотивировались не подлинным чувством, но хладнокровным

[88] Примечания: 88
У. Шекспир, “Король Лир”. Перевод Б. Пастернака.

расчетом. Мудрость паука, мудрость акулы. Она была омерзительна. Я ненавидел ее и желал причинить ей зло.

В том, как держался отставной инспектор индийской полиции, в его жестком самоконтроле, в голосе, не возвысившемся даже когда он проклинал Нерона, обрекая его на вечные муки, я узнал что-то свое. Может быть, Сучитра и впрямь угадала, когда сказала, что все персонажи этой истории — аспекты моей собственной натуры. Несомненно, я услышал самого себя не только в подавленном негодовании мистера Мастана, но и в бессильном старческом вскрике Нерона. Да, я пока еще не старец, но подобная беспомощность и мне знакома. Даже сейчас, когда я решился сбросить оковы, наложенные Василисой на мой язык, я понимал, что в первую очередь раню своей правдой самого себя. И все же я должен был говорить. Когда Рийя позвонила и вызвала меня в Золотой дом словами “что-то должно произойти” — сама Рийя пребывала в горе и растерянности, к ее скорби примешивалось теперь ужасное знание, — ее звонок пробудил поток чувств, которые я сначала не понимал, но их смысл сделался теперь внезапно совершенно ясен.

Выборы подступали, Сучитра, как всегда неуто-

мимая, взялась обзванивать избирателей, а во вторник и обходить дома, чтобы обеспечить явку. С ней первой должен был я, сев рядом, обсудить все спокойно, признаться, объясниться, выразить свою любовь, просить прошения. Уж это по меньшей мере я обязан был сделать — а вместо того я вдруг поднялся на дыбы посреди гостиной Голденов, раскрыл рот, и роковые слова затрепетали у меня на языке.

Нет необходимости приводить здесь сами слова.

Ближе к финалу прекрасной “Песни дороги” Сатьяджита Рая помещена та сцена, которую я считаю величайшей во всей истории кинематографа. Харихар, отец маленького Апу и девочки Дурги, постарше, возвращается в деревню, где он оставил детей со своей женой Сарбоджаей — он заработал в городе сколько-то денег и спешит домой, счастливый, с подарками для детей, не зная, что, пока его не было, Дурга заболела и умерла. Сарбоджаю он застает на пороге их дома, она сидит, онемевшая от горя, не в силах ни поздороваться с мужем, ни ответить на его слова. Не догадываясь, в чем дело, он начинает показывать ей подарки для детей — и тут наступает потрясающий миг: мы видим, как меняется его лицо,

когда Сарбоджая, спиной к камере, сообщает ему о Дурге. В этот момент, понимая, что любой диалог будет неадекватен, Рай заменил его музыкой — нарастая, она заполняет все, громкая пронзительная музыка *тар-шеная,* красноречивее любых слов выкрикивающая родительское горе.

У меня нет музыки. Я могу предложить только молчание.

Когда я сказал то, что следовало сказать, Рийя прошла через комнату и встала передо мной. Подняв правую руку, она изо всех сил ударила меня по левой щеке.

— Это за Сучитру, — сказала она. А затем тыльной стороной руки врезала мне справа и добавила: — А это за тебя.

Я стоял тихо и не двигался.

— Что он сказал? — посреди растерянности и гвалта пожелал выяснить Нерон. — О чем он говорит?

Я подошел к нему, опустился на корточки перед сидящим стариком и, глядя ему прямо в глаза, повторил:

— *Я отец твоего сына. Маленького Веспы. Твой единственный уцелевший сын — не твой. Он мой.*

Василиса ринулась на меня в байронической ярости, будто волк на отару, но прежде, чем она

добежала до меня, я увидел, как в глазах старика вспыхнул свет, и вот он уже снова с нами, присутствующий, бодрствующий, властный человек, вернувшийся из смутного странствия и вошедший в свое тело.

— Приведи мальчика, — велел он жене.

Она покачала головой. Не следует втягивать его в это, сказала она.

— Сейчас же приведи его.

Когда маленького Веспу доставили — Василиса держала его, бабушка стояла рядом, обе женщины повернулись боком к хозяину дома, прикрывая своими телами ребенка, — Нерон пристально, будто в первый раз, всмотрелся в мальчика, затем в меня, снова и снова переводя взгляд с него на меня, пока ребенок не разрыдался, безо всякой на то причины: видимо, как это умеют малыши, почувствовал напряжение. Василиса жестом указала старухе: *довольно.* Мальчика увели от его отца. Он даже ни разу не взглянул на меня.

— Да, — сказал Нерон. — Понимаю.

Больше он не промолвил ни слова, но я словно видел начертанные над его головой ужасные слова, те самые, что однажды Эмма Бовари мысленно сказала о своей дочери Берте: “Странно, до чего же уродливо это дитя”.

— Ничего ты не понимаешь, — сказала Василиса, придвигаясь к нему.

Нерон Голден поднял руку, веля жене остановиться. Потом он опустил руку и плюнул себе на запястье.

— Расскажи все, — велел он мне.

И я рассказал.

— Я не стану это слушать, — сказала Рийя и покинула дом.

— Я отказываюсь это слушать, — сказала Василиса и осталась в комнате, чтобы выслушать до конца.

Когда я завершил рассказ, старик надолго задумался. Затем он сказал, низким, мощным голосом:

— Теперь мне нужно поговорить с женой наедине.

Я повернулся уходить, но прежде, чем я вышел из комнаты, он произнес странные слова:

— Я назначу тебя опекуном мальчика на случай, если с нами обоими случится что-то дурное. Сегодня же вызову юристов, пусть составят бумагу.

— Ничего с нами обоими не случится, — заявила Василиса. — К тому же сегодня выходной.

— Мы с тобой поговорим наедине, — ответил

ей Нерон. — Проводи Рене, будь добра.

Пока я брел по Макдугал в сторону Хаустон, адреналин из меня вышел и настиг страх перед будущим. Я знал, что следовало сделать, чего я никак не мог избежать. Я хотел дозвониться Сучитре — голосовая почта. Я написал сообщение: *надо поговорить.* Я брел через город, домой по Шестой авеню, через Трибеку, не видя вокруг себя ничего. На углу Норт-мур и Гринвич пришел ответ: *дома поздно о чем.* Как мог я на это ответить. *Нет проблем увидимся.* Я свернул на Чемберс, прошел мимо школы имени Стёйвесанта. Дурные предчувствия терзали меня. Что же теперь будет? Что она подумает обо мне, о том, что услышит от меня? Самое худшее.

Но если бы природа человека не была загадкой, не понадобились бы и поэты.

34

Позже. Скажем, существенно позже. Некий мудрец однажды высказал предположение, что Манхэттен ниже Четырнадцатой улицы в три часа утра 28 ноября превращается в Готэм-сити Бэтмена, а Манхэттен между Четырнадцатой и Сто десятой в самый яркий и солнечный июльский день — Метрополия Супермена. Спайдермен, запоздавший к шапочному разбору, висит вниз головой в Квинсе, размышляя о власти и ответственности. Все эти города, невидимые воображаемые города над, и вокруг, и в переплетении с реальным городом, все они оставались еще нетронутыми, хотя после победы на выборах Джокер — зеленые волосы светятся торжеством, кожа белая, словно капюшон куклуксклановца, с губ капает неведомо чья кровь — завладел ими всеми. Джокер, шут, стал королем и поселился в золотом доме на небесах. Горожане хватались за клише и напоминали друг другу, что птицы все еще поют на деревьях и небо не рухнуло на землю и даже бывает довольно часто голубым. А по радио и в музыкальных приложениях, в наушниках с блютусом у беззаботной молодежи,

все еще стучали привычные ритмы. “Янкиз” все еще волновались насчет ежегодной смены игроков, “Мет” все так же не дотягивали до привычного уровня, “Никс”, как обычно, страдали от злой судьбы — быть “Никс”. Интернет не меньше прежнего наполнялся ложью, и дело правды было безнадежно порушено. Лучшие лишились всяческих убеждений, худшие преисполнились яростной страсти, и слабость праведных подчеркивалась неистовством неправедных. Но Республика устояла — более-менее. Позвольте мне просто повторить это утверждение, потому что его часто произносили в утешение тем из нас, кто никак не мог утешиться. Отчасти это вымысел, но все же я его повторю. Я знаю, после бури еще одна буря и потом еще одна. Я знаю, что бурная погода спрогнозирована теперь навеки, и счастливые дни едва ли возвратятся, и отныне в моде нетерпимость, и система действительно повреждена, да только не в том аспекте, на который упорно указывал нам злобный клоун. Порой выигрывают скверные парни, и что же делать, когда мир, в который ты верил, окажется бумажной луной, а Темная планета восстает в небесах и заявляет: “Нет, Вселенная — это я”? Как жить среди сограждан, не зная, который или которая из них

принадлежит к тем шестидесяти с лишним миллионам, что привели чудовище к власти, не зная, кто принадлежит к девяноста с лишним миллионам, что пожали плечами и остались дома; жить, выслушивая от сограждан-американцев речи о том, что знание элитарно и они ненавидят элиту, а у тебя нет и никогда не было ничего, кроме собственного разума, и ты вырос с верой в привлекательность и желанность знания, с верой не в чушь насчет знание-это-сила, а в то, что *знание — это красота,* и вдруг все это, образование, искусство, музыка, кино становятся объектами ненависти, и тварь из *Spiritus Mundi*[89] восстает и ползет в сторону Вашингтона, округ Колумбия, чтобы там явиться на свет. Я мог лишь уйти в частную свою жизнь, держаться за ту жизнь, что была мне знакома, за ее повседневность и силу, и отстаивать моральную вселенную Сада, веря, что она устоит перед самым жестоким натиском. А потому позвольте мне завершить свою маленькую личную историю посреди того макромусора, что громоздится вокруг, когда вы это читаете,

[89] Примечания: 89

Мировая душа (*лат.*). Из нее, как утверждал поэт Блейк, проистекают фантастические образы, тревожащие воображение поэтов.

посреди *мануфактроверсии*[90], посреди любых ужасов, глупости, уродства и непристойности. Пусть гигантский торжествующий зеленовласый картонный король со своей миллиардодолларовой кинофраншизой займет заднее сиденье и предоставит вести автобус реальному человеку. Наша маленькая жизнь — вот и все, вероятно, что мы способны постичь.

Я вспоминаю свой разговор с Апу Голденом о том, как я плакал в ночь выборов в ноябре 2008 года. То были сладкие слезы. Столь же обильные, но совсем иные слезы 2016 года смыли прочь все доброе.

В реальном мире я усвоил жестокие уроки. Ложь порождает трагедию, и в личном масштабе, и в общенациональном. Ложь способна взять верх над правдой. Но и правда опасна. Правдолюбец бывает порой вульгарен и агрессивен, как я сам в Золотом доме в тот день, и более того: сказав правду, ты можешь заплатить высокую цену — лишиться того, что любишь.

После того как я рассказал Сучитре о ребенке,

---

[90] Примечания: 90

Слово *manufactroversy* создано в 2008 году для обозначения определенного нечестного приема идеологов и лоббистов: выдумывать мнимое противоречие или неоднозначность, объявлять спорным давно решенный вопрос.

рожденном от Василисы Голден, разговора особо и не было. Она выслушала меня молча, затем извинилась, ушла в спальню и закрыла за собой дверь. Десять минут спустя она вышла — с сухими глазами, полностью владея собой.

— Думаю, тебе следует съехать, ты согласен? — сказала она. — И это надо сделать прямо сейчас.

Я вернулся в свою старую комнату в доме мистера У Лну Фну. Что касается нашего сотрудничества, сказала Сучитра, она готова и дальше помогать мне со сценарием задуманного мной фильма, который после стольких лет вот-вот должны были одобрить, но за исключением этого мы впредь должны работать каждый сам по себе, и мне это показалось более чем справедливым. Также, неожиданно для меня и к моему большому огорчению, Сучитра немедленно принялась крутить одну за другой кратковременные, однако вроде бы страстные любовные интрижки с известными людьми, подробно описывая каждую из них в соцсетях, и это меня, признаюсь, вырубило. Да любила ли она меня, если так стремительно смогла найти себе других? Насколько реальными были эти отношения? Такие мысли терзали меня, хотя в глубине души я понимал, что пытаюсь переложить на Сучитру свою вину, а

вину переложить не удастся, она так и останется на моих плечах. В общем, время у меня выдалось скверное, хотя да, я получил возможность снять свой фильм, “Золотой дом”, этот преследовавший меня без малого десять лет проект — в итоге вышла драма, полномасштабный художественный фильм, а не псевдодокументальный, сценарий я полностью переписал по сравнению с тем, который намечался, пока я работал в “Лаборатории сценаристов Сандэнс”, и да, тем людям, кому я хотел угодить, вроде бы понравилось, и с помощью друга, итало-американского продюсера из Лос-Анджелеса, “Инерция пикчерс” приобрела права на демонстрацию фильма в Северной Америке. Вот уже и реклама, *на экранах и по заказу в первом квартале, как стало известно* “Вэрайэти”. Выходит, и взаправду. *Дебют Унтерлиндена одновременно в качестве сценариста и режиссера.* В эти трудные для инди-фильмов времена достижение и впрямь выдающееся. Но, как ни странно, добрые вести не вызвали у меня никакой реакции. А что я должен был почувствовать? Работа как работа. Главная удача заключалась для меня в том, что теперь я смогу снять квартиру. Но переезд в собственную квартиру лишал меня доступа в Сад, в Сад, куда мой сын каждый день

выходил поиграть, пусть я и не мог приблизиться к нему. К тому же я подружился с мистером У Лну Фну, который на свой деликатный лад пытался утешить меня, лишившегося любви Сучитры. Он спросил меня, в какой день недели я родился и в какой Сучитра. Я понятия не имел, но теперь полно сайтов, где можно ввести дату и узнать день недели, так я выяснил, что у меня это воскресенье, а у нее среда. Я сообщил это мистеру У Лну Фну, и тот прищелкнул языком:

— Вот видите, вот видите, — сказал он. — В Мьянме такое сочетание считается неудачным.

Суббота и четверг, пятница и понедельник, воскресенье и среда, вечер среды и вторник — эти пары обречены.

— Найдите себе девушку с подходящим днем рождения, — посоветовал он. — Вам, рожденному в воскресенье, подходят все прочие дни. Только не среда! Зачем же выбирать тот день, который тебя сглазит? Гарантировать себе несчастную жизнь!

Глупо, но суеверие с другого конца света и в самом деле немного меня утешило. Тогда, в те дни, когда я утратил разом и возлюбленную, и сына, я тонул и хватался за любую соломинку.

Когда жизнь идет под откос, работа вдруг нала-

живается. Это что, правило такое? Одиночество и Сердечная печаль — так именуются врата Эдема?

Моя история теперь вышла за пределы моего фильма, и расхождения становились все болезненнее. В фильме отставной инспектор индийской полиции приходит к старому негодяю с мыслью его убить, но его самого насмерть ранит пуля из револьвера, который дождался своего часа в сумочке русской жены старика.

В том сюжете, что я вынужден называть реальностью, мистер Мастан погиб через сутки после того, как вышел из дома на Макдугал, его столкнули с платформы метро под поезд, когда индиец ехал на вокзал Пенн, чтобы вернуться к своей сестре в Филадельфию. Напала на него тридцатилетняя женщина из Квинса, южноазиатского происхождения, которую почти сразу же взяли под стражу и обвинили в убийстве второй степени. При задержании она заявила: “Этот старикан во все вмешивался. Он лез в чужие семейные дела”. В репортаже “Таймс” сообщалось: “Полиция считает женщину эмоционально нестабильной, месяц назад она уже являлась с вымышленной историей о том, как столкнула кого-то на рельсы”.

То первое ее заявление оказалось ложью, но на этот раз она и в самом деле совершила убийство. Несмотря на собственное ее заявление, никакой связи между убийцей и жертвой установить не удалось, и следствие пришло к выводу, что таковой и не существовало. Эмоционально нестабильная женщина столкнула старика на рельсы. Дальнейшее расследование не требовалось.

Даже моя маленькая жизнь с каждым днем становилась все невнятнее. Я перестал хоть что-то понимать. Я достиг того, чего всегда надеялся достичь, но без любви все это — прах и пепел. Каждый день я думал о том, как бы помириться с Сучитрой, но тут же в инстаграме появлялось ее сообщение всему свету об очередном романе и втыкало мне в сердце нож. А мой грех, мой сын, рос у меня на глазах, у меня под окном, осваивая слова, формируя свой характер, и я не мог принять в этом никакого участия. Василиса ясно дала понять — стоит мне подойти к ребенку ближе, чем на пять метров, она обратится в суд и добьется ордера, запрещающего мне общение с сыном. Итак, я прятался за шторой в доме своего бирманского наставника и тоскливо следил за тем, как моя плоть и кровь, запретная для меня, подрастает и вот-вот будет справлять третий

день рождения. Может быть, лучше бы мне покинуть Сад и начать новую жизнь где-то вдали, в Гринпойнте или на Мадагаскаре, в Сычуане, или Нижнем Новгороде, или в Тимбукту. Порой мне чудилось, что с меня содрали кожу и ведут, нагим, без кожи, по неизвестному городу, которому наплевать на мои сны. Порой мне снилось, как я поднимаюсь по лестнице знакомого дома и вдруг осознаю, что в той комнате наверху, куда я собираюсь войти, меня ждет мужчина с петлей палача и жизнь моя вот-вот завершится. Все это — в тот момент, когда после десятилетних усилий я внезапно достиг успеха и получал соблазнительные предложения снимать хип-хоп, и рекламу автомобилей, и отдельные серии ставшего хитом телесериала, и даже следующий художественный фильм. Бессмыслица какая-то. Я сбился с курса, моя консервная банка вращалась в пустоте.

Кто-нибудь слышит меня? Кто-нибудь слышит? Кто-нибудь?

В итоге Рийя — Рийя, которая врезала мне так, что несколько дней в ушах звенело, — помогла мне сделать первые шаткие шаги по пути к взрослению. Мы стали встречаться примерно раз в неделю, всегда в одном и том же баре-ресторане в Бауэри, поблизости от Музея идентичности, она

обсуждала со мной решение вернуться на работу, которую ее босс Орландо Вулф с удивительной проницательностью сохранил за ней. Рийя описывала свою работу как отношения, в которых страсть умерла, но осталось достаточно общего, чтобы имело смысл продолжать — и может быть, если как следует вложиться, даже возродится нечто вроде любви.

Точно так же она советовала действовать и мне с моей разбитой любовью. Предоставь Сучитре время, говорила она. Пусть пройдет через то, через что она сейчас проходит со всеми этими второсортными наглыми мужиками. Так она выпускает пар. Дай ей время, и, я думаю, она вернется к тебе и попробует понять, что тут можно сделать.

Мне трудно было в такое поверить, но отчасти эти слова утешали. И мне нравилось следить за тем, как восстанавливается сама Рийя. Исход выборов словно вдохнул в нее силы, вернул прежнюю несокрушимость духа и проницательность ума. В гендерную политику она пока не вмешивалась, поскольку, по ее собственным словам, в этой области она была травмирована, зато занялась новыми залами, документируя и выставляя напоказ подъем “становящейся идентичности” крайне

правой, явление в Америке европейских ультра, начало которым положило французское молодежное движение, поколение Новых правых. Она готовила мероприятия, посвященные расовой и национальной идентичности, целую серию под названием “Кризис идентичности”, главным образом сосредоточенную на расовых и религиозных проблемах, и в особенности на том расколе, в конвульсиях которого билась Америка после победы хихикающего мультяшного нарциссиста, разорванная пополам Америка, определявший ее избраннический миф града-на-холме валялся, растоптанный, в канаве ханжества, расового и мужского превосходства, маски американцев сорваны, и повсюду проступает лик Джокера. Шестьдесят миллионов. Шестьдесят миллионов. И к ним еще девяносто, настолько равнодушные, что не стали голосовать.

Когда-то французы послали нам статую, что стоит в гавани, рассуждала Рийя, а теперь прислали нам вот это.

Идентичность сделалась кличем неофашизма, и музею пришлось многое менять, а знаменосцем перемены стала Рийя. Мы обленились, говорила она. Восемь лет мы уговаривали себя, мол, прогрессивная, толерантная, взрослая Америка,

воплощением которой был президент, и есть то, чем стала Америка, и теперь она всегда будет такой. И эта Америка тоже никуда не делась, но никуда не делась и темная сторона, и тьма вырвалась из вольера и пожрала нас. Тайная идентичность Америки — не супергерой. Оказывается, это вовсе — суперзлодей. Мы попали во вселенную Бизарро[91], и нам придется иметь дело с Бизарро-Америкой, постичь ее природу и понять, как же вновь ее уничтожить. Нужно узнать, как вынудить мистера Миксиспитлика[92] произнести свое имя задом наперед, чтобы он вновь растворился в пятом измерении, а мир вернулся к нормальности. Нам пора всмотреться в самих себя и понять, как же мы сделались такими омерзительно слабыми и апатичными и как нам перевооружиться и вернуться в бой. Кто мы теперь? Хрен знает.

Ладно, ладно, говорил я себе, теряя терпение от ее болтовни (однако не подавая виду). Рад за тебя. Хорошо, что ты снова встала на ноги и снова пустилась бегом и что ты делаешь это, вот это

---

[91] Примечания: 91

Бизарро — персонаж комиксов, обычно антипод Супергероя.

[92] Примечания: 92

Мистер Миксиспитлик — персонаж комиксов, обманщик, враг Супергероя.

все, давай! А мне хотелось одного: заткнуть уши пальцами и петь: “Ля-ля-ля”. Хотелось только, чтобы исчезли новостные телепередачи, чтобы рухнул и не восстановился интернет, чтобы мои друзья оставались моими друзьями, а еще — вкусные ужины и слушать хорошую музыку, и пусть любовь восторжествует надо всем и каким-то чудом Сучитра вернется ко мне.

А потом однажды ночью в одинокой и печальной постели я припомнил то, что сказал Нерон Голден после гибели моих родителей: приобрети мудрость. Научись быть мужчиной.

На следующее утро я отправился в студию, где — пар из ушей — трудилась Сучитра. При виде меня она окаменела. Я очень занята, сказала она. Я подожду, сказал я. Я буду работать допоздна, сказала она. Можно мне подождать? — спросил я. Она обдумала мою просьбу. Можешь, если хочешь, ответила она. Тогда я подожду, повторил я. Она повернулась спиной и в следующие пять часов и сорок три минуты ни разу не оглянулась на меня. Я стоял в углу, тихо, безмолвно, стараясь не мешать. Когда она закончила и нажала на кнопку “завершить работу”, было уже без четверти одиннадцать. Она развернула компьютерное кресло — лицом ко мне.

— Ты очень терпеливо ждал, — сказала она почти по-доброму. — Что-то важное?

— Я люблю тебя, — сказал я и увидел, как поднимаются ее защитные барьеры.

Сучитра ничего не отвечала. Компьютер пискнул, выскочило диалоговое окно: одна из программ отказывалась закрываться. Сучитра устало и раздраженно вздохнула, вышла из программ и снова нажала кнопку “завершить работу”. На этот раз все получилось.

Порой в крайних обстоятельствах люди получают — откуда именно, определяется индивидуальной системой представлений, то ли изнутри, то ли от некой высшей силы — дары языков, правильные слова в правильный момент, ту речь, что откроет раненое, отчужденное сердце и исцелит его. Так произошло в тот поздний час посреди потемневших мониторов. И не только язык, но и обнаженность, стоявшая за словами. А за этой наготой — музыка. Первые сорвавшиеся с моих губ слова не принадлежали мне, и все же они сработали — только потому, что я, никогда не попадавший в ноты, попытался запеть, сначала неуклюже, а потом сквозь слезы, которые текли по моему лицу, и я их не скрывал: “Птица

на проводе”[93], пел я и словами песни присягал в том, что я, изменник, буду верен, и обещал исправить все, что натворил. Прежде чем прозвучала последняя строка, Сучитра засмеялась — сначала надо мной, а потом мы смеялись вместе, плакали и смеялись, и все было хорошо, все будет впредь хорошо, провозглашали два наших надтреснутых голоса пьяниц из полуночного хора, мы постараемся на свой лад быть свободными.

Потом, когда мы вместе лежали в постели, я добавил к магии песни кое-какие практические соображения. Прошло уже больше года с тех пор, как Америка покорилась Джокеру, а мы все еще пребывали в шоке и проходили последовательно стадии горя, но теперь нам следовало соединиться и противопоставить чудовищной угрозе любовь и красоту, солидарность и дружбу. Человечность — единственный ответ мультяшкам. Любовь — вот и весь мой план на тот момент. Я надеялся, что со временем появятся и другие планы, но пока нам оставалось лишь крепко сжимать друг друга в объятиях и делиться силой — тело к телу, уста к устам, дух к духу, я и ты. Только держаться за руки и постепенно избывать

[93] Примечания: 93

“Птица на проводе”– песня Леонарда Коэна, дальше цитируются образы из нее (пьяницы полуночного хора, стремление к свободе).

страх перед тьмой.

— Замолчи, — сказала она и притянула меня к себе.

Дни рождения — воскресенье и среда, сказал я. Информация из Мьянмы: такое сочетание грозит нам злыми чарами.

— Я тебе другой секрет расскажу, — сказала она. — Бирманским проклятиям въезд в Штаты запрещен. Существует целый список стран, чьи проклятия сюда не впускают — по большей части страны ислама, разумеется, но и Мьянма тоже.

— Значит, пока мы в Штатах, мы в безопасности?

— А когда поедем в отпуск за границу, тогда что-нибудь придумаем, — сказала она.

35

Огонь облизывает края моего рассказа, подбираясь все ближе, и хочет вырваться на волю. Золотой дом в те последние дни превратился в осажденную крепость. Осаждающие войска оставались невидимыми, но все в доме ощущали их присутствие, незримых ангелов — или бесов — надвигающегося рока. И служащие, один за другим, начали увольняться.

Здесь сюжет вторит, вероятно, величайшему из шедевров великого Бунюэля. Первое название этого фильма, “Потерпевшие бедствие с улицы Провидения”, не было безусловно религиозным — “провидение” ведь бывает и не божественное, это всего лишь метафора, как и его коллеги карма, кисмет и рок, — так что персонажи, меченные судьбой, могут быть всего лишь неудачниками, проигравшими в лотерее жизни, однако на экраны этот фильм вышел под названием “Ангел-истребитель”, то есть к тому времени режиссер однозначно прояснил, что имеет в виду. Когда я впервые посмотрел этот фильм в центре Ай-Эф-Си, я, вероятно, по молодости не вполне его понял. В роскошном особняке устраивают пыш-

ный прием, и пока прием длится, вся прислуга под разными предлогами оставляет свои места и обязанности и покидает дом. Лишь гости и дворецкий остаются, чтобы дождаться того, что с ними должно случиться. Я воспринял это просто как сюрреалистическую социальную комедию. Это было еще до того, как я узнал, что некоторые люди способны предугадать надвигающуюся катастрофу, подобно тому, как животные предчувствуют землетрясение: их иррациональное с виду поведение объясняется инстинктом.

В доме Голденов никакого приема не устраивали, и прислуга разбежалась не в один миг, уж настолько рабски жизнь искусству не подражает. Но постепенно, из недели в неделю, тревога и недоумение хозяйки дома нарастали: все уходили. Первым исчез мастер на все руки Гонзало, попросту однажды в понедельник не вышел на работу, и с тех пор его никто не видел. В большом доме всегда что-то нуждается в починке: то унитаз забьется, то лампы в люстре перегорят, дверь или окно требуется подогнать. На исчезновение Гонзало Василиса отреагировала досадливым раздражением и некоторыми замечаниями насчет ненадежности мексиканцев, которые не очень-то пришлись по душе тем, кто жил в цо-

кольном этаже. Дворецкий-мажордом Макнэлли взял на себя большую часть обязанностей Гонзало, и он знал, кого позвать на помощь, когда сам не справлялся, так что хозяева дома не слишком пострадали от этого первого дезертирства. Но следующие увольнения нарушили привычный ход жизни. Василиса всегда была груба с горничными, доводила их до слез свирепыми придирками к их вполне добросовестному труду, и в ее царствие среди персонала, отвечавшего за уборку дома, отмечалась значительная текучесть кадров, так что никто не удивился, когда очередная юная ирландка из Бостона заявила, что никакого повышения платы ей не надо, она просто хочет уйти. Потом проблемы начались в кухне: повар Гуччи уволил своего подручного Джилберто после эпидемии мелких краж. Когда уж и хорошие кухонные ножи стали пропадать, Гуччи обличил юного аргентинца, а тот наотрез отрицал свою виновность — и бросился прочь. “Это не ты ушел, — крикнул ему вслед Гуччи, — это я тебя уволил”. Макнэлли попытался и эту прореху закрыть, обратившись в агентства по временному найму, он также просил своих коллег из других известных домов одалживать ему помощников, если найдется свободная пара рук, и в такой ма-

нере хозяйство кое-как продолжало ковылять. Но крысы все бежали и бежали с корабля.

Отчасти я — хоть и против воли — восхищался тем, как быстро и эффективно Василиса устранила последствия разоблачения, то есть моего монолога, прозвучавшего в ее гостиной. Нерон Голден подвергся публичному унижению, а он ведь не тот человек, чтобы кротко снести подобное. Однако Василиса ухитрилась не только сохранить свой брак, но и добиться, чтобы Нерон и впредь признавал маленького Веспу сыном и наследником. Какая-то фантастическая изобретательность, говорил я себе. Какие-то хитрости, благодаря которым она заслужила место в пантеоне самых ловких женщин. Она умела удержать своего мужчину. Не мне гадать о том, что происходило или не происходило между ними в спальне. Подобных сальностей я буду избегать, сколь ни соблазнительно воображать Василису за делом. Отчаянные времена требуют отчаянных мер, но если про секс ничего не известно, что еще остается сказать? Да и, по правде говоря, я не уверен, в самом ли деле основа ее позднего могущества — постель. Более правдоподобным кажется, что она воспользовалась умственным угасанием Нерона. Старик все хуже себя чувство-

вал, все больше забывал, его разум петлял узкой струйкой, лишь изредка прорывалось прежнее грозное течение. Василиса нянчила его самолично, прогнав и дневных, и ночных сиделок, которые прежде были наняты ей в помощь. Итак, еще одна часть прислуги покинула дом, и Василиса без малейшей жалобы взяла на себя заботу о Нероне. Теперь она и только она подавала ему лекарства. Сумятица и Суматоха тоже почти не допускались пред лицо своего хозяина вплоть до того дня, когда Василиса вкрадчиво и свирепо заявила им: “Мне хорошо знакомы все его дела, и я вполне способна стать его личной помощницей, так что спасибо за верную службу и обсудим компенсацию за увольнение”. В огромном доме воцарилась пустота и перекатывалось эхо. Василиса разыграла все козыри до последнего.

Козырным тузом был сам маленький Веспа. На четвертом году жизни мой сын сделался очаровательнейшим ребенком, и к тому же в глазах Нерона, в его помутневших глазах, он оставался единственным уцелевшим при общей катастрофе. Потеряв троих сыновей, мужчина не так-то легко согласится отказаться от четвертого, и по мере того, как Нерон все более дряхлел, его память мерцала и угасала, а малыш сидел у него

на коленях и называл его папой, старику стало проще забыть все подробности и ухватиться за свое единственное уцелевшее дитя так крепко, словно Веспа был не только самим собой, но и реинкарнацией умерших братьев, словно он — сундук с сокровищами, хранящий все, что утратил его отец.

Кто не ушел? Бабушка, то ли вправду из Централ-Кастинга, Сибирь, то ли нет. Дворецкий Макнэлли и повар Куччи. Являлись команды из профессиональной службы клиринга, делали свое дело за пятьсот долларов и уходили. Никаких посетителей. Нерон — невидимка, на глаза соседям больше не показывался. Я начинал уже верить в теорию Вито Тальябуэ: Василиса, конечно же, понимала, что ему недолго осталось. И если она что-то подмешивала в его лекарства, лишние глаза ей ни к чему. И опять-таки: она понимала, что все это ненадолго. Что говорили ей его врачи? Приближалась ли агония, которую следовало скрыть от мира? Или смертью была сама Василиса? Мысленно я вижу, как она каждый день опускается на колени в гостиной Золотого дома, в “большой зале”, как она выражалась, перед копией Феодоровской Божьей Матери, принадлежавшей царице Александре, молится:

пусть это произойдет сегодня. Пусть свершится.

Убей своего мужа, Баба-Яга, только сына моего не тронь.

Повар и дворецкий вечно действовали друг другу на нервы, и первым сдался “Куки”. Он и так все время ворчал, он был мастером нытья, этот повар, недооцененный и непонятый, мечтавший задавать пиры в излюбленном радикальном стиле — он учился у гранд-мастеров Адриа и Редзепи, еда — разновидность перфоманса, на тарелках должно вздыматься море пены, кусочки тоста с живыми черными муравьями должны запекаться в тонких полосках ценной мраморной говядины вагю, — а вместо этого ему поручали готовить детские блюда для маленького Веспы, бургеры да бургеры и веганский кроличий корм для Василисы. Нерону Голдену было все равно, чем его угостят, лишь бы мяса побольше. К жалобам “Куки” никто не прислушивался. Каждую неделю он грозился уйти, но жалованье его удерживало. Теперь, когда людей в доме осталось совсем мало, ссоры вспыхивали чаще, и наконец Макнэлли велел несостоявшемуся гурман-шефу заткнуться и готовить, что просят. Шеф сорвал с себя белый колпак и фартук и замахнулся на мажордома разделочным ножом. Затем с гром-

ким стуком он вонзил нож в деревянную доску, оставив его там, словно Экскалибур в камне, и во гневе покинул этот дом.

Нерон был рассеян, он словно спал на ходу (эти сведения я заимствую из показаний, которые Майкл Макнэлли дал впоследствии полицейским). По большей части он дремал у себя в комнате, но иногда его обнаруживали внизу, он забредал в другие части дома, как лунатик. И все-таки иногда в нем внезапно, пугающе вспыхивала жизнь. Однажды он ухватил Макнэлли за плечи и прокричал ему в лицо: “Знаешь, кто я, засранец? Я строил города! Я покорял царства. Я один из правителей Земли!” Не знаю, к кому он обращался, сказал Макнэлли. Явно не ко мне. Он смотрел мне в глаза, но почем знать, кого он видел. Может, видел самого себя в иное время, императором, чье имя он носил. Может, считал, будто он в Риме. Не могу с достоверностью утверждать, признался Макнэлли. Не то у меня образование.

Его травят, сказал мне Вито Тальябуэ, специально для этого позвонил. Нет сомнений.

За два дня до пожара произошло нечто странное. Золотой дом, проснувшись, обнаружил, что на крыльце у входа с улицы Макдугал кто-то

оставил огромный мешок грязного белья. Без записки. Когда мешок открыли, увидели, что он полон “иностранной одежды”, как выразился Макнэлли. Конкретнее, пожалуйста. Из попыток дворецкого описать эту одежду я делаю вывод, что она была индийской — курты, “пижамы”, вешти, сари и блузы к сари, пестрые юбки. Никаких инструкций, отправитель неизвестен. Василиса, раздосадованная — чья-то оплошность, разумеется, — велела оставить все это за дверью вместе с мусором. Хозяина информировать нет нужды. Золотой дом — не прачечная. Какой-то невежественный иностранец допустил обычную для невежественных иностранцев ошибку.

Неподалеку раскапывали улицу, там трудились рабочие. Какой-то неотложный ремонт коммуникаций. Макнэлли по приказу Василисы отправился спросить, надолго ли этот шум, и услышал в ответ: три месяца, может. Ответивший пожал плечами. То есть — может, и шесть, и девять, и двенадцать. Ясно одно: рабочие тут надолго. Реновации — новая брутальная форма городского искусства, оно возводило свои инсталляции всюду, куда ни глянь. Падали высокие здания и возникали стройплощадки. Из тайных глубин возникали и снова скрывались в

них трубы и провода. Телефонные линии переставали работать, внезапно отключались вода, электричество или газ. Строительные работы — способ показать городу, что он хрупкий организм, отданный во власть силам, не знающим жалости. Строительные работы преподносили могущественной метрополии уроки уязвимости и беспомощности. Строительные рабочие — великие концептуальные художники нашего времени, их инсталляции, эти варварские дыры в земле, вызывали не только ненависть (большинству людей современное искусство не по нраву), но и почтительный страх. Эти каски, оранжевые жилеты, крепкие задницы, волчий присвист, сила. Истинно — трансавангард за работой.

Парковка была на время запрещена, песня отбойных молотков заполняла пространство, радикальная, атональная, городская перкуссия, которую мог бы восславить Уолт Уитмен, питаемая крутым потом крупных на все плевавших мужчин.

Я стою на покрытом золою пороге,

Гибкость их станов под стать их могучим рукам,

Вниз опускаются молоты, вниз так

медленно, вниз так уверенно,

Они не спешат, каждый бьет, куда надо.[94]

Так продолжалось два дня после инцидента с бельем.

А потом — взрыв.

Что-то с магистральным газом. Все валили вину друг на друга, то ли не была проведена профилактическая проверка, то ли человеческий фактор тут причиной — утечка, искра, ба-бах! А может быть, наглый домохозяин незаконно подключил газ — утечка, искра. Возможно, тут преступление, незаконная газовая труба, скрытая от инспекторов, возможны также обвинения в причинении смерти по неосторожности, домохозяин не отвечает на звонки и недоступен по зарегистрированному адресу. В урочный час будет опубликован отчет. Теракт исключен сразу же. Никто из рабочих не пострадал, слава богу. Взрыв вышиб окна, сотряс стены, пронесся огненный шар, и один дом (владелец мистер Нерон Голден) воспламенился. На тот момент в доме находилось четверо взрослых и один ребенок: владелец и его жена, мать жены, маленький сын

---

[94] Примечания: 94

Уолт Уитмен, “Песня о себе”. Перевод К. Чуковского.

и дворецкий мистер Майкл Макнэлли. Как выяснилось, дом содержался не в должном порядке: внутренняя система пожаротушения давно не проверялась и вышла из строя. Мистер Макнэлли находился в кухне, он разогревал на сковородке оливковое масло, собираясь приготовить обед для всей семьи. Согласно его первоначальным показаниям, взрыв вышиб окна кухни, сбил его с ног и оглушил. На миг он, вероятно, лишился сознания, затем очнулся и пополз к двери в Сад между улицами Макдугал и Салливан. Там он снова упал в обморок. Когда он пришел в себя, кухня полыхала, огонь выплеснулся с горящей сковородки и стремительно распространялся по первому этажу. Все остальные обитатели дома были наверху и не имели шанса выбраться. Пожарное депо отреагировало с обычным проворством. Строительные работы несколько затруднили доступ, но огонь быстро удалось локализовать в пределах одного здания и не дать ему перебросится дальше. Соседние дома не пострадали.

Естественно — мы ведь живем в век смартфонов — было сделано множество фотографий и видеозаписей. Многие впоследствии были переданы полиции и тщательно изучены в поисках

каких-либо зацепок.

Но в тот день в доме Голденов несколько человек оказались заложниками огня. Драма разыгралась до конца, завершившись тройной трагедией и одним чудом.

По неподтвержденным сообщениям, кто-то слышал, как на верхнем этаже дома раздавались звуки скрипки.

Мысленно я вижу, как языки пламени возносятся все выше и вот уже лижут небо, адский огонь, точно с картины Иеронима Босха, трудно сохранить ту веру в благо, которой я посвятил себя, трудно не почувствовать пыла отчаяния. Они, эти огни, как мне кажется, сожгли весь тот мир, который я знал, их рыжий жар пожирал все то, что я любил, что меня учили защищать, о чем печься и за что бороться. Словно вся цивилизация сгинула в этом огне, мои надежды и надежды женщин, наши мечты о нашей планете, о мирной жизни. Я думал обо всех мыслителях, горевших на кострах, обо всех тех, кто противостоял властям и ортодоксиям своего времени, и я чувствовал, как горю я сам и весь мой лишенный избирательных прав род, закованный ныне крепкими цепями и поглощенный ужасным пламенем, чувствовал, как полыхает весь Запад,

Рим горит, варвары не у ворот, а внутри, наши собственные варвары, нами вскормленные, взращенные и прославленные, мы сами облекли их властью, они так же близки нам, как собственные дети, они выросли — словно свирепые дети — и жгут мир, который их создал, утверждая при этом, будто его спасают — в тот самый миг, когда губят. То был огонь нашей обреченной судьбы, и нам теперь понадобится полвека, а то и больше, чтобы отстроить все, что было погублено.

Да, я подвержен гиперболам, это ранее установленный диагноз, и мне следует лечиться, но ведь иногда бывает и так, что параноика действительно преследуют враги, бывает и так, что мир становится обостренно, преувеличенно, гиперболизированно инфернальным — более чем способен в самых диких фантазиях вообразить гиперболист-инфернальщик.

Итак, я видел темное пламя. Черное пламя ада, облизывавшее со всех сторон священное убежище моего детства, единственное место, где я всегда чувствовал себя в безопасности, где всегда было все хорошо, никаких угроз — мой заколдованный Сад, и я усвоил заключительный урок, тот самый, что отделяет нас от детской невинности. Нет безопасного места, монстр всегда у ворот, и

отчасти монстр всегда внутри нас, мы сами — те чудища, которых мы боялись, и какая бы красота ни окружала нас, как бы ни были мы удачливы в жизни, деньгах, в талантах и любви, в конце пути пылает пламя, и оно пожрет нас всех.

В фильме “Ангел-истребитель” гости на пиру в Мексике оказались заперты неведомой силой в зале огромного особняка Эдмундо Нобиле. Сюрреализм допускал поэтическую уклончивость и странность. Реальная жизнь Сада намного прозаичнее. Нерон, Василиса, “бабушка” и мой сын были заперты в Золотом доме самой банальной, убийственной и привычной, смертоносно реальной силой огня.

Если б жизнь была фильмом, я бы узнал о пожаре, примчался бы туда мигом, словно супергерой, оттолкнул пытающиеся остановить меня руки, бросился бы в огонь и возвратился бы среди падающих по обе стороны горящих балок с невредимым сыном на руках. Если бы жизнь была фильмом, он бы уткнулся мне в плечо и прошептал: “Папа, я знал, что ты придешь за мной”. Если бы жизнь была фильмом, этот фильм завершился бы широким планом Виллидж, в центре экрана дымился бы дом Голденов, а я бы

шествовал прочь с ребенком на руках под знаменитую песню — наверное, под титры пустили бы “Красивого мальчика” Джона Леннона.

Но было не так. К тому времени, как Сучитра и я добрались до улицы Макдугал, все уже было кончено. Майкла Макнэлли уже увезли в больницу Маунт-Синай, а потом его допросят детективы и полностью снимут с него ответственность за пожар. Другие взрослые обитатели дома погибли прежде, чем пожарные успели приставить лестницы и добраться до них. Нерон и бабушка быстро задохнулись в дыму, лишились сознания и так и не очнулись.

Один миг оперной страсти: прекрасная миссис Голден, Василиса, показалась в окне верхнего этажа, держа на руках почти четырехлетнего сына. Она прокричала: “Боже, молю, спаси мое дитя” — и прежде, чем кто-либо успел до нее добраться, она выбросила ребенка в окно, прочь от огня. Один из пожарных, Мариано “Мо” Васкес, тридцати девяти лет, кэтчер любительской бейсбольной команды Стейтен-Айленда, ринулся вперед и успел подхватить измазанного сажей мальчишку, “словно мяч”, как выразился он потом перед камерами. Он вдул воздух в легкие мальчика, и тот раздышался. “Несколько раз кашлянул, а

потом завопил, заплакал. Это было прекрасно, друг. Просто чудо, настоящее чудо, а теперь я слышу, завтра мальчику исполняется четыре года, так что у него точняк имеется ангел-хранитель, присматривает за ним. Дивно это и прекрасно, и я воздаю хвалу всемогущему Господу, который привел меня в нужное время в нужное место".

Василиса же рухнула обратно в комнату, спиной вперед, и все ее надежды, все амбиции, все стратегии рухнули вместе с ней, никто не заслуживает такого конца, кем бы он ни был в жизни, и через несколько минут после того, как она упала и скрылась из виду, огонь с ревом вырвался в открытое окно, и ее уже нельзя было спасти. Потом, конечно, огонь погасили, обгоревшие тела вынесли и т. д., не стоит об этом говорить. Здание придется снести и на его месте построить что-то новое. Соседние дома от пожара не пострадали.

Так закончилась история Дома Голденов. Они воображали себя римлянами, но это была всего лишь фантазия. Их римские игры, давшие им римские имена, — игры и только. Они воображали себя королем и принцами, но не были на самом деле цезарями. Цезарь на самом деле вырос в Америке, его царство близилось, берегись, цезарь, думал я, люди превозносят тебя и несут

твой трон по экстатически ликующим улицам, а потом они обратятся против тебя, и раздерут твои одежды, и толкнут тебя на твой же меч. Приветствуем тебя, цезарь! Остерегись ид марта. Привет тебе! Остерегись SPQR, *senatus populusque Romanus,* сената и римского народа. Привет тебе, цезарь! Помни Нерона, последнего в своем роду, как он бежал под конец на виллу Фаона за городом и распорядился вырыть ему могилу, Нерона, столь трусливого, что он не решился сам пронзить себя мечом и в последний момент приказал это сделать своему личному секретарю, Эпафродиту. Эпафродит, убийца цезаря. Да, некогда в мире были цезари, а теперь в Америке воссела на престол их новая реинкарнация. Но Нерон Голден не был настоящим властителем, и умер он не как свергнутый цезарь. Всего лишь пожар, всего лишь случайное, бессмысленное возгорание. Как бишь его дружки по криминальному миру прозвали его — там, в Бомбее? Прачка, да? Дхоби. Вот тебе грязное белье, дхоби. Отмой его. Не король на троне — всего лишь прачка.

Прачка.

Грязное белье на крыльце. Мешок, полный индийской одежды.

Я начал лихорадочно прочесывать СМИ в по-

исках фотографий с места пожара, выложенные записи на айфон, все подряд, что мог отыскать, профессиональные съемки или ролики, сделанные зеваками. Толпа любопытствующих у ограждения. Лица сквозь дымку и воду. Ничего. Снова ничего. А потом — кое-что. Двое мужчин южноазиатской внешности следят, как разгорается огонь, один из них — карлик. Ног второго не видно, однако я догадывался: стопы у него необычайно велики.

Время проходит. Крупные фигуры съеживаются, маленькие толстеют. Одни к старости убывают, у других влияние только растет. Они простирают руки и дотягиваются до тех мест и тех людей, кого раньше не могли достичь. Здесь есть компании, посредничающие в интересах других компаний, организующие поездки, осуществляющие планы. Шуты становятся королями, древние короны лежат в канаве. Времена меняются. Так устроен мир.

Новости в тот день дули в одну дуду: свихнувшийся домохозяин обвиняется в убийстве второй степени. Трагедия. Чудо, что выжил ребенок. Дело закрыто.

И еще один сюжет, не представляющий интереса для американских СМИ, я случайно наткнулся

на него в компьютере. В дальней стране умер некогда внушавший страх дон мафии. Замзама Аланкар, бывший крестный отец могущественной индийской “семьи” “Компании-3”, предстал перед последним судом. Неподтвержденная информация.

36

Туман спускается на реку, через гавань плывет китайская джонка с коричневыми парусами, солнце висит низко, по воде, словно брошенный камень, проносятся пятна серебряного и солнечного света. За столом со стеклянной столешницей в стеклянном углу — где сходятся два окна — сидим мы со стеклянными слезами в глазах и не знаем, куда смотреть и как что-то увидеть. Под нами несется сквозь белизну женщина с рыжими волосами и тиарой на голове, словно королева, убегающая от похитителей, спасающая свою жизнь. Сучитра и я сидели напротив друг друга, от кофейных чашек поднимался пар и дым от ее сигареты — три тонкие шаткие колонны.

Вообразите куб воздуха, с ребром примерно в тридцать сантиметров, он движется по обширным открытым пространствам мира. Это или что-то в этом роде я однажды услышал от канадского кинорежиссера Дэвида Кроненберга. Куб — вот что видит камера, а суть в том, как движется куб. Вот что значит снимать фильм — двигать куб по миру и смотреть, что он захватит, в чем выявит красоту, в чем выявит смысл. В этом за-

ключается искусство кино.

Вот мы сидим друг напротив друга, вы видите нас обоих в профиль, на широком экране, краски размыты. Видите, как камера вдвигается между нами, точно посередине, затем вращается на оси, описывая полный круг, медленно, многократно, так что наши лица скользят одно за другим и снова одно за другим, а между нашими лицами течет река и медленно поднимается туман и свет занимающегося дня. В руке Сучитры — лист бумаги. Это — центральный объект. В нем смысл всей сцены.

Сцена, которая не вошла в окончательную версию фильма: я в полицейском участке, расспрашиваю, что сталось с маленьким Веспой, с кем он, куда его отвезли, кто за ним смотрит. Бреду безутешно по Четвертой улице, поддаю мыском ноги камешки, руки глубоко упихал в карманы, голову повесил. И наконец, я в конторе адвоката в мидтауне, он зачитывает и передает мне документ, и я киваю, я поставлю вас в известность, и на том точка. Слишком на виду. Важна другая сцена — там, где нас двое и лист бумаги в первом свете дня.

— Я не думал, что он это сделает, — говорю я. — Да если бы и сделал, она бы оспорила, сказала бы,

что он выжил из ума.

— Мать.

— Да, мать, его жена. Но теперь у него нет других близких родственников. Есть только эта бумага. *Если что-то случится с нами обоими, назначаю опекуном мальчика мистера Рене Унтерлиндена.*

— Ты понимаешь, о чем ты просишь? — говорит она.

— Да.

— Сначала она убедила его принять ребенка от другого мужчины как собственного. Теперь ты хочешь, чтобы я приняла этого же самого ребенка, сына другой женщины, как своего. И ты знаешь, что дети в мою программу не входили.

Внизу под нами промелькнула бегунша, рыжеволосая, в тиаре. Остановилась руки в боки, переводя дыхание, склонила голову набок, словно тоже дожидаясь ответа. Хотя, разумеется, она не видела Сучитру и меня и ничего о нас не знала. Мы стояли на двадцать первом этаже.

— Ты не могла бы подумать об этом? — говорю я, и камера уходит от моего лица.

Сучитра закрывает глаза, камера останавливается, ждет, затем приближается к ней. Сучитра открывает глаза — и весь экран заполняют ее

глаза, больше ничего нет.

— Думаю, мы справимся, — говорит она.

Резкая смена кадров.

Другая пара глаз заполняет экран. Очень медленно камера отъезжает, чтобы мы увидели: это глаза маленького Веспы. Он смотрит в камеру без эмоций, без выражения. За кадром раздается голос юриста.

Наследственная масса изучается юристами обеих стран, и обнаружено множество нарушений.

Тем не менее наследство чрезвычайно велико, другие претенденты отсутствуют, а мальчику всего четыре года.

И вот мы втроем — маленький Веспа, Сучитра и я, в комнате без особых примет — где-то в Бруклине, в доме приемной семьи, куда ребенка поместили на время. Камера входит в центр нашего треугольника и начинает очень медленно вращаться вокруг своей оси, так что наши лица проплывают одно за другим. Все они лишены выражения. Камера вращается быстрее, еще быстрее. Наши лица начинают сливаться. И вот уже камера кружится так стремительно, что лица исчезают, остается только пятно, инверсионный след, призрак движения. Люди — мужчина,

женщина, ребенок — не так важны. Есть только вращающаяся воронка жизни.